

СЕРЬОЗУЛЛИНА



ВОСПОМИНАНИЯ

СОВРЕМЕННИКОВ



СЕЙФОВИНА

ВОСПОМИНАНИЯХ

СОВРЕМЕННОКОВ

С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ
М О С К В А 1961

Этот сборник состоит из воспоминаний людей, близко знавших Лидию Николаевну Сейфуллину, одну из зачинательниц советской литературы, автора рассказов и повестей — «Правонарушители», «Перегной» и «Виринея», ставших советской классикой.

Авторы этой книги — писатели разных поколений, прозаики, поэты, очеркисты, критики. Каждый из них по-своему увидел Лидию Николаевну и рассказал о ней. Из отдельных черточек, эпизодов, бесед, записей, собранных в этой книге, перед читателем встает обаятельный образ большого писателя, принципиального, кристально честного, скромного, отзывчивого человека, много сил отдавшего воспитанию писательской молодежи.

Составители

А. Л. Коптелов и З. Н. Сейфуллина

В М Е С Т О П Р Е Д И С Л О В И Я

Имя Лидии Николаевны Сейфуллиной было широко известно в Советской стране в двадцатые и тридцатые годы нашего века. Уже в 1931 году вышло в свет собрание ее сочинений в шести томах. Ее произведения горячо обсуждались в нашей печати, не было в стране культурного человека, который не знал бы таких ее книг, как «Правонарушители», «Перегной», «Виринея». Повесть «Виринея» была инсценирована и дала возможность Московскому театру имени Вахтангова создать замечательный спектакль, не сходивший со сцены много лет.

Одна из первых советских женщин в русской литературе, человек с большим опытом разнообразной общественной работы, Лидия Николаевна Сейфуллина с самого возникновения Союза советских писателей работала в его руководящих органах. Она не раз являлась представителем молодой советской литературы на писательских конгрессах за рубежом. Ее знал и любил Алексей Максимович Горький, она была в дружбе со многими писателями, вошедшими в литературу в те годы. Ее молодость была связана с Оренбургским краем, с Сибирью — и до конца жизни она сохранила эти свои связи с родными ей краями. Педагог в прошлом, она горячо принимала к сердцу воспитание литературной молодежи, и многие молодые писатели обязаны ей отзывами на свои произведения и товарищескими советами.

Лидия Николаевна Сейфуллина умерла 25 апреля 1954 года.

К семидесятилетию писательницы (посмертно) был выпущен в свет сборник ее статей и воспоминаний «О литературе», которым было положено начало изучению ее литературных взглядов, ее литературного наследства.

Тем не менее нельзя не вспомнить упрека всему нашему литературоведению, высказанного Константином Фединым в письме ко мне:

«Умерла писательница, называемая в критике (в некрологической во всяком случае) *одной из основоположниц советской литературы*. Но никто из *продолжателей* основоположницы не сказал о ней ни единого серьезного доброго или еще какого слова. Вся критика не подумала отметить уход человека одаренного, сильного, писателя своеобразного, начинавшего движение, из которого действительно *росла* и выросла советская литература, — движение двадцатых годов.

Я говорю о Лидии Николаевне Сейфуллиной. Вспомните, что это были ее «Правонарушители», ее «Виринея». И посмотрите, как коротка наша память.

Не думаете ли вы, что перед новым съездом писателей статья о Лидии Николаевне была бы уместна и показала бы нам самим нашу дружбу в литературе и наше товарищество в личных отношениях? Кстати, такого рода оценки, сделанные нашими писателями, и есть мерило морального состояния литературной среды, о чем нынче так много говорится...»

Хотя за эти годы, прошедшие после съезда, о котором писал Федин, появилось несколько работ о Л. Н. Сейфуллиной — статьи, критико-биографические очерки и воспоминания, однако, конечно, нельзя сказать, что мы выполнили свой долг по отношению к одной из старейших наших советских писательниц, долг товарищества и дружбы по отношению к нашей современнице, старшему товарищу в литературной работе, человеку удивительной правдивости, чистоты, доброты и честности.

Предлагаемая читателю книга воспоминаний о Л. Н. Сейфуллиной является попыткой собрать свидетельства этой дружбы и товарищества, живые памятки встреч, совместной работы, писательской помощи, впечатления и наблюдения, высказанные современниками писательницы, людьми, знавшими ее лично, сохранившими в памяти ее облик, ее своеобразные черты, ее смелый и честный голос — и тем помогающими читателю воссоздать образ одной из замечательных советских женщин в литературе.

Вера Смирнова



Зоя Сейфуллина

МОЯ СЕСТРА

С той минуты, как я себя помню, жизнь моя тесно была связана с сестрой.

Наша мать умерла, когда Лиде исполнилось пять лет, а мне один год. Нас было двое, и она привыкла смотреть на меня как на ребенка, о котором должна заботиться. Мать умерла от родов, и, кроме нас, осталась маленькая, четырехнедельная девочка, которая вскоре умерла. Отец, беспомощный, не знал, что делать с нами. Он написал письмо нашей бабушке по матери, умоляя пожалеть сирот и согласиться жить с нами.

Бабушка приехала издалека, привезла с собой двоих детей, и в семье стало четверо ребят. Жили мы в то время в селе Александровском, недалеко от Кустаная. Лида быстро подружилась с младшим бабушкиным сыном Егоркой — они были погодками. В их шумных играх и затеях я, маленькая, была большой помехой: часто с детской непосредственностью выдавала их шалости. Попадало всегда Егорке. Во избежание моего «предательства» они старались улизнуть от меня из дому незаметно. И хотя это повторялось неоднократно, я каждый раз верила в их искренность. Егорка предлагал играть в прятки. Лида «водила», а Егорка с особой тщательностью прятал меня или под печку, закрывая доской, или в шкаф, у дверцы которого предусмотрительно ста-

вил стул. Я радовалась, что меня так хорошо спрятали, верила — Лида меня ищет. Сидела смирно и долго, а они тем временем убегали к речке или на другой край села к ребятам.

Выбравшись наконец из засады и обнаружив обман, я долго надрывно редела басом, пока на мой крик не приходила бабушка. Сунув мне кусок хлеба, посыпанный сахаром, или морковку, она уходила по своим делам, и я оставалась одна...

Однажды я была свидетельницей, как Егорка, надев Лидины новые калоши, полез через забор и порол о гвоздь одну калошину. Мальчик, испугавшись матери, убежал из дому на весь день, а Лида из жалости к своему дружку взяла вину на себя. Но я тут же рассказала, как было дело... Егорку выпорол, а он, затаив обиду, стал подговаривать Лиду «проучить» меня, чтобы не ябедничала. Случай скоро представился. Все мы любили играть в куклы. Были они из тряпок, вместо волос пришивалась пакля или овечья шерсть, а лицо каждый разрисовывал, как умел. В наших играх отражалась окружающая нас жизнь — мы справляли свадьбу с венчанием, хоронили, крестили, устраивали праздники. Настала моя очередь венчать куклу. «Жениха» я заняла у Лиды — он был общий, и мы просили его друг у друга «на пока», по мере надобности. Отец уходил куда-то, и я, подбежав к нему, попросила:

— Папа, приходи скорее — повенчай мне куклу!

Он посмеялся, но обещал прийти и даже дал пятак на угощение. Меня, как самую маленькую, отец очень жалел и шутя звал «Черныш, огарыш, попов товарищ».

Как только отец ушел, Егорка о чем-то пошептался с Лидой. Прежде всего он выманил у меня пятак, дав взамен две монеты по копейке:

— Бери, Зоя, нам не жалко. Бери две, а нам дай одну...

И тут же Егорка побежал в лавку, а Лида, смущенная обманом, предложила нагрызть семечек, чтобы из зернышек настряпать пельменей и угощать ими гостей. Я была на вершине блаженства. Лида по-

стелила на сундук большой цветастый платок и стала наряжать кукол. Но у невесты не оказалось нарядного платья. Бабушка была сердитой в этот день и наотрез отказалась дать лоскутов. Вернувшийся Егорка сообразил, как можно отомстить маленькой ябеднице.

— Эх ты, Зойка! Не знаешь, где взять лоскут! Хочешь, скажу?

— Скажи.

— Да вон на рясе-то у рукава подкладка шелковая, голубая. Отрежь. Никто не увидит, а я не скажу! Зато и платье будет! Ни у одной взаправдашной девки такого наряда нет.

— Да, а бабушка увидит, заругается... — робко возразила я. Про отца я не думала. Я не боялась его. Он никогда не ругал нас с сестрой и редко когда повышал голос.

— Ну, как знаешь... Придет батюшка венчать, а у тебя невеста замарашка... Я бы на месте Лиды и жениха тебе для такой невесты не дал!

И вот, взяв ножницы, я торопливо отрезала кусок голубого шелка от парадной отцовской рясы, отхватила неловко, на самом видном месте...

В это время вошла сестра и ахнула. Но было уже поздно.

— Зойка! Что же ты наделала? Как же папа теперь будет надевать рясу-то?!

Но Егорка успокаивал:

— Когда еще будет надевать! Подумают — мыши сгрызли.

Я стояла с шелковым лоскутом в руках и растерянно смотрела на Лиду. Потом, приласкавшись к ней, попросила сшить.

Сестра сшила мне кукольное платье. Нарядили «молодых» — вместо венцов на головы надели блестящие наперстки и стали ждать отца. Пришел он поздно, не то усталый, не то чем-то расстроенный, и не сразу понял, зачем я тяну его к лавке.

— Пап! Ну венчай моих кукол. Я давно тебя жду. Все готово — и пельмени, и водка.

Лида с Егоркой, как званные гости, чинно стояли

в стороне. Папа сел на табуретку у сундука. В это время в комнату зачем-то вошла бабушка и заворчала:

— И чего только не придумают! Отца в куклы заставляют играть. Постыдились бы! Человек устал, есть-пить пора да отдыхать. — И тут ее взгляд упал на голубое шелковое платье. Она развела руками: — Родимые! Да где же вы лоскут такой взяли?

Егорка стремительно дернул Лиду за рукав, и они, подталкивая друг друга, быстро залезли на полати.

— Господи! Да что же это! Да ведь это от батюшкиного рукава!..

Она подошла к углу, где за занавеской висела ряса, и запричитала.

Я испугалась, захныкала. А папа посмотрел на меня, на полати, где притаились дети, потом закрыл лицо обеими руками и молча низко нагнул голову.

Я бросилась к нему, отняла пальцы от его лица. Они были мокрые. Я закричала:

— Папа, я не знала, что тебе будет так жалко, я никогда больше не возьму!

Он посадил меня на руки, прижал к себе и устало сказал:

— Бабушка, оставь нас. Иди пока в кухню да не вой.

В тишине комнаты слышалось сопенье с полатей, потом кубарем скатилась Лида, подбежала к отцу и громко заплакала:

— Папа, ты не бей ее. Это я ей велела. Мы хотели отучить Зойку ябедничать, чтобы ты ее тоже побил, как Егорку бабушка за ее ябеды бьет...

Папа обнял нас обеих и сказал:

— Как мне с вами жить, доченьки мои глупенькие? Ничего-то я не умею для вас сделать. Растете вы, как трава сорная. Разве мне рясу жалко? Мне вас, девочки мои заброшенные, жалко. Как же я вас в люди выводить буду?

И тогда Лида, глядя на отца, серьезно сказала:

— Папа, ты не тужи! Я уже большая. Обещаю тебе, что не буду больше баловаться, не буду Зоинь-

ку в шкаф запирать. Я всегда стану сама с ней возиться, грамоте ее учить буду.

На сестру очень подействовали слезы отца, и она с тех пор, действительно, стала по-детски заботиться обо мне.

Лида серьезно задумала учить меня грамоте. Они с Егоркой учились в церковноприходской школе. Я соблазнилась яркими картинками букваря и охотно села учиться. «Учительнице» хотелось скорее научить меня читать, чтобы отец увидел, что она, Лида, сдержала свое слово. Она решила, что лучше сразу учить словами.

— Ну, читай: ма-ма, Ма-ша.

Я за ней добросовестно тянула слова, а сама смотрела не в книжку, а по сторонам или сестре в рот.

— Да ты смотри в букварь, вот тут — Маша. Ну! — звонко кричала сестра.

Я испугалась ее. Вздвогнув, совершенно неожиданно для себя громко и раздельно сказала:

— Кош-ка.

«Учительница» в ярости схватила меня за голову и несколько раз стукнула об стенку. От неожиданности и обиды я заревела во весь голос. Лида быстро скрылась на спасительные полаты, там тоже дала волю слезам от обиды на мою бестолковость и на свою неудачу.

Боясь, что отец будет ругать ее за меня, она, размазывая слезы, спустилась с полатей, нехотя отдала мне красивую лаковую картинку-закладку и «на-совсем» своего тряпичного «жениха».

Мы помирились. А папа совсем и не сердился на Лиду за то, что не удалось мое обучение, и много смеялся, когда сестра рассказывала, что с грамотой ничего не получается, потому что я еще бестолковая.

Сама она очень любила читать. Отец выписывал ей детские журналы, привозил из Кустаная много книг. Среди них были сказки «Гуси-лебеди», «Три медведя», «Розочка и Беляночка». Лида часто читала их вслух своим подружкам. Иногда у затопленной печки зимними вечерами баловала нас сказками

бабушка. Она знала их уйму. Говорила немного нараспев, под звяканье спиц бесконечного своего вязанья.

Вспоминаются и другие вечера. В комнате тепло и тихо. Папа, заложив руки за спину, ходит из угла в угол. Видно, думает о чем-то невеселом.

Лида, желая развлечь отца, говорит:

— Хочешь, папа, я тебе сказку расскажу.

Припоминая бабушкины слова, сестра начинала сказку смущенно, потом увлекалась, голос становился звонким, девочка начинала фантазировать — сказка получалась совсем новая, и бабушка с удивлением перебивала ее:

— Смотри-ка! Да я сроду тебе этого не рассказывала! И откуда у тебя все это берется?!

А папа гладил Лиду по голове и говорил:

— Она у меня молодец, вырастет большая — сама станет книжки писать! Будешь, дочка?

— Я лучше стихи буду писать. Стихи я могу сочинять. Сказать?

— Ну скажи, — улыбаясь, говорит отец.

Сестра встает в позу и говорит скороговоркой:

У нас есть Зойка,
Она очень бойка,
Но все же она
Хуже меня!

По моему лицу сестра видит, что я хочу возражать. Она машет на меня рукой и торопливо продолжает:

У нас Егор —
Яичный вор.
У воробьят яички спер,
А воробья плачет...

Но тут неожиданно для всех вступается бабушка, обиженная за сына:

— Это что еще за вор? И совсем не складно и не ладно. В гнезда-то небось вместе лазили, а в стихах Егор — вор. Слушать вас с отцом тошно! Сочинители! ..

По окончании сельской школы сестра поступила в Кустанайскую прогимназию и, вместе со старшей дочкой бабушки Анютой, жила «на хлебах» в семье знакомых. А через два года отец отвез сестру в губернский город Оренбург, где открылось епархиальное духовное училище с интернатом.

Вернувшись домой, он затосковал. Я была еще слишком мала и не могла заменить ему старшей дочери. А у него, кроме любви к нам, не было никакой «зацепки» в жизни. Для нас он зарабатывал, баловал нас, ни в чем нам не мог отказать. До смерти нашей матери мы жили в Кустанае. Там у отца был хороший друг, доктор — тоже, как отец, «инородец», казах. У него часто собиралась молодежь. Отец играл на скрипке, мама пела. Оба они любили бывать в кругу молодежи.

Потом, уже после смерти мамы, отца перевели вторым священником в село. И здесь жизнь пошла совсем по-другому. С местным «обществом» отец не сошелся. Оно состояло из двух купцов, двух стражников, землемера, дьякона, благочинного и волостного писаря.

По тому времени отец был человеком образованным. Он много читал, любил музыку, выписывал газеты и светские журналы. Дело в том, что образование свое он получил в Казанской учительской семинарии, а не в духовной бурсе, оттого и не имел той ханжеской, фарисейской закваски, которая была так присуща духовному сословию. Священником он стал случайно. У него случилось большое несчастье: как раз когда он окончил семинарию, умерла от скоротечной чахотки его невеста. Тоска по любимой девушке сделала его замкнутым. Он впал в мистицизм и ушел в религию, надеясь найти забвение. Но раньше, чем принять сан священника, полагалось жениться. В том состоянии, в каком находился отец, ему было безразлично, кто станет его женой. В доме, где он столовался, прислуживала за столом молоденькая, шестнадцатилетняя Анюта, бедная дальняя родственница хозяев. Жила она у них из милости, выполняла обязанности прислуги. К ней-то и

посватался наш отец. Родственники Анюты с радостью благословили молодых.

Женившись, отец неожиданно нашел свое счастье. Жена была миловидная, голубоглазая, веселая, доверчиво тянулась к людям, жила просто и правдиво. Отец привязался к ней всей душой, и жили они на редкость дружно. Умерла мать двадцати трех лет от родильной горячки. Отцу тогда было тридцать лет. Он стал очень одиноким в своей, как ему представлялось, загубленной жизни.

Когда стали подрастать дети, жизнь приобрела для него какой-то смысл. Со старшей дочерью он часто разговаривал, как со взрослым человеком, делился с ней своими думами, читал ей вслух свои любимые книги, играл на скрипке, любил петь песни, которые когда-то с товарищами пел в Казани: «Выхожу один я на дорогу», «Там, где тинный Булак со Казанкой-рекой, словно братец с сестрой, обнимается, — от зари до зари, как зажгут фонари, вереница студентов шатается». В семь лет сестра с его голоса читала стихи Никитина, Пушкина, Некрасова.

Наряду с детскими журналами «Задушевное слово» и «Родник» сестра читала рассказы Короленко, романы Лажечникова, Загоскина, Жорж Занд и Достоевского.

Разлука с дочерью совпала для отца с крупной неприятностью. Не зная, чем заполнить досуг, он решил написать автобиографическую повесть «От мрака к свету». В ней отец описал, как его, маленького, шестилетнего сироту-татарчонка, плохо понимавшего русский язык, увезли студенты-медики из глухой деревни в город Казань. Там его взяла на воспитание добрая русская семья и дала ему образование. Тогда же его и окрестили, дали русское имя — Николай, а отчество по крестному отцу — Егорович. Фамилию сохранили родную.

Отец показал рукопись другу доктору. Тот ее одобрил и помог направить в редакцию какого-то журнала.

Повесть напечатали. Но один «благодарный

человек» послал архиерею донос «о заблудшей овце в его стаде». Злополучный автор был вызван в город, а архиерей ему сказал:

— Вот что, отец иерей! Ежели есть у тебя от бога дар к писанию, описывай жития святых — сие не возбраняется. Светские же сказы властью мне данною писать запрещаю. Ежели не согласен — снимай сан. Решай сейчас.

Что было делать отцу, когда на его плечах находилась семья в пять человек? Он смирился. Но, смирившись, этот талантливый человек, изломанный жизнью, начал выпивать.

Лида, чуткая девочка, горячо любившая отца, не могла не видеть, что окружающие их люди осуждают его поведение. Она жалела его, но к жалости примешивалось чувство обиды и протеста против покорности и смирения отца. Еще не зная жизни, она инстинктивно чувствовала, что самое опасное для человека — это покорность судьбе. В тупом смирении кроется все зло несправедливости. Сама она уже с детства восставала и против гнета, и против смирения.

Мне вспоминается один разговор ее с отцом, перешедший в спор.

— Знаешь, папа, — говорила она, — сегодня я с бабушкой ходила в церковь, и мне не понравилось, что ты там говорил.

— Что значит — не понравилось? Что же я говорил? — возмущался отец.

— Ты говорил: «Если кто ударит тебя в левую щеку, смирись и подставь ему правую, и прости того, кто тебя отлупил».

— Я не говорил: «отлупил». Что ты там путаешь? Ничего ты не поняла.

— Нет, я все поняла. И разве так бывает? Никто тебе все равно не поверит, что так надо делать. Кому это охота, чтобы его били по щекам, а он бы терпел? Ты так больше не читай, а то люди будут смеяться над тобой.

— Постой, постой, — сердился отец. — Как ты со мной разговариваешь? Ты слишком мало смыслишь.

Я читаю по книге священное писание! А разве можно его судить? Замолчи!

— А ты незаметно пропусти это место. И лучше другое прочитай.

— Уйди от меня. Я не хочу с тобой разговаривать!

— А теперь я хочу сказать, что мне понравилось. Помнишь, ты еще бабушке говорил, когда она ругалась за новую рубашку, которую ты ссыльному отдал? Ты сказал: «Не ворчи, бабушка. В священном писании говорится: «Если у тебя есть две одежды, отдай одну нищему». Вот это правильно! И в церкви говори так.

Отец хотел возразить, но из кухни уже семенила разгневанная бабушка:

— Замолчи! Сейчас же замолчи! И как только тебя земля носит, греховодница непутевая! Отец избаловал на свою голову. Гляди-ка! Грех-то какой! Отца переучивать вздумала. Вот как без матери-то жить. Вольница! Еще доведут до греха отца! Выпороть тебя надо, вот что!

Бабушка, наша единственная воспитательница, долго ворчала, а отец закрылся в своей комнате и только к вечеру вышел к нам, и уж не помню, как они помирились с сестрой. Только в тот вечер отец никуда не уходил, читал нам вслух «Ундину» Жуковского, а сестра сидела на скамеечке около папиного стула и время от времени ласково поглаживала его руку.

Года через два сестра снова выступила против христианской проповеди смирения и прощения. Было это уже в епархиальном училище. Наступил великий пост. Все воспитанницы на первой неделе должны были говеть, исповедовать священнику свои грехи и причащаться. И вот на исповеди сестра говорит своему законоучителю:

— Батюшка, я не простила учителя по истории. Я все равно на него сержусь и презираю его. Он двойку Сергеевой ни за что поставил. А когда я стала говорить, он велел мне выйти из класса. Я его не прощаю.

Священник растерялся:

— Что ты, что ты, девица! Какие ты слова говоришь! Тебе совсем не полагается иметь сердце на взрослых, тем паче на учителей. Выкинь эти мысли из головы. Прости людям все обиды свои и сама не греши, а смирись покорно.

— Нет, не смирюсь. Я не хочу его прощать. Нечего зря из класса выгонять. Мне обидно.

— Тогда я не имею права допустить тебя к причастию. Поведение твое дерзкое. Лучше не навлекай на себя позора. Иди и сейчас же расскажи о нашем разговоре своей классной наставнице.

К счастью для сестры, у нее была хорошая наставница. Она не стала раздувать этот разговор в происшествие, умело поговорила с учителем истории, у которого были свои дети, и в результате произошло обоюдное примирение. Сестра дала слово позаниматься с подругой, а учитель пообещал спросить ее еще раз и исправить отметку. Инцидент был исчерпан. Но законоучитель взял строптивую «на заметку» и до конца учения, как бы хорошо она ни отвечала, выводил в журнале пять с минусом.

— Батюшка, а за что мне минус ставите? — огорченно спрашивала сестра. — Ведь я на все вопросы вам ответила.

— А минус, отроковица, за гордыню твою не по возрасту...

Дома с отъездом сестры стало тоскливо.

Отец жил только письмами Лиды. Училась она блестяще, резко выделяясь среди подруг хорошей литературной речью. Сочинения писала настолько хорошо, что преподаватель всегда их читал как примеры не только в классе, но и в женской гимназии, где он преподавал литературу.

За хорошие успехи воспитанниц старших классов иногда водили на утренние воскресные спектакли в городской театр. Это было событием в однообразной жизни девочек. После каждого такого посещения отец получал длиннущие письма от Лиды, которая с упоением передавала и содержание пьесы, и свои переживания, и свои сокровенные мечты.

Однажды она сообщила, что девочки надумали сами ставить пьесу, которую поручили сочинить ей. И хотя писать она боится, но все же согласилась.

Пьесу сестра написала удачно. Начальница разрешила ее поставить на рождественские каникулы. Мы жили за полторы тысячи верст от Оренбурга, и на зимние каникулы Лида всегда оставалась в училище. Радости и гордости отца не было предела, когда он получил наконец письмо с описанием постановки и успеха пьесы. Растроганным голосом говорил он домашним:

— Ай да наша Лиди́нька! Молодец. Отцу-то заткнули рот, но он все-таки не закопал свой талант в землю, а дочери передал! Недаром все же я живу. Она еще им покажет.

Дружба между отцом и старшей дочерью все больше крепла. Лида была чрезвычайно правдива и не переносила фальши в себе и других. За правду часто страдала, воевала с классными дамами, с учителями, когда ей казалось, что они несправедливы. В дружбе была требовательным, но верным товарищем, не бросала друзей в беде, зачастую подставляя под удар свою голову. Это свойство у нее осталось на всю жизнь.

Сестра была очень добра и нерасчетлива. Около нее постоянно находились какие-нибудь девочки, которым она была «обязана» помочь: отдавала им альбомы, дарила книги. Когда отец присылал ей деньги — угощала весь класс. Домой, на летние каникулы, всегда приезжала почти с пустым чемоданом: платье подарила одной девочке, потому что та совсем бедная; теплую шаль отдала другой, которой не в чем было зимой ехать на каникулы; туфли отдала нянечке, так как та выходила замуж, и т. д.

Бабушка с досады хлопала себя по бокам и причитала:

— Вот юродивая! Да что там юродивая, прямо дура, можно сказать! Раздала вещи направо и налево. Гни отец спину, заводи обновки снова!..

Лида огорченно спрашивала:

— Папа, и тебе тоже жалко?



Зоя и Лидия Сейфуллины
Кустанай, 1898



Николай Егорович Сейфуллин

Отец как-то виновато смотрел на бабушку и говорил:

— Да как сказать, Лидинька, живы будем — наживем! Раз надо им, значит, правильно отдала.

Но сама Лида не любила, чтоб ее жалели. Вероятно, оттого, что в детстве нас слишком часто ханжески жалели, как сирот, у нее осталось ущемленное самолюбие и протест против сострадания.

Ярко врезался мне в память такой случай. Через наше село лежал путь тургайского губернатора, который поехал осматривать край. Сопровождал его адъютант. С ним отец когда-то встречался в той семье, где воспитывался. О возможности свидания отца уведомили заранее. Известие, что к нам заедет важный гость, внесло в дом большой переполох. Готовили угощение, занимали посуду. Нам с сестрой сшили сатиновые платья, конечно на рост. Обули нас в лучшую обувь. Напомнили волосы.

Проезжающих ждало все село. Площадь заполнилась народом. Людно было у дома церковного старосты — богатого купца, который на всякий случай готовил парадный обед.

Часов в двенадцать прискакал верховой нарочный и передал приказ готовить тройки перекладных лошадей. Вскоре ребята с колокольни закричали:

— Едут! Едут!

К церкви подкатили тройки с бубенцами. Губернатор, осанистый, важный старик, милостиво согласился позавтракать у купца, пока меняют лошадей. Туда пригласили и духовенство.

Адъютанту нельзя было отставать от начальника, и он, поздоровавшись с отцом, на его приглашение пройти к нам в дом смущенно ответил:

— Николай Егорович, сами понимаете, душевно был бы рад, но не имею права оставить его превосходительство одного. Уж извините, не могу!

И вдруг раздается возмущенный звонкий голос сестры:

— А мы же всего наготовили, ждали...

Отец от неожиданности поперхнулся на полуслове и сконфуженно проговорил:

— Это мои дочки. Малы еще, не знают, как себя держать.

— Ах, это ваши дочки?! Милые, милые дети. А я никаких подарков не сообразил привезти... Я, собственно, слышал от ваших родных о вашем несчастье...

При этих словах адъютант губернатора торопливо вынул из кошелька золотой и протянул его сестре:

— Возьми, девочка! Купи себе сластей... Ну возьми же!

Лида недоуменно попятилась от приезжего. Он неловко взял мою руку и положил в нее золотой.

Обернувшись к папе, он сказал:

— Отец Николай, поспешим к обществу. Я вам письмо от ваших родных должен передать. Я обещал им повидать вас. Идемте, идемте.

И он, подталкивая сконфуженного отца, увлек его к дому купца.

Мы с сестрой остались в толпе. Лида стояла красная, обиженная. И вдруг откуда ни возьмись вынырнул Егорка:

— Что? Откупился! Купец-то перешиб! Ну и наплевать — сами все поедим. Говорят, деньгу отвалил за наш обед-то? Ну-ка покажи, Зойка.

— Дурак! — крикнула Лида. — Это вовсе не нам! Он сказал: всем, всем детям закупить сластей!

Она взяла у меня из руки золотой и, обращаясь к своей учительнице, пожилой женщине, стоявшей недалеко от нее, возбужденно сказала:

— Анна Петровна, вот возьмите деньги. Этот дядя велел всем детям закупить на базаре сластей! Обязательно!

Потом она повернулась к Егорке, погрозила ему кулаком и убежала в дом.

Этот золотой наделал в доме переполох — никто Лиде не поверил, что это для «всех детей».

Когда отец пришел домой и узнал, в чем дело, погладил свою старшую дочь по голове и сказал:

— Правильно! Заступница ты моя!

Отец был бессребреник, и люди часто обраща-

лись к нему с докукой. Кто бы ни приходил с просьбой, он никогда не отпускал с пустыми руками. Давал он охотно, от всего сердца — не поучая, не попрекая, потому и брать у него было легко, и за это любили его. Но богатеи, которые скаречно держались за каждую копейку, считали его не то юродивым, не то блаженным. Такое отношение к нашему отцу еще больше укрепилось с тех пор, как к нам в село стали попадать «волчки» — административно-ссылные с волчьими билетами. Отец жалел их, заводил с ними знакомство, и они приходили к нему из разных мест смело, как к своему человеку. Ссылные охотно рассказывали отцу о разных злоключениях и бедах.

При этом проценты правды и вымысла колебались в зависимости от фантазии рассказчика. Были среди них люди, достойные внимания и участия, но были и опустившиеся бродяги.

За дружбу с «волчками» отца осуждали и благочинный, и стражник, и зажиточные крестьяне, и наша бабушка.

Летние каникулы у сестры проходили весело. В двух-трех тарантасах приезжала молодежь из Кустаная и гостила по неделе и даже больше. Устраивались кто на сеновале, кто на полу, кто в коридоре на матрацах, набитых душистым сеном. Может, было и тесно и не очень удобно, но зато всегда весело.

Утром все собирались за столом, пили чай, потом гуляли в саду, читали, спорили, пели. Позднее, когда спадала жара, играли в горелки. Вечерами ходили к реке Тобол, которая протекала невдалеке от нашего дома. Тропинка вела через огороды, мимо бань. Сначала все купались, потом шли через мост на ту сторону реки, где росли большие ветлы. Там рассаживались на траве и пели под гитару. Часто Лида читала стихи «Мороз, Красный нос», «Рыцарь на час», «Железная дорога» и другие. Далеко за полночь плыли по реке мелодии песен и слышался звонкий смех. Беззаботно гуляла молодежь. Впереди были широкие горизонты и новые дороги...

Из далекого прошлого возникают все новые и новые картины воспоминаний.

Солнце на закате. Мы с отцом — в беседке, что находится в конце сада. Отец переселялся сюда, когда наезжала молодежь, чтобы не смущать ее лишний раз своим саном. По аллее, в светлом легком платье, танцующей походкой, широко, как крылья, раскинув руки, движется моя большеглазая, радостная сестра. Отец подымается ей навстречу:

— Лидинька, ты к нам?

— Нет, папа, я никуда. Я просто так иду, жизнь обнимаю. Какая она у меня хорошая!..

Отец провожает ее добрыми, потеплевшими глазами и тихо говорит:

— Пусть бы всегда она оставалась у тебя хорошей...

1904 год. Лида кончает епархиальное училище. Актный зал. Выпускной вечер. На прощальную напутственную речь начальницы ответное слово поручено произнести моей сестре. Она сказала так хорошо и сердечно, что ее обнимали и учителя, и родители. К отцу (он рассказывал нам об этом дома) подошел учитель литературы и стал говорить, что этот выпускной класс — сильный.

— Способных много, но достойная — одна! Это ваша дочь. Не оставляйте ее без внимания. Пусть учится дальше. Непременно. Нельзя зарывать таланта в землю. А она у вас безусловно талантлива.

И тут он рассказал отцу один случай. Училась сестра почти по всем предметам очень хорошо. Но математика ей не давалась всю жизнь. На педагогическом совете в старших классах приходилось угораздивать математика не портить табель Лидии Сейфуллиной и ставить ей не три, а четыре — при остальных пятерках.

— Как это я выведу ей в четверти четыре, когда она у меня из троек не выходит? Да и то из милости. Вызовешь ее к доске — болтает чепуху! — возмущался математик Василий Петрович Троицкий. — Да и не верю я в ее исключительные способности. Не такой уж труд способному-то человеку тайны мате-

матики постичь. Подумаешь, сочинениями удивляет! Талант! Просто начитанная девица, неглупая, умеет к месту по курсовой теме литературную фразу приспособить. Вот и все!

С учителем литературы они были старыми товарищами, но каждый раз, как только заходила речь об отметках, спорили. Однажды в библиотеке, которая днем служила учителям курительной комнатой, они снова коснулись темы о способностях учениц.

— А вы попробуйте вашей любимице задать тему не по курсу, что-нибудь совсем постороннее, без подготовки — увидим, как она справится, — сказал математик.

— Согласен, — ответил литератор. — Могу вызвать и задать при вас, хоть сейчас.

В большую перемену в библиотеку вызвали сестру.

— Хочу вам дать задание. Нужно, чтобы вы сегодня же написали мне сочинение. Тему выберите сами, только не по курсу литературы.

— А о чем же все-таки писать, Василий Николаевич? — спросила словесника сестра.

— О чем, о чем... Да вот хоть об этой багетной рамке. — Учитель математики указал на картину, висевшую на стене.

— То есть как о багетной рамке? — смущенно переспросила сестра.

— А очень просто. Вы ведь меньше пяти никогда по литературе не имеете. Следовательно, вам и книги в руки, — иронизировал учитель. — Пошевелите малость мозгами. Не все вам за одни курсовые получать пятерки.

Сестру задел иронический тон математика.

— Василий Николаевич! — обратилась сестра к словеснику. — Я могу сейчас начать писать сочинение, если Василий Петрович разрешит мне не ходить на его урок, — у нас сейчас алгебра. Я здесь в библиотеке и напишу.

Математик разрешил. Прозвенел звонок. Постепенно затих шум в коридоре. Сестра села и начала смотреть на картину «Утро в лесу».

«Ну что я буду писать об этой злосчастной рамке? — сердито думала она. — Это все «зловредная математика» подкапывается. И что ему нужно от меня?»

Она снова взглянула на рамку. В голове было пусто. У Лиды была одна привычка: когда ей не давалась какая-нибудь тема, она начинала вспоминать любимые стихи. Иногда читала их вполголоса, и постепенно ритм стиха успокаивал ее, появлялись нужные образы, возникали мысли, и сочинение выходило. Так и теперь, глядя на картину, она стала припоминать стихи: «Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела? Каких холмов, какой долины ты украшением была? ..», «Что, дремучий лес, призадумался?»

В лес мужики с топорами явились. Лес зашумел, застонал, затрещал... Лес зашумел... зашумел... зашумел... Есть!

Она берет ручку и торопливо пишет...

В комнате лежит больная девочка. Все предметы вокруг себя она давно знает. Все ей примелькалось и надоело. И эти тюлевые занавески на окнах, на которых давно уже пересчитаны все цветы и ласточки, и эти полосы на обоях, которые каждый день назойливо лезут в глаза, и картина «Утро в лесу» в узорной рамке из каких-то невиданных листьев и цветов. Девочка щурит глаза, чтобы лучше рассмотреть странные листья и цветы, от напряжения глаза ее устают, и девочка засыпает. Она видит сон — ясное, розовое утро. Шумит лес. Пахнет сосной. Но вот приходят люди. Начинают рубить деревья, обрубают сучья, пилят, укладывают и развозят в разные места. Художественная мастерская. Здесь делают багеты, рамки. Внимание девочки привлекает худое и бледное лицо одного мастера. Может быть, у него в доме нужда? Может быть, у него больные дети? Сначала он работает машинально, как будто нехотя смотрит на рисунок для рамки, но потом чувство художника увлекает его. Он забывает о том, что его угнетало и отвлекало от работы, забывает, что он несчастен, что хозяин его бессовестно обсчитывает и притесняет...

Забывая обо всем на свете, он трудится вдохновенно, и из-под его рук выходят чудесные, волшебной красоты цветы, ажурные, фантастические листья. Во время своей творческой работы он чувствует себя могущественнее короля, богаче миллионера, счастливее самого счастливого человека...

Кончился урок. Коридор снова наполнился смехом и шумом шаркающих ног. Но девочка все пишет и пишет. Скрипит перо, еле успевая за мыслью. Дверь приоткрыл учитель литературы и снова тихо закрыл ее. Девочка не слышала. Через некоторое время он вошел в библиотеку с газетой в руках и молча сел на диван. Готово. Точка. Всё! Ученица кончила и, не переписывая начисто, отдала учителю.

Сочинение было написано живо и оригинально. Математик был посрамлен. Впоследствии он сам стал покровителем Сейфуллиной и на выпускном вечере тоже говорил отцу, что ее надо учить дальше.

Осенью сестра поступила в седьмой класс Омской гимназии. Отца в это время перевели по его просьбе в действующую армию и направили в качестве полкового священника на Дальний Восток. Шла японская война.

В 1905 году с тяжелым осложнением после сыпного тифа его отправили в один из госпиталей в город Омск, а потом в Москву на лечение. С ним поехала Лида. Эту поездку она описала в очерке «В Москве 1905 года».

В 1906 году отца отчислили из армии и направили в распоряжение епископа в Оренбург. Там его временно назначили в одну из кладбищенских церквей служить панихиды и отпевать покойников. Лида устроилась учительницей в начальную школу. Отец снимал две небольшие комнатки. Жили они тогда очень скромно. Я училась в епархиальном училище, и меня брали оттуда раз в неделю по воскресеньям. Свободного времени у отца было достаточно. Сестра доставала ему книги, он много читал. Для пополнения бюджета переписывал роли для театра. У сестры завелись интересные знакомства. Она занималась

со взрослыми учениками в воскресной школе, преподавала русский язык. Ученики ее любили, некоторые из них потом стали ходить к нам за книжками.

В молодости сестра была очень доверчива, легко сходилась с людьми. Вокруг воскресной школы группировался кружок молодежи. В это же время она подружилась с семьей будущего драматурга А. Афиногенова, которому тогда было три года. Был он голубоглазый, беленький, озорной малыш. Его отец, железнодорожный служащий, впоследствии писатель Степной, и мать, подпольный партийный работник, а также их близкий друг педагог А. И. Покровская оказали большое влияние на формирующееся мировоззрение Лидии Николаевны. С задорным апломбом молодости она, явно подражая кому-то, взялась поучать отца:

— Со злом нужно бороться активно, а не подставлять голову под удары. Не такое теперь время.

Позже она познакомила отца с Афиногеновыми, и он часто бывал у них.

— Вы, батюшка, почаще заходите. Нам такие благонадежные гости на руку: хозяин и дворник больше будут уважать, — шутили они.

Вскоре в Оренбурге стала издаваться прогрессивная газета «Простор». Редактором газеты была А. В. Афиногенова.

Судьба таких газет в то время была везде одинакова. Они «отцветали, не успев расцвести». Их глушили большими штрафами, редакции разгоняли. Я помню случай, когда нужно было экстренно достать пятьсот рублей на уплату штрафа, наложенного на редактора. Заложили в ломбард все, что было ценного у Афиногеновых и Покровской, туда же пошел и отцовский серебряный портсигар и Лидины часики. Деньги достали вовремя — редактор остался на свободе.

В другой раз дело окончилось печально. После обыска в редакции и на квартирах сотрудников арестовали ряд товарищей. Лида тогда была в редакции рядовым работником, как говорили — «за всё».

И вот в эти-то дни я чуть было не наделала большой беды.

В одно из воскресений я накупила себе и подругам картинок в альбом для стихов. Собираясь с отцом в училище, я заторопилась. Во что бы мне положить картинки? Случайно ящик Лидинового стола был не заперт, я порылась в нем и вытащила какую-то невзрачную тоненькую книжку с заглавием «Пауки и мухи». Не долго думая, я сложила все картинки в эту книжечку, сунула ее за передник и пошла. В классе я раздала подружкам картинки, а книжку положила в парту, между учебниками. И вдруг в понедельник, в неположенное время, меня вызывает швейцар в приемную. Я бегу по лестнице, передрыгивая через две-три ступеньки. Волнуюсь. Что случилось? В дверях стоит бледная Лида.

— Зойка, ты не брала у меня в столе тоненькую белую книжечку?

— «Пауки и мухи»? Взяла. Я туда картинки сложила...

Сестра дергает меня за руку и шипит:

— Тише, дура несчастная! Орешь на весь коридор! Это запрещенная книжка, ее никто не должен видеть, сейчас же незаметно положи ее под фартук и принеси мне. Я всю ночь из-за тебя не спала. Что, если бы вчера начали осматривать у вас парты? Ты не представляешь себе, чем это могло бы кончиться!...

В эти тревожные для кружка дни Лида как могла помогала товарищам, оставшимся на свободе. Она носила передачи в тюрьму. Один раз ходила «невестой» на свидание и т. д. Отец очень переживал это, но отговаривать ее не решался.

Вскоре он получил назначение в город Орск. Позже уехала к нему и сестра.

Там она получила место учительницы в городском училище. Благодаря ее общительному, открытому характеру вокруг нее всегда собиралась молодежь. В городе был драматический кружок. Лида принимала в нем активное участие. У нее оказались хорошие способности, и она завоевала симпатии

публики. Играли любители в Народном доме. Ставили «Власть тьмы» Л. Толстого, а также пьесы Шпажинского и Найденкова.

«Власть тьмы» шла с большим успехом. По желанию публики ее повторили четыре раза. Лида играла девочку Анютку. Зрители прерывали аплодисментами сцену из четвертого акта — разговор Анютки с Митричем, а по окончании актрису вызывали несколько раз.

После такого шумного успеха Лида решила попробовать свои силы на профессиональной сцене. Тут отец, первый раз в жизни, решительно воспротивился:

— Не по той дороге хочешь идти! Что тебе даст сцена? С твоим прямым, горячим характером ты там погибнешь. Там нужно приспособляться, фальшивить. Ты и жизни-то не знаешь по-настоящему! Утонешь в закулисной тине. Иди учиться дальше. Получай высшее образование, войдешь в студенческую среду; если и сгоришь там, то не даром! Там — настоящая борьба. Не повторяй моей загубленной жизни.

Еще никогда сестра не видела отца таким гневно протестующим. Всегда мягкий, податливый, он никогда и ни в чем ей не перечил. Сейчас он был суровым и несговорчивым. Но Лида, уверовав в свое призвание, решила не сдаваться и поступила вопреки воле отца.

Три сезона она играла на сцене в антрепризе Машиной на ролях инженер-драматик. Играла в Вильно, Ташкенте, Владикавказе. Имела успех, но пробиваться вперед было чрезвычайно трудно: дорога была тернистая, шипы ощущались постоянно, а радости были редки. В 1913 году она заболела плевритом и, по совету врачей, уехала на юг. На сцену она уже не возвратилась. Некоторое время жила в Крыму, давая частные уроки.

Поправив свое здоровье, Лида вернулась к отцу. Он в то время жил в глухой деревне, жил трудно, часто болел и приезду дочери чрезвычайно обрадовался. Сестра снова стала работать учительницей в

мордовской деревне Карайгир. Занимаясь с детьми, она постепенно входила в интересы крестьян. Началась империалистическая война. Заголосили, затосковали бабы. Лида стала под диктовку писать солдатам письма на фронт. В наивных, простых и трогательных строчках раскрывалась перед ней «суровая доля крестьянки». Лида боролась как умела с темнотой и невежеством деревни. Она устраивала в школе беседы, вечера с туманными картинками, читала стихи Некрасова, Никитина, рассказы Короленко и Л. Толстого. Сначала приходили только бабы с ребятишками, а потом приохотились и мужики, особенно когда Лида стала читать газеты со своими пояснениями. Бабы про нее говорили:

— Собою маленька да немудрященька, а башкой мозговита!

Мужики ее называли: бабья заступница.

Тогда же Лида узнала, а потом приветила молодую девку, красивую озорную Аришку, которая работала у нее в школе сторожихой. Она послужила ей прототипом Виринеи.

Много лет спустя через Союз писателей Лидия Николаевна получила из Стерлитамака письмо от своего бывшего ученика, в то время спецкора областной газеты. Он писал:

«...Через всю жизнь я пронес воспоминания о вашей доброте и ласке к нам, деревенским ребятам. Ведь вы не только были учительницей, но и хорошей, с чуткой душой, ласковой матерью, особенно для нас, бедняков.

Я до сих пор помню, как вы из своего скромного жалованья купили на рубашку и штаны Ваньке Асееву и шапку Степке Буркову, да еще букварь новый. А сколько раз покупали нам пряников и угощали всех, когда мы по вечерам приходили в школу. А как вы старались к экзаменам нас подготовить!

А послушайте-ка, что теперь стало! В трех километрах от Карайгира стоят три больших корпуса МТС. В ней работают не приезжие, а свои, карайгирцы, ваши бывшие ученики. И директор МТС — тоже карайгирец.

Как видите, не пропали ваши труды даром, вышли мы в люди...»

Это письмо принесло большую радость писательнице. Но в прежние годы Сейфуллиной, молодой, пылкой девушке, было очень трудно и тоскливо жить в глухой деревушке, вдали от культурного центра...

В 1915 году Орская уездная земская управа назначила Лидию Николаевну заведующей библиотекой-читальней в село Самарско-Раевское. И там она устраивала при библиотеке громкие читки для неграмотных, вечерние занятия для взрослых, организовала труппу из крестьянской молодежи и снова вошла в интересы крестьянской жизни.

Началась гражданская война. В вихре стремительных и бурных событий мы с сестрой на какое-то время потеряли друг друга из виду. Мой муж ушел в ряды Красной гвардии. Я с тремя детьми осталась одна. Переписка тогда была делом сложным, порой даже невозможным. Шел 1920, тяжелый, голодный год. Я с семьей снова оказалась в Орске. Лида, по слухам, жила где-то в далекой Сибири. Известий оттуда не было.

Трудная тогда была жизнь. Отец, постаревший, осунувшийся, изредка приезжал к нам с хутора. Он никогда не жаловался ни на нужду, ни на немощи, которые все больше и больше одолевали его в последние годы.

Несмотря на профессию священника, он всегда жил бедно. В гражданскую войну красноармейцы проходящих частей удивленно говорили:

— Что за чудной поп? Во дворе у него ни лошади, ни коровы не видно, да и в избе не как у других попов.

А в последний день пребывания бойцов в деревне один прямо сказал: «Знаешь, батя, что? Не путайся ты у нас под ногами — не всякий поймет и поверит, что от тебя бедному люду зла не было, а по одежде да по волосьям длинным очень просто кто-нибудь и рассчитается из нашего брата с тобой в горячий час, как с защитником богатеев-кулаков. Это вот мы пожили здесь да узнали от крестьян о тебе и решили

тебе совет дать: «Снимай-ка ты свой кафтан, постригись под кружок и топай, айда с нами общую светлую долю добывать. Нам сейчас грамотные, со здоровой мозгой в башке вот как нужны! А так очень просто пропадешь ты зря!»

Он говорил так убедительно, что отец только из боязни потерять след своей старшей дочери не ушел с ними, а остался вблизи Орска на хуторе. И беда действительно чуть было с ним не случилась, только пришла она не от красных, а от белых. Ночевала на хуторе казачья сотня. На отца донесли, что он помог отставшему больному красноармейцу скрыться из села, а дочь у него смутьянка, против белой власти идет и где-то в бегах скрывается. Каратели послали за отцом. На его счастье, он в ту ночь был в соседнем хуторе. Встретился с казаками рано утром, когда сотня оставляла хутор. Отец ехал домой. Есаул велел ему остановиться и подойти.

— Странные вещи, святой отец, про вас рассказывают жители. Говорят, вы красную сволочь у себя скрывали? Одному помогли убежать...

— Не понимаю, о чем вы говорите? Никому я убежища в доме своем не предоставлял.

— А чем занимается ваша дочь?

— Учительствует.

— Где она сейчас? Кого и чему поучает?

— Не ведаю где, но полагаю, по правильной дороге идет.

— С кем? — Есаул замахнулся нагайкой.

— Считаю, что с вами ей не по пути, — ответил отец.

— Ну так получай за дочь задаток! — Есаул хлестнул отца два раза нагайкой. — Мы с тобой еще поговорим, когда вернемся...

Вернуться они не сумели, и это спасло отца.

Каждый раз, приезжая к нам, он первым делом спрашивал: есть ли письмо от Лиды? Нет ли каких слухов о ней. Хоть бы знать, что она жива, здорова. Где сейчас эта мятежная душа? С кем шагает в ногу по трудным дорогам? Знать бы, пока жив.

— Помнишь, Зоя, как не лежало у меня сердце

к ее работе на сцене? — говорил он. — Правильно не лежало! В сторону она тогда свернула. Учиться ей надо было. Как бы теперь народу она пригодилась, глаз у нее острый, человека насквозь видит. «Глаголом жечь сердца людей» — вот что надо ей сейчас делать! Видела бы она, как есаул меня нагайкой огрел, когда я сказал: хоть не знаю, где дочь, но верю, что на правильном пути находится. Этой верой в нее и живу. Только бы знать, что жива, только бы весть получить...

Этот разговор с отцом у нас был последним.

Дней через десять мне дали знать с хутора, что с ним случился удар. Когда мы с мужем приехали к нему, он уже умер.

Я решила взять тело отца с собой и похоронить в Орске.

На рассвете мы подъехали к дому. Внесли отца в столовую. На краю стола, куда только что положили покойника, я увидела письмо от Лиды и бандероль с ее первой напечатанной вещью.

Как долго он этого ждал, но не дождался.

Постепенно с Лидой наладилась переписка. Сестра вышла замуж и жила в Челябинске, потом переехала в Новониколаевск (ныне Новосибирск). Продолжала писать. Ее печатали, о ней стали говорить. И вот уже лежат у меня на столе тоненькие книжки «Сибирских огней».

Об этом периоде своей жизни Лидия Николаевна писала, что, если бы сибирская пресса не увидела достоинств в ее первой, во многом еще несовершенной повести, у нее не было бы мужества и решимости сразу же приняться за вторую. «Для меня это представлялось так, что я выплыла, почти не умея плавать, на большую глубину. А кто-то, *верно знающий* мою судьбу, следит за мной. Если он крикнет — «не выплыть!» — как же не усомниться, не потонуть? Первые похвалы провинциальной печати были для меня таким поощрительным криком: «Доплывешь! Что, мол, там разговаривать!» Оттого, после поддержки печати, я писала «Правонарушители», будто песню по своей охоте пела...»

Шаг за шагом все увереннее шла сестра по той дороге, о которой всю жизнь мечтал для нее наш отец. Вскоре ее отметила столичная печать, пригласили сотрудничать в московских журналах. В 1923 Лидия Николаевна переехала в столицу.

В 1924 году сестра пишет «Мужицкий сказ о Ленине» и «Виринею». В это же время, по командировке тифлисской газеты «Заря Востока», она ездила в Турцию. Об этой поездке написала книгу «В стране уходящего Ислама». Повесть «Виринея» впоследствии была переделана в пьесу. Впервые ее поставили в Москве, в театре Вахтангова. Этим же театром она была показана в Париже.

В 1927 году Лидия Николаевна была приглашена в Чехословакию, в связи с постановкой «Виринеи» Пражским театром. В Праге пьеса имела огромный успех. В том же году она побывала в Париже, Берлине, Варшаве. Эти поездки описаны в ее «Заграничных впечатлениях».

В начале двадцатых годов мне удалось пожить некоторое время у сестры в Москве. Жила она тогда на Басманной улице с мужем и его родственниками.

В квартире у них постоянно собирался народ. Сама Лида была в то время веселой и жизнерадостной. Люди не утомляли ее и не мешали ей. Она с интересом подходила к каждому новому человеку, была щедра на внимание и сочувствие к чужим радостям и горестям.

Страстно любя жизнь, она требовала и от других активного участия в нашей новой, советской жизни.

Даже трудно было сказать, когда у них заканчивался день и начиналась ночь. Бывало, в час ночи раздавался телефонный звонок:

— Лидия Николаевна! Вы как, бодрствуете еще? Отлично, мы придем к вам сейчас на огонек.

И Лида всегда охотно поддерживала этот «огонек» хоть до утра! Лишь была бы интересной беседа!

Друзей приходило много, известность ее росла, и жить было интересно.

Бывал у них в те годы Сергей Есенин. Лидия Николаевна часто просила его приходить вместе с сестрой Шурой. Она любила эту хрупкую сероглазую девушку, почти девочку, которая хорошо пела русские песни. Шура пела, Есенин читал свои стихи. Говорили о литературе. Иногда возникали жаркие споры. Часы шли незаметно.

В этот же приезд я встретила у Лиды Новикова-Прибоя, Бабеля, Зазубрина, Всеволода Иванова, Ларису Рейснер...

Работала Лидия Николаевна главным образом ночами. Приступала к работе всегда трудно, сама про себя говорила:

— Сутки раскачиваюсь. Радуюсь каждому пустячному предлогу, чтобы отвлечься, закуриваю, разыскиваю какие-то бумаги...

Но, начав писать, уже не отрывалась. Писала залпом, не обращая внимания ни на кого, кто заходил в комнату, просто не видя его. В это время почти ничего не ела, просила только крепкого черного кофе и без конца курила. Комната становилась синей от дыма — она ничего не замечала. Отрывать ее от работы было нельзя.

Когда она уставала или у нее не ладилась работа, она выходила к нам посидеть. Иногда сама предлагала:

— Хотите, прочитаю вам стихи?

Читала она их замечательно. В то время любила читать Блока — «Двенадцать» или «Скифы». Пушкина чаще всего читала «Моцарт и Сальери», «Когда для смертного умолкнет шумный день», «Роняет лес багряный свой убор».

Из стихов Есенина она больше всего любила читать: «Все живое особой метой отмечается с ранних пор» и «Письмо к матери». Посидев с нами некоторое время, повздыхав, она снова уходила к себе и работала до полного изнеможения.

В более поздние годы, когда ей не удавалась работа, она читала «Анну Каренину» или «Войну и мир». Чтение всегда приводило ее в равновесие и помогало, как она выражалась, выйти из тупика...



Л. Н. Сейфуллина
1922

Страшная весть о войне застала Лидию Николаевну в Переделкине, на подмосковной даче. Пока я раздумывала, как дать ей знать, она уже приехала и позвонила мне, что уходит в Союз писателей.

Мой муж Рафаил Маркович Шапиро работал хирургом в одной из больниц Москвы, я тоже медик по образованию, и мы ожидали вызова в военкомат каждую минуту. Лидии Николаевне с ее беспокойной натурой трудно было усидеть на месте. Но из Союза она вернулась довольно смущенная.

— Мое заявление поехать корреспондентом на фронт никто всерьез не принял... Эх, сбросить бы мне лет пятнадцать со счета! А теперь что получается? Вы уедете на фронт, а мне с твоим детским садом оставаться?

Жили мы тогда в Москве все вместе, и у нас было трое внучат, причем последний родился 14 июня и еще находился с матерью в родильном доме.

Потянулись тяжелые дни. Мы с мужем получили назначение в один из московских сортировочных госпиталей и целыми днями работали, готовясь к приему раненых. По госпиталю объявили казарменное положение, но мне разрешали уходить на ночь домой, так как там у меня была больная дочь с новорожденным.

Лидия Николаевна несла дежурство в Союзе писателей. Домой возвращалась только к вечеру, усталая и угрюмая.

Вести были тревожные. Враг стремительно наступал. Начались налеты на Москву. Хотя наши зенитки и делали все возможное, чтобы не допускать к городу самолеты, положение было серьезное. Москва готовилась к эвакуации детей. И нам впервые в жизни пришлось испытать ни с чем не сравнимый страх за жизнь детей, изведать горечь разлуки с ними. Сначала отправили мальчика и девочку старшей дочери в Чистополь. Матерей не брали. Срок отъезда был предельно короткий. Мальчику шел девятый год, ему объяснили как могли необходимость отъезда. Девочке было три года. В последнюю перед

их отъездом ночь никто из нас не смыкал глаз. Мальчик, поминутно просыпаясь, спрашивал:

— Мама, а мы еще здесь? Мама, а где ты? Бабушка, а ты почему не ложишься спать?

Лидия Николаевна ходила из угла в угол по комнате и беспрерывно курила. Наступил рассвет. Надо было будить детей и спешить на вокзал.

Лидия Николаевна сказала:

— Я пойду провожать детей до троллейбуса. Прощаться будем на улице.

Это была ее самозащита. Вышли на улицу, впереди мать и дети. Мальчик с суровым, сразу повзрослевшим лицом вел за руку сестренку. Девочка была доверчиво ласковая. Она вприпрыжку шла по тротуару, прижимая к груди новую, нарядную куклу...

Лидия Николаевна вдруг резко остановилась и негромко сказала мне:

— Зоя, я больше не могу. Закричу от жалости. Я вернусь домой.

Потом она переборола себя и окликнула детей:

— Левушка, мне нужно уходить. Дай я пожму на прощанье твою руку. Крепко, по-мужски. Целоваться не будем. Я буду говорить с тобою по-деловому. Запомни, с этого дня ты остаешься единственным защитником маленькой сестренки. Мать тебе ее доверяет. Береги ее, помни навсегда мои слова... Ты меня понял?

Мальчик так же серьезно ответил:

— Понял. Буду день и ночь смотреть за Иркой и беречь ее. Мы будем ждать нашу маму. Я до нее плакать не буду. А ты пока тоже береги маму... — Он помолчал немного и тихо добавил: — И ты тоже помни, что я тебе говорю.

У Лидии Николаевны задрожали губы, она силилась еще что-то сказать, но молча погладила девочку по голове, махнула рукой и, не оглядываясь, пошла назад... Я проводила детей до автобуса и поехала в госпиталь.

Трудно, очень трудно провожать в неизвестность близких людей, да еще таких маленьких и беззащитных!

Ночью был первый большой налет на Москву.

А через несколько дней я снова провожала уже другую дочь с ребенком, которому исполнилось три недели.

В эти тяжелые дни расставания Лидия Николаевна очень поддерживала меня. Ее близость и любовь давали мне силы переносить разлуку с детьми.

Участились налеты. Каждую ночь враг рвался к Москве. Началась эвакуация заводов и учреждений. В Москве должны были оставаться только люди, нужные для обороны. Снова и снова тянулись эшелоны, груженные оборудованием и машинами.

Лидии Николаевне неоднократно предлагали эвакуироваться, а в последний раз сказали, что она включена в список товарищей, отправляемых в Нальчик.

Но ни уговоры, ни звонки из секретариата не помогли, Лидия Николаевна не поехала в Нальчик.

— Из Москвы я могу выехать только на фронт. А уж если придется оставлять Москву, чего я ни на минуту не допускаю, то я уйду с последними бойцами, пешком.

Она много писала, выступала по радио. Во время налетов она ни разу не спускалась в бомбоубежище, а продолжала работать.

С каждым днем осложнялась военная обстановка. Ряд госпиталей отправляли в тыл. Должна была дойти очередь и до нашего госпиталя. В нашем доме осталось очень мало обитателей. В коридоре, где мы жили, заняты были только две квартиры. Дом казался вымершим и своим безлюдьем наводил какую-то тревожную тоску.

Подошел и наш отъезд. В двенадцать часов ночи муж позвонил по телефону:

— Немедленно соберите вещи и приезжайте в госпиталь вместе. Начальник разрешил Лидии Николаевне ехать с нами. Я домой не вернусь.

Сестра побледнела.

— Лида, я тебя не оставляю, поедem вместе. В шесть часов утра погрузка. Ты пойми, детей нет, неизвестно, как дальше пойдет их жизнь. Ты знаешь,

как я тоскую в разлуке с ними. И тебя еще потеряю!

Лидия Николаевна сказала:

— Но как же это так внезапно? Ты ведь знаешь, что я не могу бросить Москву. Мне совесть не позволяет.

Руки ее дрожали, она никак не могла закурить. Я заплакала.

— Я не могу тебя оставить! Если ты не поедешь, то я тоже останусь. Меня объявят дезертиром, и я уже не знаю, что со мной будет. Но я без тебя не поеду!

В это время пришел муж дочери — начальник штаба истребительного батальона. Он сказал:

— Лидия Николаевна, о том, чтобы вы оставались в Москве, не может быть и речи. Я знаю положение лучше, чем вы. Через час придет моя машина, и я вас обеих отвезу в госпиталь.

И вот под таким натиском Лидия Николаевна сдалась.

Пришла машина. Сестра вышла из квартиры в одном пальто, с портфелем, в котором лежали документы. Она быстро, не оглядываясь, шла по лестнице впереди нас.

Нагруженные госпитальным имуществом, большие машины медленно, одна за другой выезжали из ворот. Подошла машина для персонала. В последний момент у меня мелькнула мысль: «Правильно ли я поступаю, отрывая Лидию Николаевну, против ее воли, от привычной обстановки?» Тронув ее за рукав и запинаясь, я сказала:

— Лида! Если тебе так тяжело уезжать — останься! Вот стоит машина Георгия.

Сестра махнула рукой и устало сказала:

— Довольно об этом.

Медленно ехали мы по московским улицам, и все, что виделось в этот момент, навсегда осталось в памяти.

Впереди тянулись длинные-длинные вереницы машин. Несмотря на ранний час, улицы были полны людей. Метро закрыли еще с ночи. Трамваи шли до

отказа переполненные, по тротуарам сплошной стеной двигалась толпа. Люди с рюкзаками и мешками, некоторые вели велосипеды с грузом, ручные тележки, изредка среди вещей мелькали детские лица. В это горькое утро мы покидали Москву.

— Куда ты везешь меня? — спросила сестра.

— Лида, я сама не знаю! Нам неизвестно.

На момент мне опять показалось, что я делаю совсем не то, что нужно для сестры, и теперь я отвечаю за ее жизнь, за все, что ждет нас. И это было страшно.

А ехали мы по приказу командования в Муром, чтобы там развернуть госпиталь для приема раненых.

В Муроме почти в каждом доме уже были эвакуированные из разных мест. Устроиться было чрезвычайно трудно. Часть наших машин временно была оставлена на площади, около здания театра, их охранял караул. Нам же указали улицы, по которым мы должны были, проявив настойчивость и инициативу, найти квартиры для ночлега. В маленькой комнате, где мы расположились, набралось, кроме хозяев, двенадцать человек. Люди спали на полу. Лиду муж устроил на сундуке. В комнате было душно. Почти все курили. Тут же пили чай в две смены у небольшого стола. Я чувствовала себя преступницей: «В какие условия я привезла Лиду! Мы будем с госпиталем за городом. Где и как будет жить она?..»

Я стояла в углу за печкой, не решаясь подойти к сундуку, на котором сидела и курила сестра. Но она сама глазами отыскала меня и подошла.

— Зоинька, ну что ты, родная, так огорчаешься? Все утрясется. Самое главное — мы вместе. Я много думала дорогой и поняла, что иначе ты поступить не могла. Будем жить по-походному, как все люди.

Мне стало легче, и тревога пропала. Конечно, все преодолеем вместе. Здоровы, сильны, а бедствие ведь общенародное — надо быть стойким, мужественным и честным.

Госпиталь перевели за город. Лидия Николаевна оставалась в Муроме. Она хотела как можно быстрее

отыскать себе работу, получить карточки и снять с меня заботу о ее быте. А устроиться в таком маленьком городе, забитом эвакуированными, было нелегко.

Ей предложили работу на радиоузле: собирать и обрабатывать для радио местный материал. Каждое утро она ходила собирать материал, а потом сидела и обрабатывала его в холодном помещении.

Жила она в комнате вместе с хозяйкой, которая отгородила ширмой ее кровать и маленький столик.

Через некоторое время Лидия Николаевна стала давать статьи в газету «Муромский рабочий». Выступала в воинских частях, в госпиталях. Виделись мы с ней только вечерами. Общежитие у нас еще не было налажено. В госпитале жил только младший медперсонал. Врачам и старшим сестрам подавали автобус, который возил нас ночевать в город. С чьей-то легкой руки этот автобус прозвали «Голубая антилопа». «Антилопа», как видно, побывала в боях, бока ее имели не одну вмятину, вместо стекол была вставлена фанера. Но эта машина выручала нас. Остановка автобуса в городе была недалеко от улицы, где жила Лидия Николаевна, и я каждый вечер забегала к ней. Иногда мы шли в нашу комнату и втроем коротали вечер. Комната была настолько тесной, что не помещался третий стул, стол придвигали к кровати. Окно для тепла занавешивали одеялом. С наслаждением пили горячий чай с белыми, еще московскими, сухарями. С продуктами было туговато. Лидия Николаевна хоть и получила рабочую карточку, но, не умея ее реализовать, отдала квартирной хозяйке, которая делила с ней продукты по своему усмотрению.

Вздыхая потихоньку каждый про себя, мы бодрились, рассказывали о своем трудовом дне, вспоминали нашу дружную большую московскую семью, которая вдруг рассыпалась. Каждый день ждали писем от детей — приходили они редко и были малоутешительны. Лидия Николаевна не жаловалась ни на холод, ни на голод. Наоборот, всячески подбадривала меня, рассказывала с юмором, как, путаясь в мужской шубе, она представлялась какому-нибудь

начальнику железнодорожного узла: писательница, нужны сведения для радио.

Начальники говорили ей что-то невразумительное и, недоверчиво оглядывая ее маловнушительный вид, отсылали в другие отделы. Трудно давался материал. Но статьи в газете «Муромский рабочий», выступления в клубе и в госпиталях постепенно сделали известным имя Сейфуллиной в городе Муроме.

Однажды пришла телеграмма секретарю горкома партии:

«В Муроме живет писательница Сейфуллина, нуждается в работе, помощи. Прошу помочь, как советскому писателю, заслуживающему доверия.

Емельян Ярославский,
Депутат Верховного Совета СССР».

Мне до сих пор неизвестно, откуда товарищ Ярославский узнал о трудной жизни Лидии Николаевны в Муроме. Возможно, кто-нибудь из политработников, заезжая за ней, заметил ее скромный быт, а может, она в минуту горького одиночества и большой человеческой тоски сама написала ему, как давнему другу по Сибири.

После этой телеграммы быт Лидии Николаевны был налажен.

Разлуку с Москвой сестра переживала тяжело. Всем своим существом она стремилась уехать обратно. Время шло. Из Москвы приезжали люди, рассказывали, что налеты продолжаются ежедневно. Город на военном положении, но живет он бодрой трудовой жизнью. После таких разговоров Лидия Николаевна ходила грустная и особенно много курила. Мы с мужем решили посодействовать ее возвращению. Госпиталь посылал автомашины в Москву, и муж попросил начальника разрешить отправить с ними Лидию Николаевну. Согласие было получено, но накануне отъезда сестра заболела, и ее пришлось перевезти в госпиталь.

В Москву она попала в январе 1942 года, получив вызов на пленум Союза писателей. С большим

трудом достали мы билет в проходящий поезд. В день отъезда я получила увольнительную. Из-за снежных заносов поезда выходили из графика, и мы уехали на вокзал с вечера. Длинная зимняя ночь мне показалась короткой. О многом мы говорили с сестрой, а слова будто были совсем не те, и, когда за окнами вокзала загрохотал в морозном воздухе поезд, я подумала, что о чем-то самом главном мы так и не сказали ничего друг другу. Молча, глотая слезы, сжимала я в своих руках ее маленькие теплые родные руки. Лида говорила мне:

— Зоинька, помнишь, есть такое хорошее слово: преодолеть. В наше время оно должно стоять на первом месте. Мы обязательно увидим хорошее-хорошее время.

Потом часто — просиживая бессонные ночи у постели раненых, получая письма о болезнях внуков — я мысленно повторяла: «Надо преодолеть».

Проходящие поезда стоят мало. Чувствуя вину передо мной за свой отъезд, Лида грустно, растерянно говорила:

— Зоинька, ты не плачь. А то я не смогу уехать от тебя. Ты улыбнись мне на прощанье, чтобы я запомнила лицо твое бодрым...

И я улыбалась, в тумане слез глядя на родное лицо бесконечно дорогого мне человека.

А когда поезд тронулся, я быстро пошла за вагоном и громко, в меру возможности бодрым голосом крикнула:

— Лида! Я очень, очень рада, что ты едешь в Москву! Я верю, что мы непременно увидимся! Слышишь?

Мне показалось, что ветер донес ее ответное: «Слышу!» Но вагон был уже далеко. Поезд набирал скорость. Чуть виднелся белый комочек ее платка, а я все бежала до обрыва платформы, провожая глазами красный огонек последнего вагона.

Уехала...

Медленно пошла я к вокзалу.

Наступило утро. Тихо падал снег, вокруг ослепительно бело. Пять километров, отделяющих вокзал

от города, крепко задумавшись, я прошла незаметно в своих не по росту больших военных сапогах.

Идя по снежной степи, я вспоминала нашу жизнь, встречи, расставанья. И когда наконец дошла до квартиры, только в теплой комнате я почувствовала, как устала и продрогла.

Чтобы не оставаться на ночь в одиночестве со своей печалью, я переменялась дежурством. Выпив горячего чаю и отогревшись, начала собираться в госпиталь. Надевая халат, нащупала в кармане какую-то бумажку. Это оказалась записка Лиды, которую она положила незаметно для меня в час отъезда.

«Сестра моя милая, в каких бы условиях мы ни оказались, на любом расстоянии мы должны чувствовать локоть друг друга. Будем бодрыми. Стиснув зубы, проживем до светлых дней. А растеряемся — погибнем.

Всегда с тобой — Л и д а».

Тепло мне стало от этой записки. Положив ее обратно, я крепко прижала ее к себе и пошла на работу...

В Москву сестра приехала в холодную, но не пустую квартиру. В ней жила наша домашняя работница Катя.

Девушка обрадовалась приезду Лидии Николаевны. И все трудные годы они прожили вместе. Из Москвы Лида часто писала мне. Привожу выдержки из некоторых ее писем. Они лучше всего покажут, как жила и работала сестра в эти суровые дни.

* * *

7 февраля 1942 года

Надо написать тебе целую повесть, а в комнате очень холодно, несмотря на то, что около меня стоит электрическая печка... Рука от холода пишет неровно.

На Пленуме мое выступление встретили прямо овацией. Но ни одна газета не напечатала ни отчета, ни стенограмм речей. Сейчас все о фронте и

реальных достижениях производства. На Пленуме был Ем. Ярославский... он оттуда увез меня к себе обедать, и я провела несколько часов с искренним и давним другом, ела... питательный обед... К концу обеда приехала со своей лекции из Наро-Фоминска его жена и очень мне обрадовалась.

На следующий день редакция «Правды» прислала за мной машину на совещание. Оно закончилось в 2 часа 15 мин. ночи. Ночных пропусков у нас, приглашенных, не было. Ярославский по этому поводу рассказал нам следующий случай. Прилетел из-под Москвы к нему в гости на одни сутки его сын, летчик-истребитель. В Москве он засиделся у товарищей, и его забрал ночной патруль. Пришлось ему звонить из милиции: «Папа, выручай». Очень строго ночью в Москве. Нас отправили из редакции на двух машинах: пропуск у машины (шофер) и у сопровождающего нас. На случай задержания — ночной телефон коменданта Москвы, с которым договорились. По Ленинградскому шоссе патрули нас пропустили. В проезде МХАТ поворота с ул. Горького нет, поэтому повезли сначала Ванду Василевскую, Корнейчука, Катаева Валентина, Илью Эренбурга и меня к гостинице «Москва», где все поименованные, кроме меня, проживают. У Центрального телеграфа нас задержали. Начальник патруля заявил: «Я обязан проверить личные ночные пропуска каждого сидящего в машине». Корнейчук ответил: «Здесь — депутаты Верховного Совета и писатели».

«Очень приятно, что депутаты Верховного Совета и писатели, которых я знаю, очень люблю читать и узнаю тов. Сейфуллину (у него в руках четырехугольный яркий фонарь), но я отвечаю за то, чтобы даже у таких людей были налицо пропуска».

Сопровождающий сообщил ему телефон коменданта, и мы стояли под охраной, пока он уходил звонить по телефону, вернулся и заявил: «Можете ехать, покойной ночи»...

Сейчас в Москву не приезжай... А то у меня будет сердце разрываться, что ты сидишь в холодной квартире, в безлюдном коридоре...

22 февраля 1942 г., 2 часа ночи

...Вчера я, как член Правления ССП, дежурила в Союзе. Милые товарищи, как повелось давно, возложили на меня все тернии из роз, увенчивающих Правление. Я — в комиссии по приему... и проверке состава членов ССП. В комиссии пять человек... Я старейшая и член правления, а Митрофанов и Федосеев только члены Союза. Представляешь, сколько недовольства, жалоб, упрасиваний обрушилось на меня! Ночами я читаю рукописи и книги, днем докладываю комиссии. Принимаем и отлучаем. Денег за это никто не платит, а платную работу делать некогда. Я возвращаюсь домой, как избитая, хоть и говорят, что брань на ворота не виснет. Очень виснет. Исключив из писательской столовой человек десять ежедневно, хотя бы и справедливо исключив, приходишь домой, как Малюта Скуратов. Мужчины хоть только ругаются, а женщины еще плачут. Ох, завязал бы горе веревочкой!.. Мне надо сдавать рукопись в Гослитиздат... 20-го, после чтения анкет и представленных на проверку произведений, я села ночью писать. Работала до 6 утра, заговорило радио, легла спать...

Зоинька, не присылай ты мне ничего, пожалуйста. И папиросы тебе нужны, и мука необходима... Я никак не голодаю. А табак хоть с перебоями, но дают...

И я ни одного дня не была без хлеба...

О героизме жизни Ленинграда порассказал поэт Тихонов. Он теперь полковник генштаба... Худой он чрезвычайно, один костяк, лицо как у скелета, только что кожей обтянутый, а глаза живут, но какая бодрость, любовь к своей стране и непритворная подлинная вера в победу.

...Серебрянский попал в окружение. Оттуда вырвался с отрядом партизан писатель Жига. О Серебрянском пока сведений нет.

Как выросли наши фронтовые писатели, ты не можешь себе представить... Ставского теперь даже наш Илья Эренбург признал, говорит: «Волнует, ничего не поделаешь, художественно волнует...»

Огромное тебе спасибо за картошку. У нас даже в писательской столовой она — редкая радость. Все гарниры из капусты. Мы ее с почетом уложили в буфет. В кухне и вообще на полу держать нельзя. В опустевшем нашем доме развелись крысы. Ночью даже пугают своей возней.

Но больше ты ее не присылай, честно и убедительно прошу. Мы с Катей... никак уж не голодаем. В Ленинграде умер писатель Сергей Семенов. Недоедание и холод... В Москве... скончался Свирский. Прошло не приметно. Неохота сейчас умирать.

28 февраля

...Пожалуйста, не посылай мне ничего из продуктов... По карточкам мы кое-что получаем, а иногда и в Союзе подкинут то изюм, то печенье, обеды берем там. Правда, дорогие, по 8, иногда по 9 руб. каждый, и берут мои талоны на мясо и крупу, хотя крупу редко дают, но тогда и талонов не берут. Основная беда — холод. Согреваешься только в постели, и нет сладкого, но и у вас нет. Приехала я вовремя. Сейчас... без вызова не прописывают, а вызовы нам разрешают лишь в крайней необходимости. Нам нужен Демьян Бедный из Казани. Велели запросить, может ли он при его сахарной болезни удовлетвориться тем, что мы получаем. Никакие добавки невозможны.

...На прошлом заседании постановили отметить и отпраздновать 20 лет моей писательской работы в этом году. Для приема в Союз много приходится читать книг и рукописей. Радостно было только раз — в «Знамени» за 1940 г. напечатана повесть «Поход генерала Шпее» Ю. Вебера. Замечательно! Я докладывала, и Вебера мы приняли с аплодисментами. Все жали ему руки. Самой писать остается мало времени. В «Литературе и искусстве» есть две моих статьи... В ночь на 27-е я не ложилась спать и написала обращение к женщинам славянских стран. Оно будет передано по радио. В понедельник или во вторник я буду читать для Болгарии все сама на

русском языке, для Чехословакии и Югославии только несколько фраз, чтобы слышали голос, остальное — диктор на языке народов...

Дни летят, как бешеные. Не успеваешь сделать то одно, то другое. Заседанья, хождение за всякими по-блажками, вроде табаку или печенья, съедают день. Ночью пишу и плохо высыпаюсь. До сих пор не закрыла бюллетень, для чего надо лично явиться в Кремлевку к тому доктору, который дал. А когда он бывает, у меня неотложное присутствие в Союзе. За бюллетень же Литфонд оплатит. И все же ночами в одиночестве скучаю о тебе, о вас обоих и о детях. Почему-то вчера встосковала о Марии Павловне Чеховой. Да. Надо быть бодрыми.

Радио работает сейчас в глубоком подземелье. Так что во время налетов перерыва в работе не бывает. Налетов не было, и последние ночи не стреляют...

22 марта 1942 года

Вчера мне помешали кончить письмо. Пришли представители Союза научных работников. Сегодня в 6 ч. будут меня чествовать у них. Сейчас уже половина второго, мне надо сходить еще в парикмахерскую постричься. Плохо дело у меня с туалетом. Хорошего платья нет. В этом виновата, конечно, я сама. Вовремя не позаботилась. Вот тебе пример, что необходимо всегда думать об условностях человеческого общения... 24-го на официальном чествовании я буду в шубе. В Союзе не топят. Мой юбилей с 22-го перенесли на 24-е. Афишу и билеты не удалось напечатать в типографии, нет свету бо́льшую часть дня, и печатается лишь боевой матерьял. Поэтому разошлют пригласительные билеты, отпечатанные на машинке, и повесят рукописные афиши в тех учреждениях, откуда придут приглашенные. Не знаю, будет ли в центральной прессе сообщение об этом юбилее, но в газете «Литература и искусство» — будет. Насколько я несчастлива в своей личной судьбе, настолько же удачлива в профессии... Мой

юбилей проходит под сурдинку. И несмотря на это, я получила приветствия от текстильщиц Иваново-Вознесенска, от писателей Азербайджана, от журналов и газет Москвы.

На вечере 24-го много записавшихся ораторов с воспоминаниями о влиянии моих произведений за это двадцатилетие из Красной Армии и Флота, из ЦК комсомола, из профсоюзов. Читать отрывки из произведений будут оставшиеся здесь артисты театра Вахтангова и от Радиокомитета Лебедев. От Совинформбюро я получила поздравление... Все это трогает до слез.

Нет продуктов, чтобы угостить всех присутствующих 24-го, но после вечера будет ужин на 12 человек у нас на квартире. Все привезут из ССП, так же как и приглашенных. Я их не знаю, кого ССП выберет. Ты понимаешь, Зоинька, как все это трогательно в тяжелой обстановке войны!..

Зоинька, меня прямо распирает от славы. Сейчас принесли адрес от Группкома писателей и от работников Наркомпути. Сохранить бы хоть эти документы от бомбежки. Хочется, чтобы мой первый внук Левушка имел право сказать: «У меня была бабушка, достойная своей эпохи...»

23 марта

По выносливости бабушка оказалась недостойной своей эпохи. Целый день от волнения я ничего не ела. Вечером стол был накрыт у Хачатрянца (Яков Самсонович Хачатрянц — писатель, переводчик, давний друг и сосед по квартире. — З. С.). Там просторней и теплей (у него хорошая электрическая печка). На столе было много вина... Но еда — одни витамины. Нарезанные ломтиками мандарины (два посылаю), компот и хлеб. Научные работники приехали на дом потому, что у них в клубе нет света... Всю обстановку этого чествования я узнала только сегодня. Начали с тостов и шампанского. Я выпила два-три бокала на голодный желудок и вдруг заявила: «Я хочу спать». Меня посадили в кресло, под-

ложили под голову подушечку, и я... уснула сидя. Первое, что я спросила сегодня у научной работницы, ночевавшей у меня, было: «Я не храпела?» Она ответила: «Вы спали, как ангел, совершенно безмятежно, но несмотря на то, что вы уснули, перед спящей именинницей говорили такие-то и такие-то речи». Оказывается, говорили, что я — чуткая совесть советской интеллигенции, что каждый из молодых ученых помнит, что мои произведения были в их школьной программе. Потом я проснулась и спросила: не выпили ли то вино, которое я посылаю в Муром? Ответили: «Нет, не беспокойтесь, дорогая». Ну, в общем было очень хорошо...

3 апреля 1942 года

...Вчера послала тебе, Зоинька, телеграмму. Молнию не приняли, пошла простой, неизвестно, когда дойдет. А послана она потому, что я тревожусь за тебя, чтобы ты не испугалась: 2 апреля, вчера, я должна была выступить по радио. Но с утра у меня открылся сильный насморк, краснота в горле и температура 37,2... Я попробовала сама говорить по телефону с Радиокомитетом... Больше начихала, чем наговорила. В ответ мне был смех... Телефонистки сейчас перегружены работой. Я попросила Анжелу Ивановну (она сейчас живет у меня, как добровольный секретарь) сходить в Радиокомитет. Ей пропуска не дали... сказали: «Пусть тов. Сейфуллина не беспокоится, выступит с ее текстом диктор». Но редактор радиовыпуска махнул свое название: «дневник Л. Н. Сейфуллиной». Дневники у нас печатают или вещают по радио, когда человек умрет. Я и подумала, как испугаешься ты, услышав слово «дневник». Оттого и послала телеграмму, что жива, здорова. Правда, я не учла, что ты не знаешь, что только две ночи нас не беспокоили гады. В последние дни основным образом они рвались на Ленинград... Под Ленинградом им здорово дали по морде, а Москва настолько не испугалась, что из моих знакомых никто не ходит в убежище. А у меня

в эти дни юбилея перебивало много разного народу с поздравлениями. И я узнала от них, как реагирует Москва на устрашения Гитлера.

О самом чествовании меня в ССП, Зоинька, просто не расскажешь. Главное, долго рассказывать. Основные штрихи картины — холодище в той комнате, где мы когда-то обедали (помнишь, на ул. Воровского, внизу, в столовой), все в шубах, но публики полно. Затопили камин, меня посадили у самого камина. Уже темно на улице, надо кончать, наверняка будет налет. Тов. Ярославский, в валенках, меховой тужурке, говорит: «Если б я не был председателем Союза безбожников, я бы сказал: «Дай бог каждому дождаться такого двадцатилетия своего труда»... Дальше холод, мрак, садят в машину только меня и цветы (ты подумай, Зоинька, чудесные розы и цикламены!).

Приглашенные ко мне, вернее, само себя пригласившее Правление ССП, приехали на трамвае с запасом еды и вина. Сидели до 5 утра, потому что после двенадцати нельзя появляться на улицах. Зоинька, я бы 10 листов исписала, так хочется всем пережитым поделиться с тобой, но я нездорова... Пишу в шубе, очень устала.

...Работы у меня очень много в Союзе. Сегодня я не могу выходить на улицу, но материал принесли домой. Кроме того, я непрерывно пишу. Свои статьи пришлю, когда мне их доставят перепечатанными на машинке. Очень беспокоит меня ваше житье.

30 июля 1942 года

...Лучше всего работать для радио... Меня хвалили за мать Лизы Чайкиной. Сегодня четверг, в воскресенье я выступаю бесплатно в парке культуры и отдыха, а 5-го, во вторник, еще где-то, уже за плату. Матерьял должен быть разный, к обоим выступлениям необходимо написать. В этом, и в заседаниях, и в чтении чужого матерьяла, тонет все мое время, вся моя жизнь. Я не могу сделать перерыва для написания пьесы или повести. Долго будут реализовывать, обсуждать и т. д. А я должна каждый

день оплачивать свое существование, ежедневно, без перебоя. Оттого устаю, порой хандрю. Но бывают счастливые дни удач. После «Русской женщины» (Аксинья Чайкина) в Радиокомитете обещали мне оплачивать немедленно каждое выступление. Мне так хочется, чтобы вы оба с Рафаилом Марковичем меня слышали!...

Радостей в моей жизни, кроме чтения книг, прямо надо сказать — никаких. Я больше занята своей писаниной или чтением...

Сегодня всю ноченьку или утром спозаранку — мне писать. Завтра необходимо сдать матерьял...

11 августа 1942 года

...Мы натерли полы в квартире, а то они совсем рассохлись. И полотер натер так хорошо, что даже грустно. Блестят, как давно не блестили, а у нас никого нет. Бесполезная красота, или бесплодная, как у Мопассана. И уже август, и новая зима — брр, лучше не думать! Писать мне становится все труднее. И не только мне, а самым упорно плодовитым.

...Тревог нет, да мы им все равно не подвластны. Никто не ходит в убежище. Сегодня я встала в 5 ч. утра. Надо написать и немедленно сдать что-либо... И вот это письмо. Вчера я чувствовала себя такой усталой, что ничего не смогла сделать. Лежала и читала...

Зоинька... хочется все рассказать подробно, чтобы вы были в курсе московского филиала вашего быта. Коротко излагать не умею. Теперь книги посылаю не из библиотеки... Можешь их держать очень долго. Стихи Светлова оставь себе совсем. Шлю 11 книг. Особенно понравилась мне «Грибодовская Москва», потом книжка Гиляровского тоже о старой Москве (обе тоненькие, но стоят иных толстенных по изобразительности и интересу)...

Кажется, ничего не забыла написать. Сегодня у меня трудный день. Надо постараться заключить договор с «Октябрем». Они звали, звали, а третий день откладывают — выпуск очередной книжки.

Л и д а.

Мне все же удалось побывать в Москве и повидаться с сестрой. Получилось так, что я попала в Москву на день раньше, чем обещала Лидии Николаевне в письме.

С радостным нетерпением спешу домой. Тяжелый рюкзак, наполненный продуктами «гостинцами», оттягивает плечи. Вхожу в подъезд — лифт не работает. Осилев пять этажей, стучу в дверь нашей квартиры. Никто не отзывается на стук, хотя за дверью слышатся голоса и даже какое-то пение. Стучу еще энергичнее, пустив в ход каблуки сапог. Открывает высокий, худой военный в шинели, которая висит на нем, как на вешалке. В прихожей полумрак.

— Вам, собственно, кого? — спрашивает он. — Если Лидию Николаевну, так ее дома нет и вряд ли она скоро будет.

— Да я, собственно говоря, в свою квартиру пришла, — наткнувшись на чей-то чемодан, сердито и с огорчением говорю я, всматриваясь в тощую фигуру военного, и узнаю нашего милого соседа М. А. Светлова.

— Виноват, — смущенно улыбаясь, говорит он, — проходите; конечно, дома будьте как дома. Лидия Николаевна выступает сейчас по радио. Я вас не узнал в военной форме. Мы тут в ожидании Лидии Николаевны расположились у нее и устроили что-то вроде репетиции со своей братвой.

Продрогли бойцы на болотах глубоких.
И капли тепла не найдется...
Мы верим, мы знаем — из далей далеких
Нам солнышко вновь улыбнется! —

поют за дверью моей комнаты.

Я заглядываю туда, в сизом тумане табачного дыма за круглым столом сидят незнакомые мне люди. Приоткрываю дверь другой комнаты, вижу — на диване и прямо на полу, на разостланных шинелях, спят человек пять военных.

Пятясь, тихонько выхожу в кухню. Михаил Аркадьевич помогает мне снять со спины тяжелый рюкзак. Медленно расстегиваю шинель, раздумывая — куда же мне податься, как вдруг раздается громкий стук в дверь и голос сестры:

— Зоинька, вот радость! Наконец-то, как это хорошо, что ты сумела приехать. Дай-ка я тебя поцелую. А я тебя ждала только завтра к вечеру. Нарочно сегодня два выступления провела. Вот молодец, выбралась все-таки! Ну здравствуй, дорогая! Сейчас разденусь, и пойдем к тебе в комнату, будем отдыхать! А я выступала по радио для Чехословакии. Смертельно устала, спешила засветло домой добраться, — быстро говорила Лидия Николаевна. — Да ты почему в кухне? В комнате ведь все свои. Мои друзья там — Миша Светлов с артистами. Ты их не смущайся, они разучивают песни для пьесы «Бранденбургские ворота». Им не до нас. Спешат. Чудесные песни. Ты уже слушала? Правда, хорошо? Что? Не разобрала? Ну ничего, они еще петь будут, я уж некоторые наизусть запомнила. Мы сегодня расположились в твоей комнате, потому что у меня спят товарищи. С фронта приехали на несколько дней, заехали прямо ко мне. Они из той части, куда я ездила. Чудесные ребята! Все молодежь, гвардейцы. Их пять человек. По-моему, они нам не очень мешают? — немного смущенно спрашивает Лидия Николаевна. — Ведь у нас же две комнаты, и мы вполне разместимся, а завтра они уедут.

— Ну конечно, — говорю я, обнимая сестру. — Ведь я тоже на два дня к тебе. Проездом. Получила отпуск в Чкалов к детям на десять дней.

— Вот что, милые сестры, — говорит Светлов, подходя к нам, — мы лучше пока перейдем ко мне вниз с нашими песнями да с махоркой, а вы тут располагайтесь поуютнее, и пусть младший лейтенант медицинской службы лучше отдохнет с дороги «у себя дома», — улыбнулся Светлов и прибавил: — Да ты, Лидия Николаевна, не беспокойся, мы еще вернемся!

Мы остались одни.

— Вот так я и живу, — сказала Лидия Николаевна. — Все больше на народе. От этого как-то теплее и бодрее на душе. Живем не тужим. Миша всегда заходит ко мне, когда бывает в Москве. Недавно Корабельников был и Горбунов. С Яковом Самсоновичем старую дружбу ведем, делимся табачком и продуктами. Только вот холод всех донимает. Хоть у меня батарея и открыта во всю силу, но топят так, чтобы только вода в трубах не замерзла.

Из разложенных на столе гостинцев больше всего Лидия Николаевна обрадовалась папиросам.

— У нас они почти совсем пропали, а вертеть «козьи ножки», особенно во время работы, просто мученье, — говорила она, с наслаждением затягиваясь...

Я быстро проветрила комнату, поправила затемнение в окне, поставила греть чайник, и мы уселись за стол, как в «доброе старое время».

Из писем сестры я знала, что за время нашей разлуки она несколько раз выезжала на фронт. За участие в создании сборника о гвардейцах Красной Армии приказом командования была награждена знаком гвардии. Вскоре после этого она получила от одного бойца этой дивизии письмо с обращением: «Здравствуйте, гвардии мамаша!» — и с тех пор в шутку друзья ее стали называть так. Писали ей много и с фронта, и из тыловых госпиталей. Письма были очень интересные, иногда трогательные, иногда философские, а иногда очень горестные, в которых с предельной тоской люди спрашивали, как продолжать жить, когда ушли из жизни самые любимые и близкие?

После каждой поездки на фронт Лидия Николаевна привозила много интересного материала и работала над повестью «На своей земле». Отрывок из этой повести передавался по радио. Я рассказала сестре, с каким интересом мы слушали этот отрывок и что говорили о нем в госпитале.

Лидия Николаевна с большим вниманием отнеслась к отзывам своих далеких слушателей. А потом показала китайский перевод «Партизанки», напеча-

танный в шанхайском журнале «Литература и искусство».

Зачастую сестра работала по целым ночам в холодной комнате над срочными материалами. Но на похудевшем лице ее большие глаза смотрели бодро, приветливо, и от этого она казалась помолодевшей.

Глядя на нее, одетую в какой-то военный, не по росту бушлат, я вспомнила, как она писала в одном из писем:

«Хоть и здорово порой устаю, но никогда не отказываюсь выступать по радио. Сознание, что мои слова через сотни и сотни километров доходят до людей, сражающихся за свободу и жизнь нашего народа, наполняет мое сердце волнением и радостью. Я чувствую, что не напрасно живу на земле...»

В этот вечер она охотно и подробно рассказывала о поездке в одну из дивизий. Сколько прекрасных людей она узнала, выступая среди бойцов передовой линии, встречалась там с лучшими людьми — героями-гвардейцами, знакомилась с начинающими писателями, читала и разбирала их произведения тут же, в землянках. Сама писала в дивизионную газету «В бой за Родину».

Фронтная молодежь дружески говорила, чего ждет она от писателей:

— Про девушек наших нужно написать. Бывает, что девушки-разведчицы пример подадут своею неустрашимостью и ловкостью.

Срочный заказ дали на коротенькие одноактные пьески. Бывает, выпадает свободное время, и изба-клуб найдется со сценой, и артисты — своя братва хоть куда, а пьес нет! Делают сами тут же какие-нибудь эпизоды из жизни разведки, но, говорят, не всегда получается. Частушки сочиняют больше на злобу дня.

Вдруг сестра всполошилась:

— Ой, что же это такое! Ведь молодцов-то моих будить пора! Я же им достала билеты в театр! — И, громко застучав в дверь комнаты, тоном команды сказала шутливо: — Гвардии старшины, сержанты и лейтенанты! Предлагаю сейчас же проснуться,

приодеться и быстрым аллюром отправляться в театр!

За дверью слышался разговор, смех, возня, и из комнаты поспешно стали выходить «подопечные» фронтовые гости.

Мы быстро перезнакомились. Я наскоро напоила их чаем, и мы снова остались вдвоем.

— Не забыть бы им книг приготовить, — озабоченно говорит Лидия Николаевна. — В коробке грима нуждаются. Завтра пойдут получать баян — раздобыли в одном месте.

Долго еще в этот вечер мы разговаривали с сестрой, и обе были очень рады короткой встрече в нашем родном доме.

Время шло. Кончилась война. Мы с мужем, инвалидом Отечественной войны, вернулись домой; а затем приехали из эвакуации и наши дети.

Мы снова зажили вместе с Лидией Николаевной одной большой семьей.

В 1946 году сестра стала работать над пьесой «Сын».

В этом же году с бригадой писателей Лидия Николаевна была в Новосибирске.

В 1948 году у нее начались тяжелые приступы гипертонии. Поправлялась она медленно и долгое время не могла ничего писать. Почувствовав себя немного лучше, стала работать над рукописями молодых авторов. Относилась к этой работе требовательно и добросовестно. Часто говорила мне:

— Ведь за каждой папкой стоит живой человек. Он отдает тебе на суд свой труд. Нужно умело подойти со своими требованиями и указаниями. Каждую рукопись молодого беру благожелательно. Не хочу критиковать автора по системе нападения. Радуюсь удачному образу, художественному выражению, фразе, но, давая оценку его работе, я должна так показать все его «огрехи и кривые борозды», чтобы он навсегда запомнил, чего он должен избегать и к чему обязан стремиться.

Отношение Лидии Николаевны к рукописям начинающих сочетало в себе суровую требовательность и предельное желание помочь молодому собрату по перу. Это привлекало к ней многих. Вспоминается ее большая работа с Ольгой Марковой, перешедшая потом в хорошую крепкую дружбу.

Сама же Лидия Николаевна писала трудно в эти годы и сильно скорбела об этом.

Близкие друзья говорили ей:

— Почему бы вам не заняться мемуарами? У вас такая интересная жизнь. Сколько было замечательных людей на вашем пути. Вы так много видели и испытали. Пишите!

— Да, пожалуй, вы правы, — отвечала сдержанно Лидия Николаевна. — Я об этом подумаю...

Но однажды после таких разговоров, оставшись наедине со мной, сестра раздраженно сказала:

— Не вздумай и ты меня уговаривать заниматься мемуарами. Мне это очень обидно слышать... Я все еще надеюсь написать хорошую, нужную книгу о нашей женщине.

Через какой-то промежуток времени снова возвращаясь к теме о мемуарах, Лидия Николаевна сказала:

— Пусть еще пройдет какое-то время, потом, возможно, я и напишу свои воспоминания, но не теперь. Мне хочется описать жизнь своего отца, отдельные моменты из собственной жизни. Но когда начнешь разбирать и ворошить старое, тяжело мысленно проходить глазами по своей прошлой жизни... Знаешь, в одном из писем одного старого друга ко мне есть такая фраза: «Как жаль, что мы живем только один раз и так много делаем ошибок, словно пишем черновик, а переписывать нам его не дают. Отсюда и нелепости жизни». Когда я начинаю думать об отце, то раньше всего вспоминаются обиды и огорчения, которые я ему причиняла. Как бы я хотела исправить, вернуть мои отношения к людям, из которых «иных уж нет, а те далече!» И вот сижу я в муках тоски и раскаянья над чистой страницей, а мысли бегут и бегут, обгоняя одна другую. Не будем

больше, сестра, говорить с тобой о мемуарах... Я лучше буду чужие читать...

2 апреля 1949 года Союз писателей и общественность отметили ее шестидесятилетие. Было получено в тот день и зачитано на вечере много сердечных приветствий издалека. Вспоминали о том, что ранние произведения были не только первыми книгами писательницы Л. Сейфуллиной, но и первыми книгами нарождающейся молодой советской литературы...

В 1951 году Лидия Николаевна, получив командировку на конференцию в Иркутск, с радостью предприняла эту далекую поездку в свою родную Сибирь. Это была ее последняя поездка.

Вернувшись из Сибири, Лидия Николаевна снова заболела. Повторился тяжелый сердечный приступ. Появились отеки на ногах, пришлось долго лежать в постели. Единственным ее утешением в это время были книги. Когда она уставала держать их в ослабевших руках, я читала ей вслух. Помню, перечитывали мы «Солдат пехоты» Маркова. Она говорила:

— Несовершенная, но прекрасная книга. В этого писателя я верю. Он не остановится на полпути.

Потом ей захотелось перечитать повесть В. Гроссмана «Учитель». Почему-то ее трудно было найти, но все ж нашли и прочитали. В это же время читали и Перегудова «В те далекие годы».

Последний роман, который она читала, был «Русский лес» Л. Леонова. Книга ей очень понравилась. Лидия Николаевна говорила, что как только поправится, так обязательно напишет на нее рецензию. Но потом передумала и сказала с горечью:

— Таким маститым не нужны мои рецензии! Я просто пошлю письмо, как читатель, которому эта книга доставила большую радость...

Попутно вспоминаю об одной черте ее характера: она никогда не завидовала успеху другого писателя, и если успех был заслуженный, то радовалась, как своему. И также никогда не злорадствовала по поводу творческой неудачи писателя, будь это самый

ярый недруг ее. Но если ей казалось, что чье-либо произведение «захваливали», она, невзирая на лица, яростно добивалась справедливой, по ее мнению, оценки. Когда ей нравилась книга, которая поражала каким-нибудь удачным образом, художественной фразой, она говорила:

— Ты только послушай, как научилась молодежь писать! Талантливо! Прочитала, и самой захотелось писать.

Когда ей стало чуть полегче, она начала «включаться» постепенно в жизнь. Около нее образовался небольшой кружок студенческой молодежи. Говорили о литературе, об искусстве. Стали ей приносить свои произведения. Установили даже определенные дни и очередность чтения.

Когда мы пробовали убеждать Лидию Николаевну, что такие вечера утомительны и вредны для ее здоровья, она сердито говорила:

— Действительно, враги человека — домашние его!.. Поймите, присутствие молодежи для меня — лучшее лекарство! Я через них чувствую дыхание творческой жизни.

Сестра хотела видеть около себя людей, одержимых любовью к литературе, так как сама была, по выражению М. Горького, «человечицей, влюбленной в литературу».

— Не мешайте мне встречаться с молодежью. Мне нужны люди, от общения с которыми я могу зажигаться и гореть, — говорила она. — А кроме того, пока еще в силах, я обязана помочь молодым увидеть, почувствовать свои промахи, ошибки. И меньше всего я буду нападать на их творческие дерзания, на стремление подойти по-новому к построению сюжета. Писатель — это всегда творец. Каждый раз, когда он собирается писать, он должен на время забыть, что существовал Лев Толстой, что был Пушкин, что кто-то до него говорил такие замечательные слова, которые потрясли мир...

На какое-то время Лидия Николаевна почувствовала себя настолько хорошо, что начала выходить. Возобновила работу, писала рецензии, принимала

участие в работе приемной комиссии Союза писателей. Написала воспоминания о Маяковском.

Но однажды, возвращаясь домой после очередного совещания, долго простояла на улице в ожидании такси и сильно продрогла. В результате получила воспаление легких и после этого заболевания, обострившегося сердечной слабостью, больше уже не встала.

На протяжении всей своей жизни Лидия Николаевна не терпела к себе жалости. Будучи тяжело больной, старалась не подавать повода близким и друзьям к состраданию и утешению. С суровой мужественностью подходила она к пределу «его же не преjdeши». В настроении ее сквозила печаль, но не было страха перед неизбежным. Ибо «неотвратим момент, когда каждый из нас вдруг «забудет» свою жизнь. Но пока живой день еще не кончился, еще идет, надо иметь мужество и умение испытать весь его вкус, запах, цвет и свет...» — писала Лидия Николаевна в некрологе о Л. Рейснер и сама, уходя из мира живых, сумела изжить свой срок так, как желала другим.



Г. П у ш к а р е в

ЧТО ВСПОМНИЛОСЬ

Когда я слышу или вижу где-нибудь в печати имя Лидии Сейфуллиной, мне вспоминается 1921 год в Сибири: разруха, еле ползущие по рельсам поезда, станции, где нельзя достать ничего съестного, буфеты, где весьма неохотно выдают по карточкам кусок черного хлеба.

В те дни мне, заведующему Алтайским Госиздатом, в телячьем вагоне пришлось выехать в ноябрьские холодные дни из Барнаула в Новониколаевск, чтобы побывать в Сибкрайиздате, завязать здесь торговые связи, поговорить об издательских планах.

Это был период перехода к нэпу, период перехода издательств от распределения литературы бесплатно по сети политико-просветительных и партийных учреждений на хозрасчет. Для такого перехода нужны были средства, Москва же говорила:

— Живите на то, что можете продать, обратить в деньги.

Так легко было сказать, но не так-то легко сделать. На складах у нас лежало несколько тысяч агитброшюр, которые даже бесплатно не всегда охотно брались соответствующими организациями. Помню, например, у нас лежало на складе две-три тысячи брошюр «Николай-угодник» и десятки других, им подобных. Из «читабельной» литературы было только несколько сот экземпляров книги Бельше «Любовь в природе». Товар малоходкий, фондов на

нем не создашь. Однако инвентаризация складов неожиданно вскрыла, что один из них оказался забитым тюками старых газет. Видимо, в Москве еще тогда плохо знали географию Сибири, недавно ставшей советской, а поэтому ежедневно для бесплатной рассылки по губернии поступало по 1800 экземпляров «Известий» и «Правды» в адрес Алтайской губернии и столько же в адрес Барнаульской, каковой не было никогда, тем не менее для нее каждый день откладывались газеты.

Почему никто не сообщил в Москву о засылке газет, сказать трудно, но наличие целого склада газетной бумаги для нас имело огромное значение. Мы продавали эту бумагу на рынке, а на вырученные деньги покупали литературу и канцелярские принадлежности.

Все это и дало мне возможность в ноябре 1921 года выехать в Новониколаевск, являвшийся тогда центром Сибири.

Вокзал. В буфете можно получить стакан кипятка, подкрашенного самодельным ячменным кофе, и, конечно, без сахара. Достаю свой кусок хлеба и кусочек мяса. Завтрак более чем быстро закончен. Выхожу на площадь. Начинает светать. Тишина, на улицах никого нет. Об извозчиках нечего и мечтать... Города не знаю. С трудом добираюсь до Ядринцевской, 31, двухэтажного каменного здания желтоватой окраски. Над входом вывеска: «Сибкрайно». Здесь, на правах квартиранта, ютится Сибгосиздат: ему отведено три стола в общей комнате.

Поднимаюсь на второй этаж, вхожу в коридор. Никого. До начала занятий еще добрых полчаса. Но вот хлопнула дверь, показалась уборщица. Спрашиваю:

— Как попасть в Сибкрайиздат?

Женщина отвечает:

— Должно, еще спят. Не выходили. — И показывает рукою на одну из дверей в коридоре.

Стучу. Слышу голос:

— Войдите!

Вхожу. Никого. Спрашиваю:

— Есть живые?

— Есть. — Голос явно из-под стола. Заглядываю туда. На меня из-под шубы глядят очки. — Что вам?

— Я из Барнаула. Надо разрешить с вами ряд вопросов.

Человек нехотя вылезает из-под стола, натыгивает на себя шубу. В комнате так холодно, что изо рта идет пар.

Человек делает жест рукой: садитесь, — садится сам.

— Будете просить литературу?

— Да!

— Даже не советую. Ничего нет и не ожидается. Видите: сам живу под столом, ни складов, ни помещения для магазинов еще нет. Решайте о литературе сами, как найдете лучше там у себя...

Вижу, что делать мне тут больше нечего, встаю и собираюсь уходить. Вспоминаю: раскрываю портфель и вынимаю из него тонюсенькую книжечку.

— Чуть не забыл. Выпущена нами в пользу голодающих Поволжья. Намечено еще выпустить несколько книжек.

Очки зава лезут на лоб, он тянет руку.

— Ну! Ну! Покажи!.. «Сноп»... Сборник... — И уже совсем другим голосом: — Как фамилия-то? Пушкарев? А я — Правдухин. Садись, садись...

И зовет:

— Лидия! Вылазь!

Из-под шуб поднимается его жена, маленькая с огромными глазами: татарка.

Протягивает руку:

— Сейфуллина, Лидия.

Здоровуюсь, но имя татарки мне ничего не говорит.

Татарка раскрывает книжечку, перелистывает несколько страниц, спрашивает:

— Ваш рассказ?

— Мой.

Правдухин вспоминает, что он еще не умывался,

хватает из-под подушки (все под столом) полотенце и бежит в коридор.

Через несколько минут появляются «крайоновцы», занимают свои столы. Правдухин, наливая в стакан полухолодной воды, просит:

— Заходи вечером, надо о многом поговорить... Сейчас, — он показывает на крайоновцев, — какой разговор по душам... А литературы все же не дам, у самих ничего нет. Не обижайся...

...Вечер. Сидим за тем же столом. В комнате полумрак, если не сказать больше. Мигает маленькая лампешка... Холодище. Хозяева и гость сидят в шубах. Лидия Николаевна приносит из коридора огромный черный эмалированный чайник с кипятком. Посуда: стакан, чашка и жестяная кружка.

Вытаскиваю хлеб, кусок мяса. У хозяев только хлеб.

Пьем без конца. Кипяток согревает душу и беседу.

Лидия Николаевна говорит:

— А ведь с января мы думаем издавать сибирский литературно-художественный журнал. Член Сиббюро ЦК РКП(б) Ярославский заверяет, что вопрос почти решен.

— А где силы?

— Есть группа писателей в Новониколаевске, в Красноярске, Канске, Ачинске, у вас в Барнауле.

Подсказываю: в 1919 году в Барнауле издавался довольно толстый литературно-художественный журнал «Сибирский рассвет», в нем принимала участие большая группа писателей Сибири, связь с ними имеется и сейчас.

Разговор становится более оживленным. На листе бумаги появляются все новые и новые имена будущих участников журнала.

Я рассматриваю Лидию Николаевну.

Маленькая женщина с настолько большими глазами, что они, кажется, занимают все лицо. Во всяком случае, на них прежде всего обращаешь внимание, когда видишь Лидию Николаевну. Стриженные волосы, лоб закрыт челочкой, как у ребенка. Резкие

черты лица, большие брови, а губы... кажется, что Лидия Николаевна хочет улыбнуться или съязвить.

И только позднее, когда я узнал Лидию Николаевну значительно ближе, я привык к ее характеру, ее умению разговаривать с человеком, к ее постоянному желанию как-то посмеяться над человеком, задеть его, поиронизировать над ним, но не зло, не с желанием обидеть, а для того, чтобы оживить беседу, «разгорячить» человека, заставить его острее вступить в спор, острее поставить точки над «и», а тем самым ярче показать самого себя. Лидия Николаевна любила раскрывать душу человека, любила заглянуть в нее, понять ее до конца: так она раскрывала и души своих героев. Эта ирония, скрытый смех, остроумный «подвох» чувствуются на многих страницах ее «Правонарушителей». Читая их, ярко представляешь лицо Лидии Николаевны, ее иронию, тонкую улыбку, внутренний смех.

Лидия Николаевна умела любить человека, умела найти в нем то, что ей нужно было узнать, раскрыть и быть в дружбе с этим человеком, но кого она не любила, с тем она была резка, а иногда и жестока. Она требовала от человека прежде всего честности и правды — нет их у человека, он для нее не существует.

Утром я снова у Лидии Николаевны, и хотя журнал — это еще только мечта, но уже ведется большая подготовительная работа. На столе кипы газет из всех городов Сибири. Лидия Николаевна внимательно пересматривает номер за номером, беря на учет каждое стихотворение, рассказ, фельетон, статью. В редакцию просмотренной газеты идет письмо с просьбой передать его автору отмеченных стихов, рассказа, статьи. Так выявлялись поэты, прозаики, критики, научные работники Сибири. Их приглашали принять участие в будущем журнале.

А 30 декабря на моем столе лежала телеграмма: «Журнал будет «Сибирские огни».

Надо было выполнять обещанное. Я собираю материалы для первого номера, шлю стихи

Л. Лесной, А. Пиотровского и свой рассказ-миниа-
тюру «Толпа». Все попадает в номер.

В эти дни в новом помещении издательства по
улице Потанина, 26 идет большая созидательная ра-
бота.

Все еще холода: январь — февраль 1922 года.
Топлива нет, топить печи нечем, поэтому в комнате
Сейфуллиной стоит «железянка». На нее щепок хва-
тит. Вечерами после работы в учреждениях здесь
собирались члены редколлегии.

Горит большая керосиновая лампа. От раскален-
ной печи пышет жаром, а в дальнем углу за сто-
лом люди сидят в шубах. Сейфуллина в короткой ста-
рой шубе, на ногах огромные мужские подшитые
валенки. Она между делом разогревает чайник, гото-
вит чай без сахара... и чая. Если есть ячменный
кофе — замечательно, нет — обходятся и так. Печка
дымит, но к этому уже привыкли. У печки, подняв
корректорный лист к потолку, к лампе, стоит Бере-
зовский. Он дочитывает свою повесть «Варвара». На
деревянной койке спит в валенках и шубе выпускаю-
щий И. М. Калигин.

Трудно сейчас представить себе ту обстановку, в
которой люди жили во время разрухи 1921—1922 го-
дов, но тогда это было обычным явлением и никому
не казалось странным. Люди знали, что выход из
создавшегося положения зависит только от них са-
мих, и отдавали все свои силы на борьбу с разрухой.
Работали без отдыха, но с глубокой верой в близ-
кую победу, видя впереди что-то очень большое,
может быть конкретно еще не осознанное, но что-то
новое, яркое и красивое. На самом деле: разруха,
холод, нет топлива, света, часто нет бумаги, чтобы
написать письмо, а тут у железной печки, в шубах,
с чайником кипятка, без сахара, с небольшим куском
хлеба люди создают первый в Сибири толстый лите-
ратурно-художественный журнал.

Первый номер рождался с большим трудом. Ру-
кописей было достаточно, но только по количеству, ка-
чество далеко еще не удовлетворяет, и главное...
главное, журнал нечем открыть: нет такого художе-

ственного произведения, которое могло бы стать, как тогда говорили, «изюминкой» номера.

Редакция знала, что Ф. Березовский пишет повесть «Варвара», но это вещь о далеком прошлом, о «дикости» деревни дореволюционной Сибири. Открывать ею новый, второй по времени возникновения советский журнал — нельзя. Было несколько рассказов-миниатюр в прозе, и всё.

На одном из заседаний Ф. Березовский вдруг предложил:

— Есть у нас в Новониколаевске какая-то Сейфуллина. Ее рассказ «Павлушкина карьера» мы печатали в «Советской Сибири». Хороший рассказ, и автор, видимо, способный... И работает она где-то возле вас, в Сибнаробразе. Как бы ее найти. Поговорим: может быть, у нее есть еще что-нибудь.

Члены редколлегии рассмеялись. Березовский недоуменно глядел на них:

— В чем дело?

— Сейфуллина — перед вами: секретарь редакции журнала.

Ф. Березовский не знал фамилии Лидии Николаевны, думая, что она носит фамилию мужа.

Начался горячий разговор, выяснилось, что Лидия Николаевна имеет уже «заготовки» для повести, тема продумана... остается только «немногое»: написать.

Лидию Николаевну по возможности освобождают от всех нагрузок, в ее распоряжении свободные от работы часы, ночи...

И Сейфуллина садится за стол. Материал есть, но это только сотая часть работы. Есть наблюдения, образы, они уже вынашивались несколько раньше. Материала хватит на огромный роман. Но время ли сейчас писать романы, да еще толстые? Жизнь так меняется, течет, что ее не успеешь охватить в больших полотнах. И Лидия Николаевна в первых строках повести пишет:

«Жизнь большая. Надо томы писать о ней. А кругом бурлит. Некогда долго читать и рассказывать. Лучше отрывки».

Сейфуллина работает над повестью в «отрывках» «Четыре главы». Жизнь действительно бурлит, течет, требует от людей массу времени, мало оставляя на отдых, на чтение. Сейфуллина учитывает все, и язык ее «Четырех глав» и дальнейших повестей принимает форму телеграфного кода.

«Кругом тьма. Одинокий фонарь светит только себе. Унылая перебранка собак. Тоскливо брести по ветхому тротуару. По дороге проедет кто-нибудь. И снова безлюдье. Люди затаились в домах. Крепко закрыты ставни. Блеснет глазок в ставнях. Напомнит тюрьму. И станет тесно на широкой улице. Чудится за каждым углом кто-то враждебный».

Строчки скупые, но яркие, картина представляется полной.

Над повестью «Четыре главы» требовалась огромная работа, ибо в скупых словах нужно было найти особый строй фразы, особую четкость мысли. Лидия Николаевна рассказывала, что часто она просыпалась ночами с ощущением: «что-то случилось, о чем-то нельзя забыть».

Повесть еще не была закончена, когда с нею захотел познакомиться член Сиббюро ЦК РКП(б) Е. Ярославский. И Лидия Николаевна вспоминает об этом:

«Я, читая, то и дело на него боязливо и неприязненно оглядывалась. Когда началось обсуждение, он заговорил, и мне кажется, все мы смотрели ему в рот, ожидая начальственно-короткого решения без объяснений, но как раз Ярославский сам стал просить объяснений. Он заявил, что в обсуждении художественной ценности произведения считает себя недостаточно компетентным».

Повесть закончена, сдана в типографию, сдан весь номер. Волнение охватывает всю редакцию, всех близких к ней людей, всех, кто приходил на сейфуллинский огонек. Да разве можно было не волноваться, когда рождалось первое детище — литературно-художественный журнал Сибири?

Идет набор. Лист за листом приносят корректуру. Больше всех волнуется Лидия Николаевна: она се-

кретарь журнала, она автор ведущего произведения. Она перечитывает строчку за строчкой, страницу за страницей... Вот уже последний лист, и... Лидия Николаевна разрыдалась.

Под текстом повести была помещена женская головка с распущенными волосами, томной улыбкой.

Это было настолько дико, нелепо после всего того, о чем говорилось в повести, что нервы писательницы не выдержали. «Красавица» была немедленно убрана, но метранпаж типографии обиделся:

— Мы столько искали, а тут недовольны... От души ведь мы ее поставили...

22 марта 1922 года в редакции журнала собрались все члены редколлегии, работники Сибгосиздата. С минуты на минуту ждали, что из типографии принесут номер. Появляется Калигин.

«В маленьком помещении, — вспоминает Сейфуллина, — началась невообразимая сумятица. Все повскакивали с мест, бросили работать. Каждому хотелось посмотреть, тронуть свежие чистенькие книжки в зеленоватой, довольно неудачной обложке. Я этот день жила, как в счастливом сне или хмелю. Грузная реальность мира вся как-то расплылась... Все подробности дня тонут в одном основном ощущении счастья, короткого человеческого счастья, о котором только после узнаешь, что это было оно».

В деле создания и развития художественной литературы в Сибири журнал «Сибирские огни» сыграл исключительную роль. Большое значение здесь имела и деятельность Лидии Николаевны. Это она отыскивала авторов, это она направляла их на трудный путь литературы.

Хочется вспомнить сейфуллинские вечера, встречи у нее на квартире по Потанинской улице. Один из вечеров у «огонька» был посвящен обсуждению первого номера журнала. Вечеру предшествовали «пригласительные билеты», написанные рукою Лидии Николаевны и отвечавшие тому настроению, в котором жили «сибогневцы» в первые дни после выпуска

журнала. Сама Лидия Николаевна говорила, что она находится в «невменяемом настроении». Под впечатлением этого «невменяемого настроения» она и создала такой пригласительный билет:

«СИБАМ ОТ ЛИТЕРАТУРЫ»

Принимая во внимание, что все, с должным благоговением поименованные в заголовке лица, и Вы в том числе, безусловно не уступят Белинскому, Луначарскому, Когану в знании литературы и суждении о ней, Сибирское Государственное издательство просит Вас пожаловать на одну жестяную кружку чая без сахара, но с собеседованием о литературном отделе журнала «Сибирские огни», присовокупляя к сему радушному приглашению разрешение захватить бутерброд или что другое съедобное исключительно для себя, гарантируя в данном случае охрану частной собственности на территории управления Сибгосиздата. Все посягательства других заинтересованных лиц на Ваше, Вами принесенное съедобное, будут пресекаться в корне со всей строгостью революционных законов...

За все вышепоименованные блага приглашаемые обязуются к субботе 25 марта, к 6 часам вечера, прочитать весь литературный отдел номера первого журнала «Сибирские огни» (не возбраняется и остальные отделы, за это Сибкрайиздат карать не будет) и возыметь свое собственное мнение о нем. Критика и доказательства допускаются во всем их многообразии, за исключением убеждений действием».

На оригинале «билета» другой рукой было приписано:

«Не читавших и не имеющих своего собственного мнения просим не являться».

В «салоне» Сейфуллиной постоянными посетителями были Ф. Березовский, Кондратий Урманов, прибегал Иван Ерошин, заглядывала поэтесса Нина

Изонги, критик Комаров, бывали руководители крайкома партии и крайисполкома. Приезжали сюда гости — Оленич-Гнененко из Красноярска, Л. Мартынов из Омска и многие другие.

К лету 1922 года Сейфуллина имела уже большую самостоятельную комнату на той же Потанинской, 26, а для гостей отводилась дальняя комната издательства, где посредине стоял «двухэтажный» стол. Бывало, когда случайно собиралось несколько гостей, на этом столе спало двое, один на верхнем этаже, второй на нижнем.

В «салоне» обсуждались очередные статьи для журнала, читались новые книги, полученные или привезенные кем-либо из Москвы, Ленинграда, приносили свои стихи, рассказы, поэмы новониколаевские писатели.

На одной из таких «ассамблей» был проведен конкурс на лучшее стихотворение, в котором принимать участие обязан был каждый, хотя бы он никогда и ничего не писал.

Первую премию за стихотворение получила Лидия Николаевна. К сожалению, этого единственного и «премированного» стихотворения не сохранилось. Однако гром аплодисментов (без премии) был направлен в адрес заведующего торговым отделом Сибгосиздата И. В. Сорокина, который с огромным трудом написал такие две строчки стихов:

Твой стан, как трость,
И гибок, и ветвист...

Здесь было много душевных бесед, мыслей, высказываний о литературе.

Лидия Николаевна требовала от каждого поэта, писателя, чтобы он целиком отдавал себя творчеству, искусству.

— Помните слова Блока, — говорила она и тут же цитировала:

О, я хочу безумно жить:
Все сущее — увечить,
Безличное — вочеловечить,
Несбывшееся воплотить!

Так должен ощущать себя каждый поэт, каждый прозаик.

Высказывались и другие мысли.

«Для литературного воплощения, — писала Сейфуллина, — не болот и тупиков жизни... необходимо приятие борьбы и революции... Приятие неизбежной и прекрасной текучести бытия, всегдашней, необходимой изменчивости бытового уклада, непрестанной дерзости творческого порыва человека. И писатель, ощутивший в себе это приятие, и есть единственно *«революционный»* писатель».

Лидия Николаевна воспринимала всем своим существом, душою только то произведение, в котором она ощущала действительную волю к жизни, подлинное воспроизведение ее шумов, запахов, падений и взлетов.

«Так, — говорила писательница, — если после чтения стиха или рассказа хочется писать, делать свою работу, двигаться, жить, любить, ненавидеть — это художественное произведение. А если захочется лежать и скулить или вдруг вспомнится, что надо табаку купить — это не художественное произведение... Когда писатель не закрывает глаз и показывает гной язв, рубцы болезней, но все изнутри освещает потайным своим фонариком веры в силу живой человеческой крови и его дерзкого и творящего мозга, это прекрасно. Взволнуют, пронижут страдание, обида, загорится: «Не хочу, чтоб было так». Таковую книгу я буду читать и любить... Все, что «хладно» или «темно», по-моему, убивает произведение».

Здесь слушались и обсуждались повести и самой Лидии Николаевны. Об этом она вспоминает так:

«Я не забыла ни одного слова, сказанного о ней (о повести «Четыре главы»). Сильно ругал ее только товарищ Ив. Ерошин, очень чуткий к слову, талантливый человек. Благодаря отдельным его указаниям и карандашу Правдухина она все же поосвободилась от некоторой части своей безвкусицы. Но мне самой она тогда казалась замечательным произведением. Я была несказанно удовлетворена и счастлива».

А работала Лидия Николаевна медленно, с трудом. Работе она отдавала все свое свободное время и ночь. Материал для первой повести был, эту жизнь писательница видела своими глазами, но видеть — это одно, написать произведение — другое. Трудно давались образы, не находились нужные слова, а для сейфуллинского телеграфного языка нужны были особые слова, где одним словом заменялись целые фразы, по-другому звучала мысль.

Огромного напряжения стоила Л. Н. Сейфуллиной эта повесть, но, когда она была напечатана в первом номере «Сибирских огней», о молодой писательнице заговорили во всех уголках Советского Союза. Журнал «Красная новь» писал:

«Теперь много писателей, описывающих Советскую Россию... Сейфуллина принадлежит к числу немногих, чье имя появится в ряду лучших беллетристов Советской России».

О журнале заговорили в газетах. А. Луначарский писал: «Сибирские огни» являются несомненно лучшим из провинциальных журналов».

С ним перекликались «Известия»: «Журнал стоит на верном пути и обещает в будущем иметь широкое общественное значение».

И, наконец, «Самарская коммуна» заверяла, что «Сибирские огни» — несомненный вклад в сокровищницу русской литературы».

«Четыре главы» и «Правонарушители» создали Сейфуллиной большую известность. Спрос на первые номера журнала был огромен. О них писали многие газеты Сибири, их обсуждали на писательских собраниях в Барнауле, Томске, Иркутске, в других городах. В библиотеках записывались в очереди на эти номера, в Барнауле за две недели мы продали триста экземпляров первого номера.

И если «Четыре главы» по близкому автору материалу писались с большим трудом, то «Правонарушители» потребовали от Лидии Николаевны еще большего напряжения, было еще больше сомнений, переживаний, неуверенности в себе. Сейфуллина работала одно время в отделе по борьбе с безнадзор-

ностью, через ее руки прошли сотни детей, голодных, холодных, потерявших родных, испытавших массу недетских переживаний, живших на чердаках, в подвалах, но оставшихся крепкими, смелыми, бодрыми, верящими все же в жизнь. Но видеть — этого мало, надо понять душу детей, их психологию, перевоплотиться в этих людей, понять их, проникнуть в глубь их души, переживаний, раскрыть эти души в художественных образах. Писательница снова ходила по детским домам, близко общалась с «правонарушителями», наблюдала их жизнь.

На углу Красного проспекта и улицы Орджоникидзе, где сейчас высится здание облпартшколы, в те годы был вырыт, а затем заброшен котлован для дома. И вот тут, в углу, в закутке, жили беспризорники. Каждый день Лидия Николаевна проходила мимо этого котлована и наблюдала за беспризорниками.

Так создавались образы «Правонарушителей»¹.

«Правонарушители» были напечатаны во втором номере журнала в 1922 году и сразу же вышли отдельной книгой небывалым для того времени тиражом — 15 000 экземпляров.

«Правонарушители» Сейфуллиной книга не только о беспризорниках, но и о «новых» людях в действительности, а тем более в литературе. Книга тонко и умно подсказывала, что обычными методами воспитания детей ничего не добьешься, надо найти другой подход, нужны трудовые процессы. А главное, надо суметь захватить душу «беспризорника», научить его любить труд, показать, что воспитатель — это не классная дама, а такой же человек, но только старше возрастом и с бóльшим жизненным опытом... Если воспитатель сумеет зарекомендовать себя так, в него поверит «правонарушитель», полю-

¹ «Правонарушители» создавались на основе впечатлений, полученных о Тургорьской колонии, воспитанники и руководители которой являются прототипами образов Л. Н. Сейфуллиной, как о том свидетельствует ряд мемуаристов (см. стр. 267—271). Наблюдения над новониколаевскими беспризорниками только поддерживали интерес Лидии Николаевны к этой теме. — *Ред.*

бит его и пойдет с ним куда угодно. Повесть Сейфуллиной подсказала, как надо работать с беспризорниками, чтобы вернуть их к жизни нужными, ценными, работоспособными людьми.

Вот почему заведующий крайоно и предложил Сибкрайиздату издать эту книгу большим тиражом, скупил ее полностью и разослал по школам края в качестве «методического пособия» для педагогов. Это было для писательницы честью.

Лидия Сейфуллина не только сама участвовала в создании советской литературы в Сибири, но и помогала создавать ее другим писателям. Она пестовала людей, творчески помогала им работать над произведениями, доводить их до высокого художественного и идейного звучания. Если пересмотреть номера журнала за 1922, 1923 и начало 1924 года, то мы увидим почти в каждом номере новые имена, имена молодых писателей, найденных для журнала Сейфуллиной.

В то же время это был крайне скромный человек, почти никогда не думавший о себе, о своих удобствах, каких-то особых правах. Ее мало интересовала своя личная жизнь. Она могла, например, позабыть, что надо пообедать. Попили чайку, перекусили чем «бог послал» и ладно.

Лидия Николаевна умела оживить людей, поставить интересно вопрос. В ее словах часто было много иронии, тонкой, порой злой. Вместе с тем она умела привлечь человека к работе, заставить его загореться так, как она загоралась сама.

В журнал приходили все новые и новые люди, в Новониколаевск переезжали с разных концов Сибири новые писательские силы, разгорался костер «Сибирских огней».

В 1923 году Лидия Николаевна переехала в Москву, но не порвала с сибиряками. Ее дом и в Москве стал «огоньком», на который приходили сибиряки, и снова шли разговоры о журнале, о литературе, о новых растущих кадрах Сибири. Лидия Николаевна помнила и любила Сибирь, перед ней всегда стояли картины дней создания журнала,

вспоминалась холодная комната, покрасневшая железная печка, члены редколлегии в шубах, увлеченные своей работой.

...Прошло много лет после выхода первого номера «Сибирских огней». Прошла большая жизнь, выросли за это время десятки больших писателей Сибири, вступивших на свой творческий путь через журнал. Костер горит, и всегда вспоминаешь того, кто зажигал его, кто умел поддерживать его, — вспоминаешь всегда Лидию Николаевну Сейфуллину.



Кондр. Урманов

О ПИСАТЕЛЕ-ДРУГЕ

Вспоминать о Лидии Николаевне Сейфуллиной — значит вспоминать о времени, в какое она родилась как писатель, вспоминать о зарождении советской литературы в Сибири.

...Это было утро — светлое и радостное, после черной и мучительной ночи, утро, когда хотелось петь и всем рассказывать о виденном и пережитом, рассказывать о длительной и мужественной борьбе лучших сынов Родины за молодую нашу республику, хотелось петь о партии-вдохновительнице и ее вождах, о Красной Армии и сибирских партизанах, петь о свободном труде, о счастье строить новое, социалистическое общество.

Народная очистительная гроза прокатилась по всей стране; в Сибири она смела реакционную колчаковщину с генералами, купцами, чиновниками, смела интервентов, усердно помогавших душить молодую Республику Советов, гасить то солнце, которое светило из далекой Москвы всем обездоленным и угнетенным.

Рабочая и трудовая Сибирь как бы родилась заново. И радостен и труден был этот день!..

По магистрали, перерезавшей всю Сибирь до Тихого океана, еще валялись разбитые, обгорелые

составы поездов, а возле каждого депо были «кладбища» выведенных из строя паровозов;

еще молчали многие фабрики и заводы, разрушенные при отступлении врагами революции; были затоплены шахты, взорваны мосты на главнейших артериях страны;

еще не покрылись зеленью могилы погибших борцов и не были устроены все дети, родители которых замучены белыми и интервентами.

Горе и голод еще стояли у пепелищ сожженных деревень. Толпы беспризорных детей путешествовали по всей России, заполняли вокзалы, просили милостыньку, воровали, а рабочий люд сам получал не особенно сытый кусок хлеба, — отрывал, давал и, засучив рукава, брался за работу.

Начинался восстановительный период. Из развалин поднимались фабрики и заводы, налаживалась вконец расстроенная жизнь крестьян. С веселыми гудками бежали из Сибири паровозы, везли хлеб, уголь, лес... Кому? Всей России!

Все это нужно было запечатлеть в художественном слове — в рассказах, повестях, стихах. А глашатаев этого слова было мало, и были они разбросаны по обширной Сибири, по большим и малым городам. Слово должно было служить революции, народу.

В те нелегкие годы в маленьком городе Новониколаевске на Оби, куда переселились из Омска все сибирские краевые учреждения и организации, у небольшой группы литературных работников возникла мысль о создании в Сибири литературно-художественного и общественно-политического журнала. Этого требовали время и обстановка.

В группу организаторов журнала входили: писатель Феокист Березовский, секретарь Сиббюро ЦК партии Ем. Ярославский, редактор газеты «Советская Сибирь» Д. Тумаркин, работники Сибгосиздата М. Басов, В. Правдухин и Лидия Сейфуллина (секретарь редакции).

Дело было новое, большое и ответственное. Из истории дореволюционной сибирской печати было из-

вестно, что большинство сибирских литературных журналов умирало, не успев найти своего читателя по ряду причин: одних давила жестокая царская цензура, другие закрывались от недостатка средств, а третьим просто не хватало своих сибирских литературных сил.

Никто из инициативной группы не имел опыта по организации журнала. Многие ответственные работники разных ведомств, от которых ожидали поддержки, не верили в это начинание.

— На газеты бумаги не хватает, а вы журнал затеваете... Не выйдет... Не поднять нам это дело, — говорили они, но не препятствовали.

А поднять надо было.

Судя по страницам областных газет, в Сибири имелись литературные силы, но они были разрознены, не имели связи, и газеты для них являлись отдушниками, трибуной, с которой они могли сказать свое слово читателю. Нужно было собрать их, вдохнуть уверенность, заставить работать.

В Барнауле жили писатели: Г. Пушкарев, А. Караваева, Л. Лесная, Ар. Ершов, П. Казанский; в Омске, кроме старых писателей П. Драверта и Ан. Сорокина, А. Оленич-Гнененко, была талантливая молодежь: В. Бердников, Л. Мартынов, С. Орлов, Н. Калмыков и другие. Были писатели в Иркутске, Красноярске, Челябинске и других городах.

К тому времени в Новониколаевске уже пылал «Костер на снегу». Так именовала свой клуб молодая литературная организация. Здесь читались стихи, рассказы, велись жаркие споры о форме, содержании, о направлениях. Изменился общественный строй, изменились и взгляды на литературу — по-новому она должна освещать все явления жизни. Не всегда в этих вопросах достигалось единодушие, и часто с вечера люди уходили в «растрепанных чувствах». Но встречались снова, читали свои наспех написанные на клочках бумаги произведения и снова спорили.

На этих вечерах бывали Ф. Березовский, Н. Шестаков, Б. Благодатный, И. Долматов, К. Соколов,

Ив. Ерошин и многие другие любители художественного слова. Одни из них, как Березовский и Ерошин, уже печатались, другие небезуспешно пробовали свои силы, дерзали.

Иногда в кругу мужчин появлялась маленькая смуглая татарочка, с большими, широко открытыми черными глазами, которые, казалось, хотели все видеть, все знать. Над приподнятыми бровями — ровная челка, скрывающая высокий и широкий лоб. Это была Лидия Николаевна Сейфуллина. Такой она запомнилась с первой встречи в клубе «Костер на снегу». Она уже напечатала в газете «Советская Сибирь» первый свой рассказ «Павлушкина карьера». Рассказ обратил на себя внимание, и все посетители клуба знали его автора.

Лидия Николаевна работала секретарем Сибгосиздата и по совместительству секретарем будущего журнала. На ее плечи ложилась огромная переписка по выявлению новых дарований, которые должны были составить актив журнала. Она радовалась всякой присылке. Часто это было сырье, авторам не хватало ни знания жизни, ни опыта, но Лидия Николаевна, с видом победительницы подняв рукопись, кричала на весь Сибгосиздат:

— Товарищи!.. В нашем полку прибыло!..

Все наличные члены коллегии журнала спешили к ее столу. Валериан Правдухин (муж Лидии Николаевны) брал рукопись, читал и говорил:

— Молодо-зелено и... неграмотно...

— А вы что ж хотели, разнесчастные критики? Чтоб вам писателей подавали на блюдечке, готовенькими? Придется, друзья, растить...

И она писала успокоительные письма молодым авторам, тонко намекая на недостатки произведения и на необходимость... изучать грамматику.

А по ночам, когда в Сибгосиздате заканчивалась работа, Лидия Николаевна тут же садилась за стол и писала свою повесть. В помещении было холодно (на улице январские морозы), непрерывно нужно подтапливать «буржуйку», чтобы не замерзали чернила, и... писать, писать... Над повестью

нельзя было долго задерживаться, писательницу тянули к себе новые темы.

Ф. Березовский уже представил редакции свою яркую, дебелую сибирячку «Варвару», было получено много стихов и мало рассказов. В. Правдухин обложился тощенькими книжечками, вышедшими в Сибири, готовил статью о сибирской литературе. Лидии Николаевне нужно было спешить, чтобы не погас тот огонь вдохновения, который охватил ее в последнее время, чтобы не задержать сдачу материала в типографию. И она спешила. Накинув на плечи большой полушубок, Лидия Николаевна просиживала ночи напролет, заполняя белые листы крупным неженским почерком.

А утром говорила товарищам:

— Я так заработалась, что мозг не выключается даже ночью. Сплю... и во сне пишу новые страницы... Умру вот, и придется вам поставить памятник «безвременно погибшему писателю»...

Не одна она так работала, все члены коллегии коротали ночи за письменным столом, работали для журнала, и даже те «папаши» из «сибов», которым близка была идея создания журнала в Сибири, тоже горели желанием чем-нибудь помочь этому начинанию. Ем. Ярославский, занятый круглые сутки большой ответственной работой, «разошелся» и написал воспоминания: «На волю!» Прислали свои статьи партийные работники Сибири А. Ширямов и В. Косарев. Редакция жила напряженной, кипучей жизнью.

Уже наметились контуры отделов журнала: художественной прозы, стихов, былого, политико-экономического, научного, искусства; в портфеле редакции были и критические статьи. Журналу дали название «Сибирские огни», и верилось — они долго и ярко будут гореть.

А Лидия Николаевна все еще не могла закончить свою повесть. Терзалась, ночи не спала, работала. Потом оборвала и поставила точку.

«Жизнь большая. Надо томы писать о ней.

А кругом бурлит, некогда долго читать и рассказывать. Лучше отрывки...»

Такое слово предпослала она своей неоконченной повести «Четыре главы».

Да, большая жизнь была и у самой писательницы... Она работала то учительницей, то библиотекаршей, то артисткой (труппа Малиновской в Вильно), то снова ехала в глухую деревню к ребятам — учительствовать. Она искала себя и не находила. Накопленные знания жизни часто просились на бумагу. И вот только сейчас представилась возможность рассказать обо всем, что видела, что волновало. А рассказывать нелегко, и время торопит. Хватит ли сил?..

А сколько было треволнений, когда журнал начал набираться и печататься! Всем казалось, что наборщики что-то пропустят, а печатники перепутают страницы — и будет брак. Этого никак нельзя было допустить. Лидия Николаевна, да и другие члены коллегии журнала почти ежедневно бывали в типографии, стояли у машины и ожидали первый оттиск очередного листа, чтобы вовремя устранить ошибки.

Появление в свет журнала было праздником не только для редакции и сотрудников, но и для всей Сибири. «Сибирские огни» были вторым журналом в республике (после «Красной нови»), и было чему радоваться: в Сибири появились свои таланты и был свой журнал.

Повесть Лидии Николаевны говорила о недалеком прошлом, о жизни и борьбе двух миров, говорила по-новому об отношениях людей и хотя не вызвала больших критических выступлений, но хорошо была принята читателем.

Более всего читателю запомнилось имя писательницы, когда она выступила во втором номере журнала с рассказом «Правонарушители».

Лидия Николаевна много лет работала учительницей в селах Оренбургской губернии, и психология ребят была ей хорошо знакома. Малолетних правонарушителей она видела и в годы гражданской войны, и в первые трудные годы после разгрома колча-



Редакция журнала «Сибирские огни»:
М. Басов, Ф. Березовский, Е. Я. Ярославский, Л. Сейфуллина,
В. Правдухин, Д. Тумаркин
1922 1923



Празднование 25-летия журнала «Сибирские огни» в 1947 г.
Сидят: А. А. Караваева, А. И. Смердов, С. Е. Кожевников,
Л. Н. Сейфуллина, Е. В. Жилкина, А. Н. Высоцкий.
Стоят: А. Л. Коптелов, Г. М. Марков, М. А. Никитин,
А. И. Герман, Г. М. Пушкарёв

ковщины и интервенций. Они скитались по всей стране. Голод в Поволжье еще более усилил приток бездомных ребят в Сибирь. Они заполняли вокзалы, наробразы, детские дома. Они хотели жить, но жить в тех условиях «детками-паиньками» было трудно. Старые учителя-воспитатели подходили к этим детям с привычной меркой и ахали от какой-нибудь выходки Григория Пескова — героя рассказа «Правонарушители».

Рассказ был написан на живом, конкретном материале, образным языком, над которым немало трудилась писательница, и горячо был принят читателями. Он вызывал бесконечные споры воспитателей и учителей, заставлял подумать о новых методах воспитания и подхода к детям, переворачивал весь мир сложившихся представлений у тех, кому вручалась судьба тысяч бездомных детей.

К тому времени в Новониколаевске вышел первый номер сатирического журнала «Скорпион». Художник В. Ромов в полстраничной карикатуре изобразил следующее: беспризорник (надо полагать — Григорий Песков) ведет на пустующий пьедестал маленькую, скромно опустившую глазки Лидию Николаевну; она в красном платье, на ногах огромные мужские ботинки, а в руке гусиное перо, похожее на пику.

Подпись под рисунком гласила:

«Хоша мы и правонарушители, а добро помним... Полеза́й на пьедесталу... Пэпиросочку не угодно ли?..»

О Сейфуллиной заговорили не только в Сибири, но и в столичной печати.

Этот год был «урожайным» для Лидии Николаевны. Она не только напечатала «Четыре главы» и «Правонарушители», но и написала рассказ «Ноев ковчег» и большую повесть «Перегно́й».

— Хочется обо всем рассказать... да голова одна и производство наше кустарное... Мотор не применишь... — шутя говорила она товарищам.

С выходом в свет первой книги Л. Н. Сейфуллиной «Перегно́й» (1923) ее пригласили работать в столичных журналах, и она покинула Сибирь.

Лидия Николаевна любила Сибирь, может быть, больше, чем свое родное село, свой край. Здесь она родилась как писатель, выросла, окрепла, здесь она получила путёвку в большую писательскую жизнь и, находясь в Москве, постоянно и пристально следила за работой журнала, за работой товарищей по перу. Следила и помогала.

Светлую память оставила о себе эта маленькая женщина с большим сердцем, мужественным характером и горячей любовью ко всему новому, молодому...



А. Коптелов

ПЕРВОЕ СЛОВО

Имя Лидии Сейфуллиной связано с возникновением журнала «Сибирские огни».

То было трудное время. На окраинах Сибири еще шли бои с белогвардейскими бандами. Только-только начинало восстанавливаться народное хозяйство, разрушенное колчаковцами и интервентами. Поезда двигались медленнее ямщицких лошадей. Паровозы и вагоны оказались угнанными на восток. Не было топлива. Помню, от Черепанова до Новониколаевска, где расстояние-то всего лишь сто километров, мы, делегаты первого губернского съезда Советов, ехали в теплушке более суток.

В Москве в то время уже начинали выпускать книжные новинки, но до нас они не доходили. Местные издания являлись редкостью, чаще всего это были брошюры по злободневным вопросам жизни. Так, профессор П. Драверт, талантливый поэт, широко известный читателям тех лет, выступил в 1921 году не с книгой стихов, а с брошюрой «Об использовании корневища сусака в качестве суррогатов хлеба». Правда, в Иркутске, Томске и Минусинске появлялись книжечки стихов, иногда отпечатанные на бумаге, которую удавалось раздобыть самим авторам, но, как отмечалось в печати, это были произведения неудачные, слабые, «написанные казенным, мертвым языком».

Еще хуже было с прозой. Лишь кое-где

встречались книжки Александра Новоселова, Алексея Силыча Новикова-Прибоя, Артема Ершова и Степана Исакова, изданные двумя годами раньше в Барнауле кооперативным издательством «Сибирский рассвет». Вот и всё.

К четвертой годовщине Октябрьской революции издательство Пуарма 5 и Восточно-Сибирского военного округа порадовало читателей книгой Владимира Зазубрина «Два мира». Это был первый советский роман, написанный по свежим следам героических событий гражданской войны; произведение талантливое и страстное, хотя и не лишенное недостатков. Но первое издание этой книги до Алтайского края не дошло.

И вот в марте 1922 года родился журнал «Сибирские огни». Это было выдающимся событием в культурной и политической жизни не только Сибири, но и всей страны. О журнале, приветствуя его появление, писали центральные газеты. В городах о нем разговаривали всюду, постепенно он стал проникать и в деревню, правда, в небольшом количестве, так как крестьянство в своей массе еще оставалось неграмотным. В ту пору волостные «тройки» по ликвидации неграмотности еще только начинали создавать вечерние школы для взрослых.

Журнал открывался «повестью в отрывках», которая называлась «Четыре главы». Подпись — Лидия Сейфуллина. Уже с первых строк чувствовалось, что в литературу пришла писательница со своей темой.

В повести рассказывалось о революционной перестройке сибирской деревни, которая в прошлом, как писала Сейфуллина, «гробом казалась. Отгородилась от города тайгой». В той старой, дореволюционной деревне жили люди «угрюмые, скупые на слова». Их «земля задавила». Литература, наука и искусство там были не нужны. В такой глухой деревне «завыть хотелось вместе с собакой на дворе». Но вот победила Октябрьская социалистическая революция. Вернулись фронтовики. «На улице пели «Смело, товарищи, в ногу». Живой водой вспрыснули деревню.

Точно из земли поднялась... Раздвинулись грани. Говорили не только о своем, обиходном, — писала Лидия Николаевна. — Все казались светлыми. Новая жизнь, новая деревня».

Эта повесть — о большой и трудной судьбе женщины. Ее звали Анной. После серьезных испытаний в жизни она становится сельской учительницей. Революция открыла перед ней путь в светлую жизнь. «Записалась в партию большевиков Анна вместе с солдатами-фронтовиками». О ней узнали в городе, в партийном комитете. Она стала членом уездного исполкома.

Позднее Лидия Николаевна вспоминала о создании этой повести:

«Я в это время читала книгу Зазубрина «Два мира». Я сказала себе: «Буду подражать Зазубрину». У него были короткие фразы, но не все короткие. Я решила, что буду делать все фразы короткими, тогда еще лучше выйдет. Если вы посмотрите «Четыре главы» — первую мою повесть, вы увидите, что ее трудно читать. Написано слово — и точка, два слова — и точка. Стремясь создать исключительно короткие фразы, я создала тягостные запинки для читателя».

В последнее десятилетие своей жизни Л. Сейфуллина называла свою первую повесть слабым произведением.

Да, эта повесть фрагментарна и эскизна. Художественное изображение в ней зачастую подменяется сухим и кратким сообщением. Но ведь это было первое слово о русской женщине, пробужденной революцией к активной деятельности, к перестройке всей жизни, и повесть волновала читателей, располагала к себе, звала к борьбе со всем старым и отжившим. Для того времени она представляла определенную ценность и сыграла известную роль в развитии молодой советской литературы на такой отдаленной окраине, как Сибирь.

Но уже следующее произведение Лидии Сейфуллиной, «Правонарушители», свидетельствовало о быстром росте мастерства писательницы. А год спу-

стя у нее вышла первая книга — «Перегной» (Новониколаевск, издательство «Сибирские огни», 1923, тираж 3000). «Валериану Правдухину, — говорилось на первой странице, — другу нелицемерному, сурово осудившему, во благо мое, пять лет тому назад мои писания, первую книгу, им принятую, посвящаю». В книгу вошел рассказ «Правонарушители», лучший из всех произведений писательницы, созданных в первые годы ее творчества, и повести: «Четыре главы», «Александр Македонский», «Ноев ковчег» и «Перегной».

Советская литература в то время еще только-только зарождалась. Еще не было «Железного потока». Не было «Цементы». Дмитрий Фурманов еще только заканчивал своего бессмертного «Чапаева». Александр Фадеев еще только писал свою первую повесть «Разлив». Леонид Леонов еще не опубликовал своего романа «Барсуки». И вот в это-то время и вышли в свет произведения Лидии Сейфуллиной. Они были очень ко времени. Читатель требовал книг о революции, о героических подвигах своих современников. Это был новый читатель, пробужденный залпами «Авроры». Сейфуллина отвечала на это требование. Помню, у нас в Сибири люди зачитывались ее книгой. Она помогала в борьбе, в созидательной работе.

Вскоре после выхода первой книги Сейфуллина перебралась в Москву. Когда я в конце 1923 года приехал в Новониколаевск на работу в редакцию газеты «Сельская правда», ее уже не было здесь, но я много слышал о том, как она заботилась о журнале, основанном при ее близком участии. Встретиться нам довелось спустя несколько лет в Ленинграде, где Лидия Николаевна и В. П. Правдухин некоторое время жили.

Я знал ее по фотоснимкам: круглолицая, с гладкими темными волосами, подстриженными под ребячью челочку. Такой она и оказалась. Маленькая, энергичная, с большими круглыми черными глазами, согретыми горячее любовью к человеку и его труду.

За чаем она расспрашивала о Сибири: как идет жизнь? как меняется облик Новосибирска? какие книги издаются Сибгосиздатом? над чем работают писатели? Чувствовалось, что все ей близко и дорого — там осталась частица ее сердца.

Сейчас молодых писателей всюду встречают приветливо. О них заботятся. Им помогают. Их приглашают на семинары, на областные, республиканские и всесоюзные совещания молодых авторов. В двадцатых годах этого не было. О семинарах и совещаниях тогда не знали. В толстых журналах порой даже отказывались принимать и читать рукописи неизвестных авторов.

— Мы на весь год обеспечены романами, — говорили посетителям и при этом называли писателей, имена которых теперь уже забыты.

Но молодежь продолжала стучаться в двери редакций. Рукописи приносили люди из деревень, с фабрик и заводов, порой малограмотные. Кое-кому из них даже не довелось учиться в сельской школе. Но у них было знание жизни, борьбы, труда, и им хотелось рассказать об этом читателям. Однажды в редакцию журнала «Сибирские огни» принес рукопись пожарник. В конце стояла подпись: «Самосочинитель В...» Некоторым старым литераторам это бесхитростное словцо пришлось по душе, они его сделали нарицательным и о молодых писателях, особенно о выходцах из деревни и из среды рабочего класса, говорили пренебрежительно:

— Самосочинители!..

Лидию Николаевну это возмущало до глубины души. Со свойственной ей горячностью, постукивая по столу своим маленьким кулачком, она говорила:

— В редакциях журналов хамство. Молодым писателям даже не отвечают. Сидят чиновники. Новых авторов не печатают. В «Звезде», например, пять-шесть имен, и только. Что было бы, если бы я сейчас начинала? Мне бы не пробиться... Ведь на первых порах писателю нужна поддержка...

Потому-то она и называла «Сибирские огни»

своим родным домом и вспоминала о нем с дочерним чувством.

«Это лучшее время моей жизни, — писала она в воспоминаниях «Памятное пятилетие» («Сибирские огни», 1927, № 1). — Я убеждена, что, если бы провинциальная пресса не признала стоящей мою первую неслаженную, многоизъянную повесть, я не нашла бы в себе достаточно мужества даже попытаться сладить со второй».

За ростом журнала и творчеством молодых писателей следила партия, оказывала помощь и поддержку. Более всех поддерживал журнал и его авторов член Сиббюро ЦК РКП(б) Емельян Ярославский.

«Только теперь, в атмосфере столичных редакций, я понимаю, какой исключительной ценностью было отношение к журналу «Сибирские огни» всех его руководителей, — писала Лидия Николаевна в тех же воспоминаниях. — Большая партийная работа возлагала на них множество обязанностей. Много времени отнимали газеты, выступления на бесчисленных собраниях, работа в учреждениях, непосредственно им порученных, но не было ни одного несостоявшегося заседания редакционной коллегии, ни одного невыполненного обещания о сдаче в срок статьи, материала для номера. Собирались за полночь, где удобнее для скорейшего прибытия всех: и в Сибгосиздате, и у Березовского, и у Ярославского... Возвратившись с заседания партийного съезда в поздний час, Ярославский застал однажды у себя в комнате в сборе не только редакцию, но и ближайших сотрудников журнала. Собрались слушать мою повесть... получилось собрание редакции с представителями Сиббюро и Сибревкома».

Всю свою дальнейшую жизнь Лидия Николаевна боролась за такое заботливое отношение к литераторам, особенно молодым.

Сейфуллину любили за ее честность, принципиальность и беспощадную прямооту. Помню, какими горячими аплодисментами встретили ее, когда она во время Первого Всесоюзного съезда советских

писателей поднялась на трибуну. Зал слушал ее с вниманием. А Алексей Максимович Горький в заключительном слове трижды упомянул ее речь. Он сказал: «Нам следует хорошо помнить умные слова т. Сейфуллиной».

Лидия Николаевна говорила об ответственности писателя перед народом и сетовала: «Многие из писателей, которые сейчас занимают положение в литературе, еще не привыкли работать над материалом, не привыкли работать в библиотеках, не знают прошлого, не умеют в нем разбираться. Нас слишком скоро и охотно сделали писателями». Некоторых литераторов, по ее словам, захваливали, остальных замалчивали, не искали лучших. В последних словах был заключен ее главный упрек критикам, редакторам, да и писателям из столицы.

«В провинции лишается много книг, — говорила она, — и если эти книги не попадут к Максиму Горькому, то отзыва на них не бывает. Горький нашел Авдеенко «Я люблю». А где же другие редакторы? Были редакторы, которые вывезли из Сибири большую литературу; насколько она хороша — судить не нам, но численно большая, известная читателям литература. А где теперь новые писатели из провинции? Их не видно, потому что нет редакторов, которые любили бы свое дело».

Этот горький и справедливый упрек был сделан в 1934 году. С тех пор многое изменилось. Из краев и областей, благодаря заботам партии, пришли в литературу десятки талантливых писателей, создавших яркие, замечательные книги, с любовью принятые широкими кругами читателей и ныне известные не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. И Сибирь выдвинула новых талантливых литераторов. Это Георгий Марков, Сергей Сартаков, Константин Седых, Гавриил Кунгуров, Александр Волошин, Елизар Мальцев, Александр Смердов, Савва Кожевников, Виктор Лаврентьев, Григорий Федосеев, Сергей Залыгин, Николай Устинович, Казимир Лисовский и многие другие.

В последние два десятилетия Сейфуллина едва ли

не главной целью своей жизни считала поиски новых авторов и заботу об их первом слове в литературе и особенно об их творческом росте. Она читала сотни рукописей, писала, многочисленные рецензии, к сожалению до сих пор полностью не собранные и не опубликованные, беседовала с молодыми литераторами во время совещаний и семинаров, в редакционных советах отстаивала их рукописи. В своих оценках она была строго принципиальной, весьма взыскательной и рекомендовала к печати только те произведения, которые считала достаточно высокими по мастерству и достойными по их идейному содержанию. Лучшие произведения местных авторов получали ее поддержку при составлении планов переизданий в московских издательствах.

Л. Сейфуллина призывала молодых писателей к повышению мастерства и яркому отображению нашей социалистической действительности.

«Художественная литература не действительна, если она бесцветней окружающей жизни, — писала Лидия Николаевна в своих дневниках. — Основная задача писателя — не снизить ее до степени только фотографического снимка, хотя бы и хорошего. Чтобы этого не случилось, нам нужна большая моральная и политическая подготовка для каждого нового произведения. Только написавший подлинно достойное эпохи произведение сможет уверенно сказать: я писатель по праву».

В 1947 году отмечалось двадцатипятилетие журнала «Сибирские огни». Лидия Николаевна приехала в Новосибирск на совещание писателей. Она увидела совершенно другой город, ходила по старым улицам и не узнавала их: на месте маленьких хибарок стояли высокие каменные дома. Выросли заводы и фабрики, появились многочисленные институты, здания новых театров. Все изменилось. На много километров раскинулся город, большой промышленный и культурный центр.

Но писательницу здесь помнили, как свою, родную, вышедшую из этого дома. На литературные вечера в институтах и рабочих клубах, где она высту-

пала, собиралось по несколько сот человек. В Первомайском районе клуб железнодорожников не мог вместить всех желающих присутствовать на вечере. Люди переполнили не только зал, но и фойе, где были установлены громкоговорители.

На вечерах Сейфуллина читала воспоминания о Горьком — «Человек». В них было и о ее писательской судьбе. Поколения советских литераторов творчески росли при большой помощи со стороны великого мастера художественного слова. Он читал их рукописи и книги, делал критические замечания, давал советы, звал к повышению мастерства. И все это Сейфуллина, вместе с другими писателями старшего поколения, восприняла как завещание, как блестящий пример служения литературы народу, выдвигающему из своей среды все новых и новых художников слова. И в Сибирь ее, человека преклонных лет, привели отнюдь не воспоминания о родных местах, а желание помочь своим товарищам по работе, только что вступившим на трудную стезю творческой деятельности.

Лидия Сейфуллина горячо любила литературу, любила потому, что в лучших книгах советских писателей живут и действуют наши современники, люди труда, герои славных событий прошлого и великих свершений новой эпохи, любила потому, что на этих книгах воспитывается молодое поколение строителей коммунизма.

Савва Кожеников

О ЗЕМЛЯЧКЕ, КОТОРУЮ МЫ ВСЕ ЛЮБИЛИ

Был март 1922 года. Мы, комсомольские работники Новониколаевска, жили в небольшом бревенчатом домике по улице Максима Горького. Это было наше общежитие. Днем не было дома более тихого, чем наш, но зато вечером, когда собирались все вместе, не было, пожалуй, во всем городе здания более громкоголосого и певучего.

— Знаете, чем должен овладеть комсомольский работник? — запальчиво спрашивал нас Фролов, и сам же безапелляционно отвечал: — Винтовкой, ораторским словом, пером!

Малкин, наш представитель в штабе Сибирского военного округа, признавал только винтовку. Как-то переночевал у нас комсомольский работник из Тулы — Рязанов. Он всю ночь рассказывал о боях Красной Армии с остатками белогвардейских частей.

Да, на окраинах Сибири еще пахло порохом. Где-то в таежных дебрях пробирались на восток путем, «не помеченным на карте», одиночные осколки разбитых белых дивизий. Но мы уже жили в атмосфере созидания нового мира.

Очкастый, с длинным чубом русых волос Кузьмин разрабатывал тезисы политико-просветительной работы среди сибирской молодежи. Уравновешенный, рассудительный Калмыков рассылал на места циркуляры о защите экономическо-правовых интересов молодых рабочих. Алеша Попов, которого мы за ни-

зенький рост прозвали Маленьким (впоследствии это стало его псевдонимом), носился с проектом создания молодежной литературной организации. Он же придумал поэтическое название будущего писательского клуба — «Костер на снегу».

Одним из наших девизов было: быть здоровыми. Тот же Алеша Маленький создал «Общество здоровых легких». Но нам казалось мало — бросить курить. Мы спали с открытыми форточками. И вот однажды в холодный мартовский вечер в наше общежитие влетела искра из костра, разведенного прямо на снегу. В тот день в Новониколаевске вышел первый номер литературно-художественного и научно-политического журнала «Сибирские огни».

Не помню уж кто, — может быть, Кузьмин или Маленький — принес в общежитие тонкую книжку в бледно-зеленой обложке. Не прочитав еще, мы начали спорить. Алеша Маленький горячо запротестовал против древнеславянского шрифта, которым было начертано название журнала — «Сибирские огни». Его поддержал Калмыков, пришедший в комсомол из учительской семинарии.

— Нужен новый шрифт, свободный, размашистый, — кричал он, — вот как у Маяковского в «Окнах РОСТА»!

Прочтя повесть Сейфуллиной «Четыре главы», которой открывался журнал, тот же Калмыков категорически заявил:

— Интеллигентщина!

С ним многие спорили. Но и Калмыков, и все мы не могли не почувствовать революционного пафоса повести, а в авторе — глашатая новых идей.

Когда готовился второй номер журнала, я работал личным секретарем Емельяна Ярославского. Это было время активных выступлений в партии так называемой «рабочей оппозиции». Ярославский во главе комиссии Сиббюро ЦК РКП выехал в Омск. Вагон был служебный, удобный для работы. Поезда ходили медленно. Свободного времени было много. Емельян Михайлович вместе с другим членом редколлегии «Сибирских огней», Д. Тумаркиным,

использовал его, чтобы окончить начатую еще в Новониколаевске статью для журнала о путях социального преобразования деревни — «Неверный компас — неверный путь». А потом Ярославский читал рукопись нового рассказа Л. Сейфуллиной «Правонарушители», тоже для второго номера. Память не сохранила слов, которые были им сказаны о рассказе. Помню только радостное настроение, появляющееся у людей, когда они услышат очень яркие и правдивые слова, которых давно ждали.

С рождением этой повести в литературе появился новый герой — творец, побеждающий нищету, разруху, казенный формализм и бездушные и утверждающий новую действительность, новый труд.

Пять лет спустя повесть обсуждалась в коммуне «Майское утро» Барнаульского округа. Вот что о ней сказали коммунары.

«Стрекачова. Сразу видать, что в рассказе было описано всамделишное. Куда ни кинься — все по жизни и по жизни взято. А смысл к тому ведется: глядите, мол, добрые люди, как Мартынов может из никудышных ребят настоящих людей образовать.

Титов. Мартынов — кирпич: тверд. Он все может. Такие напористые люди всегда своего добиваются.

Шитикова. Речиста писательница!... Мартынов — голова! Кряж, а увертливый. Вот таких бы людей у нас в советской России побольше было!»¹

«Я писала «Правонарушителей», — вспоминала Лидия Николаевна, — будто песню по своей охоте пела». Песня ее не прерывалась. Вслед за «Правонарушителями» в том же 1922 году появилась повесть «Ноев ковчег», а потом — «Перегной».

Редакция «Сибирских огней» послала один из номеров журнала В. И. Ленину. Это был пятый номер за 1922 год, в котором напечатана повесть Л. Сейфуллиной «Перегной». Я видел этот номер в личной библиотеке Владимира Ильича, хранящейся

¹ А. Топоров. Крестьяне о писателях. М.—Л., ГИЗ, 1930, стр. 210—211.

в институте Маркса — Энгельса — Ленина. На левом углу обложки написано: «Ильичу от редакции. 26.I—23 г.». На полях повести Л. Сейфуллиной есть две пометки. К сожалению, трудно установить, кому они принадлежат. Не исключено, однако, что они сделаны рукой Ленина.

В «Перегнутое» Л. Сейфуллина показала революционную борьбу деревни против войны, царизма, кулачества. Перед читателем встали образы бедняков — стихийных революционеров, которых «буйным хмелем допьяна напоила революция».

В те годы рождалась советская литература, написанная новым методом, который позднее был назван социалистическим реализмом. Одним из творцов этой литературы была Лидия Николаевна Сейфуллина. «Тогда советская страна привлекла общее внимание, а советская литература только начиналась, — писала Сейфуллина. — Я не знаю, было ли десятка два человек, которые тогда выпустили свои книги, именно в этот период в Советской России, в новой России — в Советском Союзе».

* * *

Комсомольские работники двадцатых годов отличались невероятной непоседливостью. Непрерывно манили к себе новые географические широты, новые люди. За восемь лет, начиная с 1923 года, я «сменил» шесть городов. В Новониколаевск, называвшийся уже Новосибирском, вернулся в 1931 году. Никого из создателей журнала я не застал. Уехала из Сибири и Л. Н. Сейфуллина. Но, как и прежде, неугасимо горел костер «Сибирских огней». Пламя его поддерживал Горький.

Алексей Максимович был страстный огнелюб. «Разжечь костер, — признавался он, — для меня всегда наслаждение». Большим огнелюбом, выражаясь фигурально, был Алексей Максимович и в литературе. Когда в Сибири возник журнал «Сибирские огни», Горький первым протянул ему дружескую

руку. Люди, разжигавшие костер, слышали его одобряющий голос: «Нужная, отличная работа!»

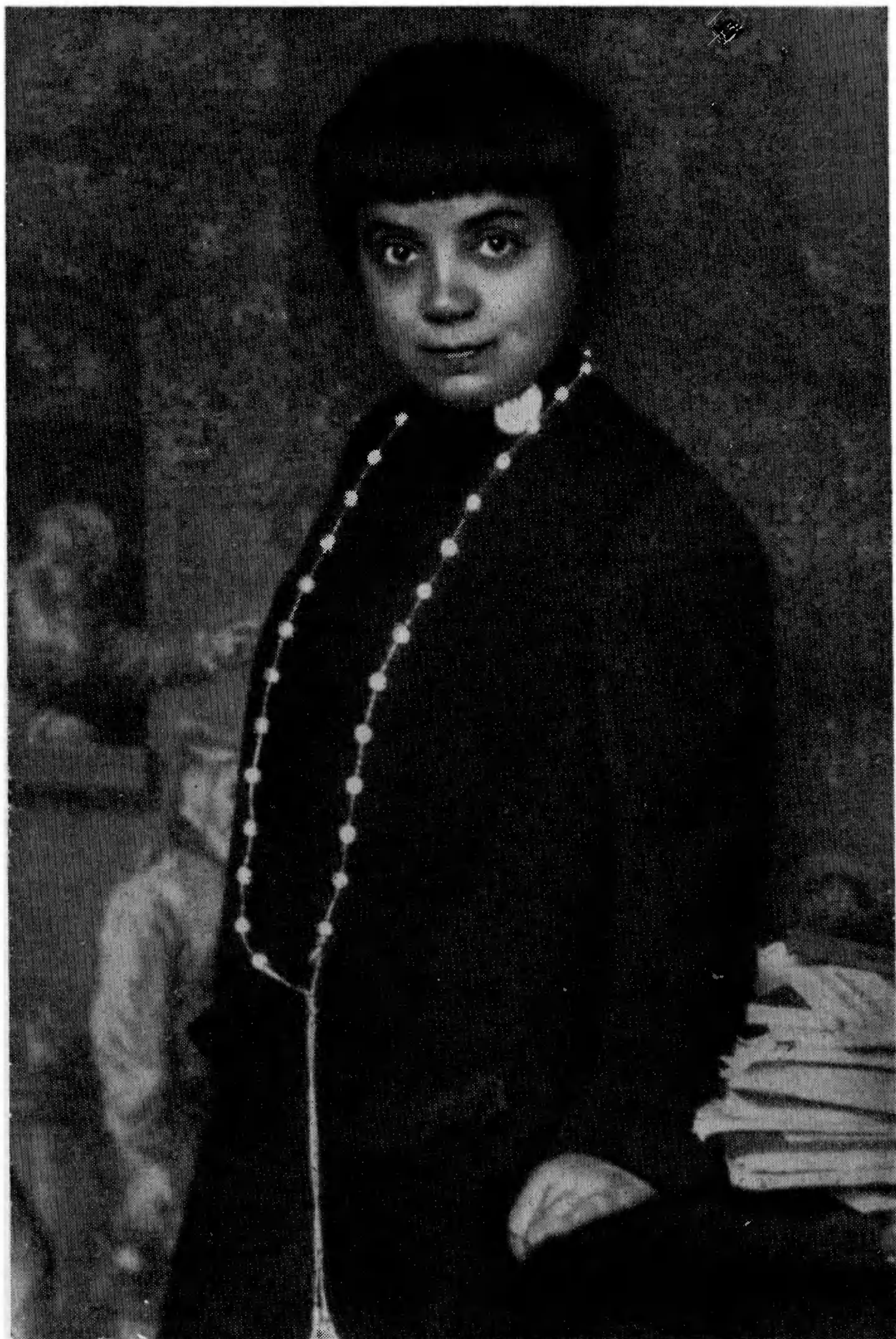
Горький писал В. Я. Зазубрину, в редакцию журнала: «Из «Искры» разгорелись, — как Вы знаете, — довольно яркие костры во всем нашем мире, — это дает мне право думать, что отличная культурная работа «Огней» разожжет духовную жизнь грандиозной Сибири».

В том же 1928 году Горький писал Ромену Роллану, что среди сибирских писателей, выступающих в «Сибирских огнях», «есть люди очень способные». Через три года, в декабре 1930 года, он снова заявил: «Сибирские огни» вполне заслуживают серьезного внимания критики, отличный журнал».

Алексей Максимович незримо сам был около сибирского костра, помогал ему гореть ярко, устранял причины, которые могли ослабить силу его света. Незримо была около костра и одна из его зачинательниц — Л. Н. Сейфуллина. В 1927 году, в связи с пятилетием «Сибирских огней», она прислала в редакцию яркие, сердечные воспоминания о рождении журнала, которые закончила такими словами: «Я стояла у порога моего родного дома. С сердцем, стесненным волнением, возвращаюсь к настоящей жизни, в которую привели меня «Сибирские огни». Я храню о том доме дочернюю память. Как бы надолго ни отрывала и как бы далеко ни уводила меня от него личная судьба, не может не быть у меня желания, чтобы он расширялся, процветал, шумел новой молодой жизнью».

* * *

В годы Отечественной войны журнал выходил эпизодически в виде альманаха. Но вот отгремели пушки, и костер снова вспыхнул. Я привез в Москву первый номер возрожденного журнала. На его «огонек» собрались в областной комиссии Союза писателей старые наши огнелюбы: Л. Н. Сейфуллина, А. А. Караваева, Л. Н. Мартынов, С. Н. Марков, М. А. Никитин. Головы наши — у кого больше, у кого



Л. Н. Сейфуллина
1925- 1926

меньше — были посеребрены сединой. Ведь прошло почти двадцать пять лет! Но это ни у кого не вызвало грусти, потому что мы говорили не о себе, а о журнале. Мы держали в руках номер, который «шумел новой молодой жизнью». Думалось: стареют люди, но не стареет журнал. Он вечно будет юным, работоспособным и бодрым, ибо Иппокреной его — источником поэтического вдохновения — является сама жизнь, сам народ, а народ бессмертен.

Лидия Николаевна листала книжку журнала с прежним названием — «Сибирские огни», но с новой датой — «1946» и тихо, чуть раздумчиво говорила своим хриловатым голосом:

— Это — наша родина, наша история, здесь мы нашли дело своей жизни.

Лидия Николаевна успела прочитать все разделы журнала. Обращаясь к собравшимся, она сказала:

— Меня обрадовало, что «Сибирские огни» в новом своем выполнении встали опять на хорошую, глубокую почву, нашли настоящий, серьезный, строгий тон.

Хорошо отзывалась Лидия Николаевна о рассказах К. Локоткова, выступившего впервые в толстом журнале. О художественном мастерстве Ивана Шухова она сказала: «Какие чудесные типы им нарисованы! Это скульптура, лепка». Очень понравился Сейфуллиной историко-краеведческий раздел.

— Отрадно, — сказала она, — что «Сибирские огни» возрождаются именно в полном звучании. Я, конечно, не уйду из «Сибирских огней».

И она не ушла. До последнего дня своей жизни Лидия Николаевна была крепко связана с нашим журналом. Я не помню ни одного случая, чтобы она не участвовала в обсуждении того или иного номера «Сибирских огней», когда это обсуждение проводилось в Москве.

Однажды она резко выступила против «критиков», которые «нападали» на интересную повесть Георгия Маркова «Солдат пехоты», ознакомившись только с первой ее частью. Некоторые московские критики предубежденно относились к произведениям

областных писателей и одним росчерком пера «уничтожали» даже ярко талантливые произведения. Так они разделались с «Даурией» Константина Седых. Лидия Николаевна одна из первых дала высокую оценку этому талантливому роману.

— Я считаю «Даурию», — говорила она, — широким, огромным полотном. По картинам, которые рисует Седых, я чувствую творческую мощь писателя.

Когда на одном из совещаний я сказал, что это одна из лучших книг о гражданской войне, которые написали сибиряки, Лидия Николаевна бросила реплику:

— Это одна из лучших книг во всей нашей советской литературе.

* * *

Я дружил с Лидией Николаевной. В каждый мой приезд в Москву мы непременно встречались или у нее на квартире, или у меня в гостинице. Много было душевных бесед, шуток, споров.

Иногда мы, сибиряки, «вваливались» в ее небольшую продолговатую комнату целой компанией. Это всегда радовало Лидию Николаевну. Она любила людей.

Однажды Лидия Николаевна пригласила меня к вахтанговцам на читку только что написанной пьесы «Сын».

В свое время театр имени Вахтангова ставил ее «Виринею», и Лидия Николаевна считала его также своим «отчим домом». Многих актеров, которые играли в ее первой пьесе, не было в живых. Но у вахтанговцев живучи хорошие традиции и крепка память. Старого своего автора они встретили уважительно и сердечно.

Лидия Николаевна волновалась, но прочла пьесу хорошо. Да и пьеса была превосходной. Я не видел среди актеров ни одного равнодушного или скучающего лица. Все выступавшие говорили, что пьеса написана очень сильно и ее нужно ставить. Горюнов

сказал, что на днях они слушали пьесу одного автора, которая никого не затронула, потому что там «действуют» чугун и шлак, а в пьесе Сейфуллиной — люди и настоящие человеческие страсти.

Я не знаю, почему пьеса эта не была поставлена и, кажется, до сего времени даже еще не опубликована¹.

Л. Н. Сейфуллина вернулась домой радостно возбужденной и рассказала мне один эпизод, связанный с ее пьесой «Попутчики». Эта пьеса была написана в 1931 году.

— Пьеса мелкая, — сказала Лидия Николаевна, — даже вредная, потому что плохо написана. Каждый может истолковать ее по своему разумению. Спектакль провалился. Я обвиняла режиссера, актеров, только не себя.

Только после того как, будучи в Австрии, она прочитала в какой-то буржуазной газетенке похвальные строки об этой пьесе, она, говорила нам Лидия Николаевна, «поняла, что пьеса плохая, мелкая, и потому, что она плохая, буржуазия может использовать ее против моей страны».

Предполагалось, что пьеса пойдет в одном из венских театров. Но, услышав похвалу наших врагов, Сейфуллина категорически отказалась вступать в переговоры о постановке пьесы в Вене и немедленно покинула Австрию.

Много раз Лидия Николаевна рассказывала о своих встречах с Горьким, припоминая каждый раз какую-нибудь новую деталь из бесед с ним.

Алексей Максимович, как известно, высоко ценил творчество Сейфуллиной. Он писал об этом в письмах, говорил в личных беседах. Но я не помню, чтобы Лидия Николаевна рассказывала о какой-либо горьковской похвале. Она была скромна. Но как охотно и по многу раз она говорила о тех случаях, когда Горький «бранил» ее, бывал недоволен ею, упрекал

¹ Пьеса «Сын» впервые опубликована в книге «Лидия Сейфуллина. Художественные произведения, воспоминания, статьи». Оренбургское книжное издательство, 1959. *Ред.*

ее в чем-нибудь. В этих рассказах не было обиды, а звучало восхищение Алексеем Максимовичем, его высокой любовью к литературе и его ответственной заботой о ней.

— Я самая счастливая из писателей-стариков, — говорила она, — мой путь вначале был совершенно безоблачный. Критики шумно хвалили меня. А вот Горький в 1928 году сказал: «Я больше согласен с тем критиком, который написал, что рано приклеивать Сейфуллиной бороду Толстого. Так вот, сударыня, не торопитесь с бородой!»

Алексей Максимович похвально отозвался о речи Сейфуллиной на Первом съезде советских писателей, в которой она говорила, что «нас слишком скоро и охотно сделали писателями». Но когда ее выступление по творческим вопросам на встрече писателей с руководителями партии не понравилось Горькому, он сказал со всей беспощадностью:

— Смелое выступление. Но это не от ума, а от других качеств!

Лидия Николаевна со всеми подробностями рассказывала, как во время перерыва заседания она стояла в сторонке, побледневшая, с трясущимися губами, и Горький прошел мимо нее, строгий, недоступный ни для каких объяснений.

Это был тяжелый час в жизни писательницы. Но она вспоминала о нем без тени обиды и об этом случае рассказывала нам с насмешкой над собой и гордостью за Горького, который, будучи человеком впечатлительным и часто чувствительным, всегда был твердо принципиальным, непримиримым.

Любила Лидия Николаевна вспоминать о своих встречах с Маяковским, особенно о той, которая произошла в 1927 году в Париже. В каком-то кафе, откупленном французскими почитателями Маяковского, выступал наш великий поэт. В зал проникли злобствующие белоэмигранты и шумными выкриками требовали, чтобы Маяковский читал свои дореволюционные стихи. Сейфуллина сидела «за спиной Маяковского», как она сказала, и слышала, как Владимир Владимирович отбивался от злых реплик, как

лев от наседавших псов, и читал свои произведения советских лет.

После смерти Лидии Николаевны в журнале «Знамя» были опубликованы ее воспоминания о Маяковском, в которых описан этот вечер. Чтобы быть точным, я приведу из них несколько строк.

«Перед Владимиром Владимировичем стоял маленький стол. На нем графин воды и стакан... У меня от волнения пересохло в горле. Я протянула руку, чтобы налить себе воды. Владимир Владимирович быстро, слегка отстранив меня, налил воды в стакан и, подавая его мне, сказал:

— Я подаю воду замечательной советской писательнице. Приветствуйте ее!

— А где она? Ее не видно... Пусть встанет повыше...

Маяковский ответил:

— Сейфуллина достаточно высоко стоит на собрании своих сочинений».

Лидия Николаевна упрекнула Маяковского, и он ей ответил:

— Оставьте, Сейфуллинка... Мне это надо.

Для чего это надо было Маяковскому? Лидия Николаевна объяснила это так: «Маяковский устал от любовного и враждебного внимания. Ему было необходимо хоть короткое переключение такого острого внимания на кого-нибудь другого».

Это, очевидно, правда, но правда не вся. Маяковский с гордостью представил Сейфуллину еще потому, что советский народ уже тогда выдвинул из своей среды таких талантливых писателей, как Лидия Николаевна, достойных того, чтобы их приветствовала заграница. Но разве могла это сказать и написать об этом Сейфуллина при ее скромности?

Характерной для Лидии Николаевны была не только скромность, но и правдивость и прямота.

О себе Сейфуллина говорила редко, как всякий скромный человек. А если и заходила иногда речь «по личному вопросу», то непременно в связи с теми или иными общественными явлениями. В этих

общественных явлениях она всегда занимала ясную, недвусмысленную позицию.

Я нередко слышал от Сейфуллиной: «Все ценное в моей жизни дала мне революция»; «Стать писателями помогла нам советская действительность»; «Мне при жизни удалось получить то, что никогда, при другой власти, не было бы мною достигнуто, особенно в такой короткий срок»; «Я — безоговорочно за социалистический реализм в творчестве».

Лидия Николаевна время от времени делала записи для себя в своем рабочем блокноте. Сейчас они опубликованы. Я нашел в этих записях для себя те слова и мысли, которые мы, ее друзья и товарищи, слышали много раз.

Я не могу не привести полностью последние строки из этого блокнота, потому что в нем Сейфуллина встает перед нами во весь свой рост и как писатель, и как человек.

«То, что я имела сказать, я всегда говорила представителям партии. Все мои сомнения, моральные, идеологического порядка, всегда были мной непосредственно обращены к партии, к тем или иным общественным представителям ее. У меня не было ни одного момента в жизни, когда бы я искала иной среды. Мир, не организованный волею Коммунистической партии, для меня — безвоздушное пространство.

Я не представляю себе существовать на «ничейной земле». Так верю и так поступаю. Вот мой партбилет.

Я не хочу прийти к концу моей жизни Иваном, не помнящим родства. Мое внутреннее «я», все, чем я прожила свою жизнь, — связано с Коммунистической партией. Все мои выступления были по прямому адресу: партии коммунистов, большевиков. Я никогда не думала «в кулак», потихоньку, про себя. Никогда не обращалась за разрешением моих сомнений в чужую или «около проходящую» среду. Я шла только к руководству нашей партии.

Перед лицом моей человеческой и писательской совести я не могу вспомнить ни одного поступка или

выступления (не было случая в моей общественной, а следовательно, и политической, жизни), когда бы я оказалась вне восприятия мира.

Каждый человек, ощутив на своих плечах лиш-
ний десяток лет, хочет самоопределения. У одного
такое желание возникает раньше, у другого — позже.
У меня поздно — к 60-ти годам.

Не хочу умереть беспартийной при той или иной
катастрофе — даже не имея партийного билета, хочу
знать: я коммунистка!»



Е. Никитина

СИБИРЯЧКА

В декабре 1923 года ранним вечером мне позвонил Алексей Силыч Новиков-Прибой и сказал, что ему нужно меня видеть.

— Я приду к вам не один, — сказал он, — приведу к вам гостью-писательницу. Я ей много говорил о «Никитинских субботниках», и ей хотелось бы познакомиться с вами. Много мог бы я рассказать вам об этой писательнице, да — вот беда! — стоит она сейчас рядом со мною — как-то неудобно хвалить! ..

Через полчаса ко мне вошли А. С. Новиков-Прибой и «гостья-писательница». Это была Лидия Николаевна Сейфуллина. Алексей Силыч не сводил с нее глаз, когда она с жаром рассказывала о своих первых шагах в литературе, о своем детстве, об отце, сестре, жизни в Сибири, о творческих поездках и встречах.

— Я приехала в Москву, но связи с моими сибиряками не порвала, — говорила она. — Если б вы знали, какой они замечательный народ! А как любят литературу! А какие песни поют — свои, старинные, си-бир-ски-е! У меня в Оренбургской губернии тоже был кружок. И как мы славно работали! Я — сибирячка! Жаль мне было расставаться со всем, что было так дорого сердцу...

Голос у Лидии Николаевны был четкий, чеканный, запоминающийся. Чувствовались в ее оценках

правдивость, требовательность и огромная принципиальность.

— Вы смотрите на меня, — сказала Лидия Николаевна, — и думаете: какая провинциалка приехала в Москву!... Но ничего, «пообтешусь»!

«Сибирячка» вспоминала о трудной, сложной и разнообразной деятельности своей: была учительницей, ликвидатором неграмотности, артисткой, журналистом, лектором, библиотекарем. И вот теперь она усваивает «азы» писательства...

Искренне и страстно рассказывала Лидия Николаевна о своем «втором рождении» — об Октябре. Во всем, что бы она ни говорила, чувствовалась прямота ее натуры. Видно было, что она не завидовала успеху друзей — товарищей по перу, а болела за судьбы родной для нее советской литературы.

— К писательскому труду должно относиться бережно, с предельной осторожностью и правдиво, — читатель сразу подметит фальшивое слово. Одного дарования мало. Надо еще мобилизовать в себе усидчивость, любовь к писательскому труду, да, именно труду. Нужно, чтобы писатель приобретал профессиональные навыки...

Много и долго говорили мы. Лидия Николаевна спрашивала меня о литературной и театральной жизни Москвы. С вниманием и острым интересом глядела она на стены моей квартиры, сплошь уставленные стеллажами, до потолка заполненными книгами и рукописями, рассматривала портреты писателей, ютившиеся над и меж шкафами.

Мы с Алексеем Силычем с трудом поспевали отвечать госте. Далеко за полночь кончилась наша беседа. Нет — не кончилась, а оборвалась. Я пригласила Лидию Николаевну посещать наши «субботы» и почувствовала, что литературная Москва стала богаче на одного замечательного человека, талантливого борца за новое, социалистическое искусство.

13 января 1924 года Лидия Николаевна пришла на «субботник» со своим мужем — В. П. Правдухиным. А через неделю московские писатели слушали ее рассказ: «Правонарушители» — в первой части

вечера, во втором отделении выступал И. Г. Эренбург с чтением глав из романа «Любовь Жанны Ней».

Все выступавшие писатели с увлечением говорили о рассказе «Правонарушители», отмечали правду жизненных наблюдений, свежесть образов и характеров, говорили о том, что автор обладает даром глубоких обобщений, хвалили язык и насыщенность острым социальным содержанием.

Лидия Николаевна принесла мне, как она сказала, «сибирский подарок» — свою первую книгу «Перегной» (Изд-во «Сибирские огни», 1923). На ней было написано крупным, отменно разборчивым почерком: «Евдоксии Федоровне Никитиной в знак первой дружеской встречи и с надеждой на многие дальнейшие — дарю свою первую книгу. Автор. 1924 г. 19 января».

Л. Н. Сейфуллина как-то сразу вошла в семью московских писателей, как и в нашу — «субботнюю». Многие листы протоколов, листы посещений «суббот» украшены четкими подписями Лидии Николаевны.

В феврале она слушала рассказы Леонида Максимовича Леонова, стихи Веры Михайловны Инбер, повесть Алексея Силыча Новикова-Прибоя.

1 марта она хвалила стихи Веры Клавдиевны Звягинцевой и с горечью говорила, что строки Петра Орешина «бьют мимо цели: надо, чтобы произведения писателя вселяли веру в человека, помогали найти в новой жизни свою дорогу, стать активным творцом этой обновленной жизни».

12 апреля Лидия Николаевна читала рассказ своего земляка — сибирского писателя Владимира Зазубрина, одного из первых советских литераторов. Читала его Лидия Николаевна прекрасно, как только может прочесть взыскательный художник слова — актер. Высказывавшиеся единодушно хвалили рассказ. Лидия Николаевна сияла. Она всегда относилась с повышенным вниманием к творческим успехам товарищей по перу.

Лидия Николаевна не раз приводила на «субботние» вечера писателей, чтобы мы выслушали и обсу-

дили еще не увидевшие печать страницы, еще не вошедшие в литературу произведения. Она часто «открывала» сама прения, первая — от неумного нетерпения — высказывалась о прослушанном. Неприемлимая ко всякой фальши, она умно шутила, давала оценки смелые, неліцеприятные, но свидетельствовавшие об огромном расположении к человеку, о подлинной заботе о нем. В то же время Лидия Николаевна умела щадить самолюбие начинающего, еще не оперившегося, робкого писателя, пришедшего к нам за помощью, указаниями, моральной поддержкой, отзывом старых, маститых авторов.

Не вступая в сделку с совестью, Сейфуллина говорила прямо, никогда не золотила пилюлю, говорила со страстью трибуна, и речь ее часто блистала афоризмами, юмором, меткими сибирскими словцами... Она и к себе как к писателю относилась всегда и неизменно с суровой требовательностью.

— Ничего не поделаешь! — часто говорила она нам, критикуя прослушанное произведение. — Ремесло наше трудное, вредный цех — надо постоянно следить за собой, как бы не заразиться писательским чванством.

Мы все слушали ее и смотрели в огромные, глубокие, черные глаза, которые светились умом и скромностью, человеческим теплом и дружбой... Ей было свойственно волнение за общее литературное дело.

— Я боюсь покоя, он так легко скатывается к упокою, — говорила Сейфуллина.

Все эти качества ее завоевали глубокое уважение к ней в нашем объединении, а меня просто пленили.

Она с большим интересом слушала, когда на «субботах» горячо обсуждались литературные события и новинки, «декларации школ», зачитывались «манифесты направлений», родившихся «вчера»... а многие писатели делились своими рабочими планами, замыслами.

20 апреля 1924 года Л. Н. Сейфуллина прочла нам «Виринею».

Яркая фигура новой крестьянки, выросшей ко времени Октябрьской революции и нашедшей простор своим силам после Октября, поразила всех слушателей. Трудно пересказать в небольшой заметке все важное и существенное, что говорилось о повести и ее авторе. Многие подчеркивали мастерство писательницы в изображении основных черт деревенской женщины: смелости, непокорства, чувства личности, воли к жизни. Даже умирая, Вирка Сейфуллиной не сломилась: крепкая, цельная, она до последнего момента боролась за жизнь.

Леонид Максимович Леонов прислал мне записку, которая начиналась словами: «По-моему, она (Сейфуллина) принадлежит к «настоящим»...»

В «субботу» 6 декабря 1924 года наше объединение на трехсотом заседании праздновало свое десятилетие. Лидия Николаевна была в составе юбилейного комитета.

Среди художников слова, выступивших на литературном поприще в первое революционное пятилетие и отразивших в своей творческой работе революцию, одно из первых мест заняла Л. Н. Сейфуллина.

На наших заседаниях не раз отмечались основные тематические линии, которые разрабатывала художественная мысль Лидии Николаевны. По общему признанию критиков, деревенская тема являлась центральной и нашла в созданных писательницей образах наиболее художественное воплощение.

Сейфуллина создала ряд четких, словно высеченных из мрамора, жизненно полнокровных фигур: Софрон, Артамон Пегих, Виринея, Магара и другие — все это типичные образы, яркие, художественно убедительные.

В «Перегнутое» Сейфуллина показала бедняков сибирской деревни, которые с приходом Октября впервые за всю тысячелетнюю историю нашей страны почувствовали свою силу, свое право на землю и волю, на свободный труд и радость жизни.

Говоря о речевом стиле Сейфуллиной, товарищи

отмечали большие художественные достижения: умело примененную в повествовании форму крестьянского сказа, выразительный язык, искусный диалог, придающий живость и яркость бытовым сценам. Все эти свойства речи свидетельствовали о большом чутье писательницы к языку.

Лидия Николаевна часто говорила, что наше общество, объединение людей одного труда, подтягивает ее, мобилизует мысль, вызывает у нее желание достичь того, чего уже достигли товарищи по перу.

11 октября 1947 года в Центральном доме литераторов, на вечере «Первые годы советской литературы» среди выступавших с воспоминаниями наряду с К. А. Фединым, М. С. Шагинян, Л. В. Никулиным, А. С. Яковлевым была и Лидия Николаевна. Она говорила о своих первых выступлениях среди московских писателей, тепло и сердечно вспоминала о вечерах «Никитинских субботников». По окончании вечера мы с ней заключили друг друга в объятия, у нее блеснули слезы на глазах, а у меня дрожала рука, пытавшаяся крепко пожать руку любимому другу...



О л ь г а Ф о р ш

ВИРИНЕЯ

Великая революция в нашей стране дала женщине широкую свободу.

Женщина у нас получила наконец свои законные права, которые и доселе неизвестны женщинам капиталистического мира.

Очень скоро освоились мы с новым положением в судьбе женщины, привыкли видеть ее и милиционером, и директором фабрики, и летчиком, и капитаном дальнего плавания...

Однако еще существует где-то в тайниках психики — не только мужской, но и женской — обидное определение: «курица не птица, баба не человек».

По старым представлениям, искусство — вот область, где заметней всего было, что женщине еще чего-то не хватает, чтобы сравняться с мужчиной. Утверждали, что не может быть у женщины свежего, нового взгляда на мир, взгляда, не заслоненного готовыми представлениями. Словом, она не способна к оригинальности в искусстве, потому что она по своим природным данным не художник, не творец.

Говорили, что уж колыбельную-то никто не мешал создать женщине, тут ей и карты в руки...

А создал колыбельную песню — мужчина, и в музыке, и в стихах.

Правда, однако, в том, что колыбельную мужчину *написал*, а это не то же, что создать...

Мы знаем много примеров, когда рядом с гением в искусстве стоит женщина, без которой он не смог бы достичь вершин своего творчества.

Даже в нашей стране и в наше время, когда женщина заняла свое достойное место в литературе и искусстве, не раз прорывалось скептическое толкование роли женщины, в частности, в театре.

Мне пришлось услышать мнение, высказанное не каким-нибудь обывателем, а профессиональным работником театра, о действительно гениальном воплощении «вечной женственности» китайским актером Мэй Лань-фанем. Он, мол, превзошел своей игрою и Элеонору Дузе и Сару Бернар. А ведь это — мужчина, отец пятерых сыновей...

Однако с таким мнением вряд ли можно теперь согласиться.

Достаточно назвать такие имена, как Мухина и Уланова, чтобы поверить в творческие силы советской женщины.

В памяти возникает премьера в театре Вахтангова пьесы Сейфуллиной «Виринея».

Непрерывные аплодисменты подчеркивают удачу текста, языка, оригинальность самой героини.

«Виринея» была первой новой женщиной, во всей свежести и убедительности воплощенной в пьесе. После нее легко появились другие новые женщины — передовые колхозницы, члены правительства, избранницы народа, защитницы мира во всем мире. Но Виринея была первой.

Я помню маленькую, крепко свинченную фигурку Лидии Николаевны, ее живописное татарское лицо, обрамленное детски подстриженной челкой, ее непомерно большие глаза.

Она вышла на аплодисменты, окруженная главными исполнителями спектакля. Со слезами на своих замечательных глазах, как бы взятых из равеннской мозаики, Лидия Николаевна сказала взволнованно:

— Да это не я, это актеры — их победа.

Это было сказано скромно и искренне.

Растроганное лицо Лидии Николаевны всегда возникает в моей памяти, едва я о ней подумаю.

Живой образ Л. Н. Сейфуллиной так хорошо воскрешен в воспоминаниях ее друзей, особенно в биографическом очерке ее сестры Зои Николаевны, что мало чем можно его дополнить...

Алексей Попов,
народный артист СССР

«ВИРИНЕЯ» НА СЦЕНЕ

Мне как режиссеру выпало большое счастье впервые осуществить на сцене Вахтанговского театра (это была еще Третья студия МХАТ) постановку спектакля «Виринея».

Пьеса возникла из нашумевшей в двадцатых годах повести того же названия, принадлежавшей Лидии Николаевне Сейфуллиной.

В те далекие годы драматургия отставала от романа и повести (это отставание, впрочем, наблюдается и по сей день). В силу этих причин первенцы советской драматургии часто рождались через инсценировку литературных произведений. Так появились на свет «Виринея», «Бронепоезд» Вс. Иванова, фурумановский «Чапаев», «Цемент» Ф. Гладкова и многие другие.

Повесть Сейфуллиной с большой взволнованностью раскрывала огромные сдвиги, произведенные в сознании крестьянства войной и последовавшими за ней двумя революциями — Февральской, а затем Октябрьской, социалистической. Сейфуллина рассказывала, как простая крестьянка Виринея и окопный солдат Павел Суслов выросли в общественных деятелей новой, советской деревни.

Большой успех повести и подтолкнул Л. Н. Сейфуллину переделать «Виринею» в пьесу (соавтором Лидии Николаевны был В. П. Правдухин).

Лидия Николаевна не была еще связана ни с каким театром. Впервые пьеса читалась в Доме Герцена на Тверском бульваре. Собрались друзья, писатели, критики, актеры и кое-кто из режиссеров. В этот вечер собравшиеся не переставали удивляться... Необычным казалось все, начиная с внешности писательницы, — она была миниатюрного роста, с огромными лучистыми глазами. Удивило всех, что эта маленькая женщина знает современную деревню так, как не знает ее никто из слушателей. Несмотря на то что жизненность пьесы захватила всех, авторы казались людьми наивными в театральном отношении. Действительно, каким образом такой громоздкий материал можно уложить в спектакль? Ведь он если и состоится, то окончится к двум часам ночи. Наконец, можно ли писать пьесу с такой откровенной, обнаженной политической тенденцией? Это же агитка! И потом, что это за жанр — обозрение, хроника деревенской жизни?

Этот каскад вопросов Лидия Николаевна выдержала внешне спокойно. Лицо ее одновременно выражало и робость и упрямство. Всем своим видом она как бы говорила: «Да, я не знаю, как делаются пьесы и спектакли. Но я убеждена в том, что «Виринею» надо и совершенно необходимо показать советскому зрителю!» Глаза ее, по-детски округлые, смотрели строго и решительно.

Когда кончилась читка, которой, казалось, не будет конца, время было уже позднее. Все заспешили домой. Люди задавали вопросы и не очень ждали ответа. На разговор о пьесе остались только близкие знакомые авторов — неловко было спешить с уходом.

Разговор, как часто бывает в таких случаях, вылился в беседу «вообще». Заинтересованных в реальном сценическом осуществлении «Виринеи» не оказалось.

Я сидел, слушал «обмен мнениями» и молчал, хотя и был взволнован. А вскоре понял, почему молчу. У меня было такое же самочувствие, как и у автора: не зная, как из этого хаотического нагромождения сцен и действующих лиц сделать спектакль,

я в то же время всем своим существом ощущал рождение нового на театре, того самого, чего мы, режиссеры и актеры, вот уже шесть лет ждали, измучились в ожидании. «Виринею» должен увидеть зритель. Это именно та революционная новь, о которой тосковали Вахтангов, Марджанов, все те, кто страстно хотел перейти к воплощению революции на сцене, к перестройке всего идейного, душевного, эстетического и технологического багажа театра. Но как объединить разрозненные сцены «Виринеи» в строгое русло спектакля, я, естественно, не знал и потому пока молчал, но уже знал твердо, что «обрекаю» себя на эту постановку.

Мне кажется, что переход театров на современный, революционный репертуар, успешность этого перехода в те годы целиком зависели от того, насколько тот или иной театр и режиссер тосковали по современной пьесе. От этой тоски по новой теме, по новому социальному герою целиком зависел и успех в работе с авторами.

К чести Вахтанговской студии надо сказать, что даже в те далекие годы в ней нашлась активная группа актеров, жаждущих новой, революционной тематики не на словах, а на деле, действительно готовая по заветам Вахтангова «идти вместе с народом, творящим революцию».

Весть о постановке «Виринеи» с трепетом и с хорошим творческим страхом приняли Б. Щукин, А. Горюнов, В. Куза, И. Толчанов, Е. Алексеева, Н. Русинова, В. Балихин, В. Москвин и молодежь театра, а в молодежи тогда числились М. Державин, Д. Журавлев, В. Кольцов и другие. Были в те годы и эстетско-аполитичные настроения в студии. Защитникам «Виринеи» пришлось вступить с ними в борьбу.

Прежде чем начать работу в театре, мне как режиссеру пришлось потратить много времени, чтобы сделать рабочий экземпляр пьесы. Работа с Л. Н. Сейфуллиной и В. П. Правдухиным протекала дружно. Пьесу мы сократили почти вдвое, выбросили несущественные сцены и ряд персонажей. За счет этого увеличилось количество народных сцен и, самое

главное, ярче стали образы представителей новой, ершистой революционной деревни. Молодой солдат (в спектакле его играл А. О. Горюнов) сделался вожаком деревенской молодежи и как бы подручным большевика Павла Сулова.

И я и актеры были захвачены страстью познания нового деревенского быта. Помню, Л. Н. Сейфуллина привлекла в студию много деревенской молодежи, среди которой была и сестра Сергея Есенина. Они с упоением пели для нас деревенские частушки, а мы жадно вглядывались в их лица, слушали их рассказы и разговоры. Постановка «Виринеи» заставила пересмотреть приемы актерской игры и режиссуры. Необходимо было воспитывать в актере новые для него, волевые качества, темперамент, определенность, четкость отношения к людям и фактам. Воплощение образов «Виринеи» требовало жесточайшей борьбы с расплывчатостью и интеллигентщиной в трактовке образов. Новому социальному содержанию и новому быту необходима была свежая палитра сценических красок.

В репетициях с актерами помогал мне И. М. Толчанов, когда был свободен от своих сцен (занят он был в роли Магары, проходящей через ряд картин пьесы). Актеров иногда приходилось не только увлекать, убеждать, но и психологически ломать. С исполнительницей главной роли Е. Г. Алексеевой, к счастью, работать было легко, но Б. В. Щукина я частенько умучивал. Мне было ясно, куда надо его вести, но я не всегда умел найти ключ к этому чуткому и в то же время самолюбивому актеру. Новым, трудным был материал пьесы, сложной — творческая природа артиста. То, что я тянул его к созданию характера определенного и прямого, добивался внутренней силы при внешней грубоватости, часто казалось Щукину преждевременным требованием результата. Актер уверял режиссера, что к этим чертам характера он придет постепенно, а мне, режиссеру, было ясно, что в отведенные для подготовки спектакля сроки актер не придет к образу Павла при таком подходе к роли. Ведь до этого Щукин играл

приторно-сладкого кюре в «Чуде святого Антония» Метерлинка и инфантильного, смешного заику Тарталью в «Турандот». Переход к Павлу Суслову был переломным моментом в творческой биографии артиста, поэтому так трудно шла работа.

В «Виринее» я наблюдал у Щукина тот же сложнейший процесс сращивания, слияния актера с образом, какой я видел у больших мастеров Художественного театра. Если на репетиции добрые глаза Бориса Васильевича преображались и становились жесткими, а иногда даже злыми (исстрадался, намучился в окопах Павел Суслов!), то я знал, что репетиция будет полна новыми, радующими находками. Если глаза актера смотрели умиротворяюще ласково, то я предвидел, что репетиция будет тяжелой, трудной.

Я многому научился в работе с Б. В. Щукиным, и прежде всего — требовательности к себе и к актеру, всепоглощающей сосредоточенности в работе.

А сколько было у меня чисто режиссерских сомнений в «Виринее»! Например — в чем театральность деревенского быта? Как найти на сцене подлинную жизнь старой и новой деревни, чтобы она, эта жизнь, не выглядела натуралистически и в то же время была лишена режиссерских вывертов?

Помню, ночами, бродя по арбатским переулкам, я обдумывал сцену у Анисьи. Вот она приехала из города к себе в деревню. У нее в лазарете умер мужик — хозяин. Она вошла в избу, крестится, раздевается, суровая, молчаливая. Сходятся соседи. У всех любопытство ожидания: что с мужиком? Умер или ничего — жив? Анисья села за стол, подперлась рукой и заголосила, запричитала...

Глубоко вздохнули мужики и бабы: значит, умер. Послушаем, как будет выть-причитать; надо встать поудобнее, — может, это будет долго.

Ничего, хорошо причитает, подходяще. Значит, любила мужика. Стоят мужики, смотрят на Анисью и проникновенно слушают.

Эту сцену мы называли для себя «концерт в избе у Анисьи».

Я ходил по арбатским переулкам и думал: этот ритм жизни старого уклада, тяжелый, неторопливый, — он верен, но его надо взорвать, когда в избу вбежит деревенская молодежь во главе с молодым солдатом и все сотрясающую гранату бросит Павел Суслов.

«Павел. Схоронила мужика-то, Анисья? Ну, что ж. Рановато бы, да тут, видать, не переспоришь. А живые-то, вон, слышать, самого царя переспорили... Слышишь, царя отменили.

В о з г л а с ы: Отменили!

— А как же? Другой, что ль, какой престол отбил?

— Чего ты брешешь?...

— Кто сказал? Отколь слух?

Павел. ...Совсем без царя живем! Сейчас на сходе оповещали народ. Староста из городу манифест привез...»

Я понял, что конфликт двух ритмов — ритма старой, кондовой деревни и этой взвихрившейся молодой силы, которая смела тяжелый ритм «концерта», увлекла за собой, закружила даже стариков и старух, — является сущностью картины.

Разгадав сцену, я был полон новых сомнений: можно поставить все это так, что тебя как режиссера заметят, о тебе загалдят в газетах... А можно поставить эту сцену серьезно, скупое, проникая в суть того, что совершается. Смысла этой новой, диктуемой деревенской жизнью театральности, пожалуй, не поймут.

Пусть, «концерт» буду ставить так, как его вижу. Не буду оставлять «белые нитки» режиссуры. И опять сомнение — тебя назовут «старательный» режиссер. Время-то какое! Тут и «Турандот», тут и Мейерхольд, а ты хочешь ставить скупое, сдержанно!

И действительно, о режиссере в «Виринее» писали гораздо меньше, чем о других моих постановках. Я же считаю, что «Виринея» была для меня, режиссера, целой школой. Пришлось вместе с новым содержанием в пьесе осмыслять новое и в искусстве. Только поэтому я нашел новый ключ к решению

народных сцен и смог помочь актерам в создании новых характеров.

Прошли годы, «Бронепоезд» во МХАТ и «Виринея» в Третьей студии стали классикой. Сегодня даже мне, постановщику, странно перечитывать отзывы того времени с их разнообразием и в оценке пьесы, и в отношении к спектаклю. Одни критики рассматривали «Виринею» Л. Н. Сейфуллиной как обозрение, другие называли спектакль жанровыми картинками. Один рецензент, например (Ю. Соболев), заканчивал рецензию так: «...в общем еще раз надо признать всю честность работы студии. Все большое внимание режиссера спектакля Алексея Попова. Не студии, в целом, и не постановщику, в частности, нужно посы- лать упреки в блеклости спектакля. В том, что он томительно сер, в этом виновница сама Л. Сейфул- лина, слишком примитивно понявшая задачу сцени- ческого приспособления своей повести».

А рядом газета «Известия» писала: «Живая и нужная работа, наполняющая театр земным, горя- чим содержанием, в подтверждение творческих сил молодежи, могущей и солнечно веселиться и искрен- не вдуматься в жизнь крестьянства».

Поддержал спектакль и пьесу Н. А. Семашко. Он писал: «Деревня, показанная на сцене, — настоящая, неподкрашенная деревня. Это не натягивание пьесы на «идеи», как это очень часто теперь практикуется, это не морализирование, не голая агитация и пропа- ганда; режиссер полным ковшом зачерпнул действи- тельную жизнь из реалистических глубин рассказа Сейфуллиной; агитирует и пропагандирует здесь сама жизнь».

А. В. Луначарский в своем докладе на Пятом все- союзном съезде работников искусств, наряду с «Ман- датом» Н. Эрзмана у В. Э. Мейерхольда, отметил «Виринею» в Третьей студии МХАТ как постановку исключительную, указывающую новый путь театру.

Спектакль надолго удержался в репертуаре и вместе с «Турандот» был показан на международном фестивале во время гастролей в Париже.

Эта поездка была осуществлена позднее, в 1928 го-

ду, но я хочу остановиться на том резонансе, который спектакль получил в Париже. Необходимо сказать, что это был первый выезд советского театра на международную арену. Известный французский деятель театра Фирмен Жемье сделал предложение Третьей студии принять участие в театральном фестивале европейских стран. Каждая страна имела свою неделю в театре «Одеон».

А. В. Луначарский рекомендовал везти в Париж «Турандот» и «Виринею». Но «Виринею» решено было сыграть один раз, последним спектаклем, так как было ясно, что и пьеса, и постановка будут иметь большой политический отклик и, несомненно, вызовут демонстрацию парижской белогвардейщины.

Спектакли «Турандот» проходили с бурным, настоящим успехом и у французской публики, и даже в эмигрантских кругах. Но можно себе представить, до какой степени накалилась атмосфера к моменту показа «Виринеи». Площадь перед «Одеоном» была запружена людьми. Публика, даже имевшая билеты, не могла пробиться в театр. И курьез заключался в том, что французские полисмены, энергично работая локтями, обеспечивали парижанам доступ на «советскую агитку».

Зрительный зал раскололся на две части. Одна состояла из разного рода белых эмигрантов, другая — из публики, настроенной благожелательно к Советскому Союзу. В зале присутствовало много членов Общества друзей Советской России.

Реакции зрительного зала были необычайно бурными. Одни и те же реплики вызывали аплодисменты одной половины зрительного зала и протестующий свист другой.

Паузы из-за бурных и противоречивых реакций были иногда огромны. Спектакль, и без того длинный, окончился на полчаса позднее, и, несмотря на это, никто из зала не двинулся. Реплика Б. В. Щукина (Павла Суслова) «Царя отменили» вызвала такую неистовую бурю в зрительном зале, что казалось, потолок в театре обрушился! Монолог молодого солдата (А. О. Горюнова) каждой своей фразой

вызывал целую бурю свиста, криков, топота. Да и не мудро, если вспомнить текст: «Название «нижний чин» отменяется. Теперь почетное звание — солдат. (Аплодисменты и протест). Какой тебе нижний? А кто верхний? Нету больше нижнего! (Аплодисменты, свист, топот). Э-эх, я в Романовку съездию. Энтот, Ковыршина Алексей Петровича сын, в прапорщики вышел, в офицеры. Вместе на побывку в одном вагоне ехали. Я ему говорю: «Степа, дай закурить». А он мне: «Я тебе не Степа, а офицер теперь, а ты — нижний чин, дисциплины не знаешь!» При всем при вагоне, — я как скраснел тогда! Нарочно съездию. А ну, скажи, мол, я теперь кто? Нижний чин, ах, язви те в душу, на-ко, мол, выкуси! Был нижний чин, да весь кончился!» После этого монолога зрительный зал бушевал несколько минут.

В оценке «Виринеи» больше всех неистовствовало «Возрождение». Уже одно заглавие статьи красноречиво выражало мнение этой газетки. Рецензия называлась: «ГПУ в «Одеоне». Автор уверял читателей, что «для создания соответствующего настроения в зрительном зале были умело рассажены чекисты. Таким образом успех и политические рукоплескания были обеспечены».

В других газетах о спектакле писали князь Сергей Волконский и известный эмигрант, переводчик «Турандот» М. Осаргин. При всем неприятии идейного содержания пьесы авторы этих рецензий были растроганы самим фактом встречи с русским театром, который показал с одной стороны «Турандот», блестящую постановку Вахтангова, а с другой — «Виринею», приоткрывшую завесу над сегодняшней, советской Россией.

«Виринея» удержалась в репертуаре Третьей студии надолго, справила сотое представление и еще продолжала идти.

Дружбу с Лидией Николаевной Сейфуллиной я сохранил на многие годы. Моей многолетней творческой связью с Н. Ф. Погодиным я опять-таки всецело обязан ей. Л. Н. Сейфуллина оказалась театральной «крестной матерью» для одного из талантливейших

советских драматургов, лауреата Ленинской премии Николая Федоровича Погодина. И вот как это случилось.

Однажды ко мне в Третью студию МХАТ явился человек странного вида, в поношенной, далеко не свежей шляпе, сильно близорукий, очкастый; разговаривая, смотрел куда-то в сторону, как будто был готов заранее обидеться. В руках он держал пьесу, свернутую трубой. «Ага, драматург! — подумал я. — При чем драматург канительный, с таким ежели свяжешься, хлебнешь горя». Пришедший, что-то буркнув себе под нос, стал доставать из внутреннего кармана письмо:

— Вот, прочтите, это вам от Сейфуллиной.

Я развернул большой лист конторской бумаги и стал читать написанное размашистым почерком послание:

«Глубокоуважаемый Алексей Дмитриевич!

Давненько мы с вами не встречались, и вы, может быть, забыли обо мне, тем более, что я и в печати не часто о себе напоминаю за последние годы. Теперь начала писать, но не для театра. Сильно сожалею об этом, очень бы хотелось опять, как принято говорить, войти в тесный контакт с вашим театром. Не забывайте все-таки меня. Рада случаю хорошо о себе напомнить советом — не упустить хорошую пьесу. Я уверена, что театру она должна доставить не только успех, но и новую подлинную заслугу. Пьеса Н. Ф. Погодина называется «Темп», она в пятилетке, но не халтура. Прекрасные массовые сцены, большая убедительность, живой диалог, хороший язык заставили меня позавидовать автору. Помоему, в интересах обеих сторон — драматурга и театра, она должна идти впервые у вас. Я убедила Николая Федоровича не оставлять ее МХАТу, а предложить вам. Если он меня послушает, то передаст это письмо вам. Во всяком случае, я пишу его с искренним желанием добра вашему театру... Передайте от меня привет всем, кто помнит меня, кто помнит нашу встречу в вашем театре. Искренне уважающая вас Л. Сейфуллина.

Р. S. В тоске по вахтанговцам я все же написала три картины не то драмы, не то комедии, и уверяю вас — недурно написала. Но дальше дело не пошло. Искренне жалею».

По письму Лидии Николаевны я уже понимал, что пьеса заслуживает внимания. В тот же вечер я ее прочел, а на следующий день сообщил руководству студии о том, что появился новый, свежий драматург, очеркист «Правды» Н. Погодин. Пьеса хотя и сырая и шершавая, но опять, как и «Виринея», это наша «новь», только теперь уже — зарница первой пятилетки.

Как известно, за «Темпом» последовали пьесы «Поэма о топоре», «После бала» и «Мой друг», которые и сделали Н. Ф. Погодина одним из первых певцов наших индустриальных пятилеток. А за этими пьесами следовали «Человек с ружьем», «Кремлевские куранты» и «Третья патетическая».

Письмо Лидии Николаевны великолепно характеризует ее как человека отзывчивого, морально чистого, бескорыстного и принципиального, который с радостью отзывается на появление в литературе молодого и свежего дарования.

Такой и осталась в моей памяти Л. Н. Сейфулина.



Ю р и й Л и б е д и н с к и й

ЗРЯЧАЯ ЛЮБОВЬ

I

Казалось, что то было время, для расцвета «изящных искусств» никак не приспособленное. Улицы городов — и не только уездных и губернских, но также Москвы и Петрограда — были завалены снегом, в учреждениях вешалки стояли пустые, так как здания не отапливались и ни служащим, ни посетителям не приходило в голову снимать верхнюю одежду. Никаких поездов, кроме эшелонов товарных теплушек, которые или везли хлеб из Сибири в столицу, или под краткими и грозными лозунгами: «Бей Врангеля!», «Долой польских панов!» — тянулись на фронт, — не было. Паяк выдавали не хлебом и даже не всегда мукой, а зерном, а то иногда и жмыхами. Старики рабочие бродили по замерзшим цехам, прикидывая на глазок, что требуется для того, чтобы вдохнуть жизнь в этих гигантов индустрии, и поджидали заводскую молодежь, которая, надев красноармейские шинели и опоясавшись ремнями, вся была на фронте.

По Украине и Сибири полыхали кулацкие восстания, и на стенах домов и заборов взор прохожего упирался в увеличенное изображение отвратительного насекомого. Ее, сыпнотифозную вошь, в то время изображали лучшие художники, и лучший

поэт Республики Маяковский в звучных и крепко сложенных стихах призывал бороться с ней.

И у нас, в Челябинске, молодой доктор Фрид тоже в стихах изложил концепцию борьбы с вошью. Стихи эти, сопровождавшиеся незамысловатыми рисунками, были изданы в нашем городе и, нужно думать, принесли по тем временам немало пользы.

Да, несмотря на тяжелое и скудное время, искусство существовало. До сих пор мы с восхищением рассматриваем и изучаем замечательные плакаты тех лет, — но ведь не было, наверное, такого города, где бы свои собственные художники не писали бы, — если не было краски, то печной сажей, — самодельных плакатов, призывающих к новой жизни.

Особенно же расцвело в то время искусство театральное. Для него не требовалось ни красок, ни бумаги, а пьесы того времени — агитсуды — сочинялись в политотделах. Для изображения «капитала» нужно было только, чтобы один из нас, политработников, напялил реквизированную у местного денежного туза шубу, у ног его клали мешок, набитый чем попало, к которому приклеивалась бумажка с изображением единицы, сопровождаемой чудовищным количеством нулей. На воображение эти нули, нужно признаться, действовали мало, — тогдашняя валюта вся состояла из таких же, все падающих в цене бумажек, с бесчисленным количеством нулей, и даже находились теоретики, которые говорили: «Ну и слава богу, рубль летит в пропасть, туда ему и дорога! Все равно мы перейдем на социалистический товарооборот, посредством трудовых бон...» Над этими «трудовыми бонами» мы, коммунистическая молодежь того времени, сильно ломали голову и немало спорили о них.

Фантазеров тогда было множество. Одни, например, предлагали изобразить некое «массовое действие», для чего нужно было мобилизовать весь гарнизон города. Ночью, под тревожный набат, в город должны были со всех концов, при свете факелов и заранее прорепетированных криках, войти воинские

части с плакатами, на которых значились лозунги с восхвалением великих революционеров прошлого: «Честь Робеспьеру, Марату слава!...»

Что вместе с этим шествием в город могли прорваться также и белобандитские шайки, ходившие в окрестных лесах, об этом вдохновенные авторы «действия» как-то не подумали.

Но в нетопленных театральных залах и кинематографах происходили лекции и диспуты, в невиданно широких масштабах осуществлялась ликвидация неграмотности, вся Красная Армия стала огромной школой политического образования, для детей ставились спектакли. Пьесы сочинялись тут же, устраивались конкурсы на лучшую пьесу, причем премии выдавались зерном и подсолнечным маслом.

Такая импровизированная пьеса, инсценировка известной сказки «Мальчик с пальчик», была поставлена, если мне не изменяет память, в связи со встречей Нового, 1921 года.

Детей было множество. Большой зал Народного дома в Челябинске, наверное, никогда не занимала столь крикливая, восторженная аудитория, — это были дети городской бедноты, пришедшие из привокзального поселка Порт-Артур, из хибарок заречной стороны. Советская власть работала впрок, с далеким политическим расчетом: сколько будущих энтузиастов строителей первой и второй пятилетки сидело в этом нетопленном зале и с замиранием сердца следило за смелыми похождениями отважного малютки, который то выручал своих неуклюжих, огромных братьев, роли которых исполняли самые рослые актеры, то спасал своих престарелых отца и мать, то ловко обманывал хитрую бабу-ягу... Но откуда достали такого мальчика, который действительно ростом был вполне под стать аудитории, прыгал как мячик? Голос у мальчика звонкий, а глаза необыкновенные — огромные, добрые, умные, они так и летали по аудитории, словно освещая ее... В этой маленькой и ловкой, худощавой фигурке, казалось бы, не было ничего женского, — мальчишка, и все тут. Но глаза выдавали, и не трудно было догадаться, что

роль «мальчика с пальчик» играет талантливая актриса.

Это вовсе не была профессиональная актриса, это была молоденькая учительница — Лидия Николаевна Сейфуллина.

II

Познакомиться на родине нам так и не пришлось, хотя Лидия Николаевна знала отца моего, была знакома и с моей матерью. Но вскоре она уехала в Новониколаевск, где создавался журнал «Сибирские огни». О том, как это произошло, Л. Н. Сейфуллина рассказала в своих чудесных, посвященных этому времени, воспоминаниях.

Встретились мы уже в Москве. Кто будет заниматься историей возникновения советской художественной прозы, никак не сможет уйти от рассмотрения творчества Сейфуллиной. Перечтите такие ее вещи, как «Правонарушители», «Пережной», «Виринея», «Александр Македонский», и вы почувствуете, как и чем жило крестьянство в начале революции, вы увидите нарисованного без прикрас, и потому особенно привлекательного в своей героической простоте, русского коммуниста, на плечи которого история возложила нелегкую ношу — быть представителем пролетарской диктатуры и вести за собой огромную, мелкокрестьянскую страну.

Голос Сейфуллиной — это особенный голос, он выделяется среди той пестрой разноголосицы, которая была свойственна литературе двадцатых годов. Причина этой пестроты и разноголосицы заключалась не только в разнообразии личных судеб и индивидуальностей писателей, — в ней находила выражение вся наша только что пережившая грандиозный революционный сдвиг страна, со всеми ее классами и остатками классов, со всеми ее начинающими по-новому жить социальными группами.

Лидия Николаевна Сейфуллина была представителем той наиболее демократической прослойки ин-

теллигенции, которая, живя одной жизнью с народом, с первых же шагов Советской власти отнеслась доброжелательно к этой возникшей из недр трудового народа, рожденной революцией власти, — эти чувства пронизывают все ее произведения, их принесла она в литературу. На совещании внешкольных работников в 1920 году она слышала Ленина, и ее рассказ об этом нужно изучать в школе. Страницы ее воспоминаний о возникновении журнала «Сибирские огни» полно и жарко передают нам атмосферу тех лет, когда энтузиасты советской культуры с помощью старшего поколения партийных литераторов, таких, как Емельян Ярославский, закладывали основы советской культуры.

Редактор «Красной нови» А. К. Воронский заметил первые произведения Л. Н. Сейфуллиной, еще когда они появились в «Сибирских огнях». Лидия Николаевна стала сотрудничать в «Красной нови», переехала в Москву. Здесь-то и завязалось наше знакомство, она сама отыскала меня.

Я пришел в ее маленькую квартиру, которую я запомнил как воплощение уюта. Никогда я не забуду, с какой мягкой ласковостью она и муж ее, Валерьян Правдухин, отнеслись ко мне и как к земляку, и как к человеку, близкому по направлению своего творчества. А. К. Воронский в одной из своих статей упомянул нас рядом.

— Мы вместе, под руку, пришли в литературу, об этом нам забывать никогда нельзя... — ласково говорила она, и как дружелюбны были ее огромные глаза, так шедшие к ее круглому, темно-смуглому лицу. Сейчас она совсем не походила на «мальчика с пальчик», наоборот, вся ее прелестная женственность нашла выражение в округлости ее небольшой фигурки, в чудесном смехе и даже в манере курить. Я не раз потом бывал в этой квартире, — мы много говорили, много спорили, но и во многом сходились.

Л. Н. Сейфуллина с уважением относилась к А. К. Воронскому, который начал осуществлять собирание советской литературы. Но Лидии Николаевне

было свойственно отвращение ко всякой упадочной гнили, эпигонской декадентщине, которой отдавали в то время дань некоторые, даже даровитые писатели. Воронский склонен был к этим чертам относиться снисходительно, рассматривая их как проявление подлинного искусства, как отражение действительности в литературе, что несколько отталкивало Л. Н. Сейфуллину от А. К. Воронского.

В сфере литературных вкусов нам нетрудно было сговориться друг с другом, и в скором времени Лидия Николаевна стала работать в отделе прозы журнала «Молодая гвардия», где уже работал я. Она скоро дружески, на «ты», сошлась со всеми нами — со мной, с Артемом Веселым, с появившимися в то время молодыми поэтами — Светловым, Голодным и Ясным.

Эта партийно-комсомольская среда была ее средой, она здесь все любила и понимала. Задача объединения коммунистических сил в литературе, которую ставил себе журнал, была ей, хотя и формально беспартийной, близка так же, как если бы Лидия Николаевна состояла в партии. Для характеристики направления деятельности Л. Н. Сейфуллиной достаточно сказать, что «Разлив» — первая повесть А. Фадеева — был прочитан Л. Н. Сейфуллиной и получил положительный отзыв.

Но одновременно журнал «Молодая гвардия» был одним из центров «напостовства», направления, которое, критикуя Воронского, вдалось в другую ошибку — левачество, комчванство, заушательски-пренебрежительное отношение к творчеству талантливых беспартийных писателей («попутчиков», как их тогда называли), в упрощенчество и вульгаризаторство в вопросах литературы.

Лидия Николаевна в прямой и резкой форме — всегда дружески — критиковала нас и в скором времени из журнала «Молодая гвардия» ушла...

Она переехала в Ленинград, и я на некоторое время потерял ее из виду. •

Встречи наши возобновились уже в Ленинграде, и одна из этих встреч особенно запомнилась мне по тому характеру, который она имела.

Это было в 1928 году, когда два писателя выступили с произведениями, проникнутыми антикоммунистическими тенденциями, — Б. Пильняк опубликовал «Красное дерево» и Е. Замятин — роман «Мы».

Л. Н. Сейфуллина прочла «Мы» Замятина и в разговоре, который произошел на ее ленинградской квартире, на улице Халтурина, резко критиковала этот роман.

— Что особенно отвратительно мне в этом произведении, это высокомерное барство! — говорила она. — Рисовать народ, наш народ, поднявшийся до высокой степени революционного сознания, как быдло, как скотину, конечно, это свидетельствует о чванстве. Теперь понятно, почему Замятин в свое время ушел из Коммунистической партии. Такому барину в ней попросту не место!

— У нас состоится вскоре конференция Ленинградской ассоциации пролетарских писателей, — сказал я. — Раз ты так думаешь, выступи у нас и скажи о своем отношении к роману Замятина.

Лидия Николаевна нахмурилась, задумалась. Она относилась критически к руководству РАППа и к линии журнала «На литературном посту», и хотя мы с ней сохранили неизменную дружбу, но споры наши по этим вопросам порою приобретали довольно острый характер.

— Что ж, я выступлю... — сказала Лидия Николаевна. — И скажу все, что я думаю о Замятине. Но и о вас тоже скажу. Потому что вы — варвары. Ваши представления об искусстве примитивны и вредны. Но при всем том, литературная молодежь, которую вы собираете в вашей организации, это люди, наиболее мне близкие в литературе. Выступлю, потому что считаю, что настроения высокомерия по отношению к советскому народу, барского пренебрежения к нему еще достаточно сильно распространены в нашей

литературной среде. А именно эти настроения и являются источником такого рода произведений, как «Мы» Замятина.

И она выступила так, как себе наметила, — помню ее небольшую, словно игрушечную фигурку на трибуне в чинном зале Мариинского дворца, где происходила наша конференция ЛАППа. Она изложила свое мнение о романе Замятина, опубликованном за границей в белогвардейской прессе, и резко осудила его. Но при этом, конечно, и нам, «налитпостовцам», изрядно попало.

Да, «барство», «барин» — всегда было для Л. Н. Сейфуллиной ругательным словом. Она выросла в нужде и лишениях, это тяжелое детство, трудная трудовая молодость навсегда сохранились в ее душе как первооснова ее, и она гордилась этой первоосновой и во всех своих действиях всегда исходила из интересов народа и стремления быть с ним. Она с охотой шла на предприятия Ленинграда, участвовала в культурно-массовой работе, рабочие знали и любили ее.

Движимая пафосом пятилетки, Лидия Николаевна пошла работать на завод «Красный треугольник» в Ленинграде, встала к станку. И хотя ей физически было очень трудно, она с честью выполняла эту задачу, и любопытный очерк ее «Письма к родне» остался свидетельством этого важного этапа жизни и деятельности Л. Н. Сейфуллиной.

Она писала о себе — и скромно, и с величайшей ответственностью: «Являясь хотя бы малозначительным представителем культуры класса, утверждающего законы в нашей стране, я себя считаю пролетарской писательницей, хотя и числюсь в попутчиках. Никакие внутренние разногласия в сфере самой литературы *не заставят меня считать себя безответственной* (подчеркнуто мною. — Ю. Л.) не только за советскую литературу, но и за политический строй страны, гражданство которой я приняла».

Да, Лидия Николаевна стала советской гражданкой не потому, что оказалась на территории, охвачен-

ной советской революцией, она сознательно приняла это гражданство, и так сознательно и ответственно она прожила всю свою жизнь.

Ее положение было нелегкое. Признавая себя пролетарской писательницей и высказывая в творчестве идеи пролетариата, «утверждающего законы в нашей стране», поддерживая постоянную дружбу с пролетарскими писателями, она всегда критически относилась к РАППу и не вступала в нашу организацию. Будучи формально беспартийной, она вела себя, как коммунистка, и некоторые писатели, для которых «беспартийность» была формой ограждения себя от партии, порою косились на нее. Но сбить эту маленькую женщину с позиции, занятой ею, было невозможно.

Потому мало кто в литературной среде оказался в такой степени подготовленным к принятию постановления партии о ликвидации РАППа, — после этого постановления Л. Н. Сейфуллина стала одним из активных борцов за сплочение нашей литературы, за социалистическое единство ее, о чем можно судить по ее выступлениям на Первом Всесоюзном съезде писателей и после съезда.

Лидия Николаевна всегда близка была партии, о чем говорят ее произведения. Не будучи формально членом партии, Лидия Николаевна вела себя, как член партии, и об этом свидетельствуют ее записные книжки, дневниковые записи и стенограммы ее выступлений, особенно за время войны.

Зимой 1941—1942 года мы собрались праздновать двадцатилетие литературной деятельности Лидии Николаевны. Я работал в то время в газете «Красный воин» Московского военного округа и был на казарменном положении, потому долгое время до этого не был в нашем Доме литераторов.

Сурово выглядели заиндевевшие стены большого, погруженного в тьму зала. Почти все московские писатели были в эвакуации, а те, что пришли на юбилей, были, как и я, в солдатских шинелях.

Мы собрались в углу зала, у горевшего камина, куда по мере надобности подбрасывали дрова, и при

вспышках огня видны становились наши торжественные и сосредоточенные лица.

Мне запомнилось прочувствованное слово Емельяна Ярославского, старого друга Лидии Николаевны еще по Сибири, так много сделавшего для политического роста писательницы. Немного нас было, но каждый сказал хоть несколько слов, и в те дни, когда немцы еще находились на подступах к Москве, каждое слово звучало весомо, крепко. В лице Л. Н. Сейфуллиной мы чествовали писателя, борца, неоднократно выступавшего против фашизма с международной трибуны, писательницу, советскую патриотку, одной из первых сказавшую правдивое слово о советском строе, о революционном народе и его интеллигенции и на всю жизнь оставшуюся верной этому слову.

IV

Бывало, что мы не виделись месяцами, годами... Но я знал, что в тяжелый момент Лидия Николаевна сама, без зова, позвонит, скажет слово одобрения, участия. Случалось, и она обращалась ко мне — обычно за советом. Ее порою ставили в тупик самые незамысловатые житейские обстоятельства — просроченный договор, запутанные отношения с издательством. Мне всегда было дорого это доверие. Я не могу похвастать практическим здравым смыслом, но Лидия Николаевна всегда говорила:

— Я знаю, ты все по правде скажешь...

И я давал ей советы, как быть, когда пьеса, уже принятая театром, самой не нравится, или как отчитаться в творческой командировке, из которой не удалось ничего привезти.

Вскоре после войны я зашел как-то к ней на дачу. Что-то изменилось за последние годы в обстановке ее жилья, оно утратило былую уютность, похоже было, что здесь в аккуратности и чистоте живет занятый своими строгими мыслями юноша.

— Над чем ты работаешь, Лида? — спросил я ее.

Она ответила грустным и насмешливым взглядом своих незабываемых глаз.

— Ты хочешь спросить о другом, почему я так прочно исчезла с книжных витрин? — сказала она, безбоязненно вскрывая корень той глубокой тревоги, которую я чувствовал в ней, и выразив ее гораздо более остро, чем я хотел бы выразить.

— Пожалуй, речь можно вести только о витринах книжных магазинов. На библиотечных книжных полках ты угнездилась прочно, навсегда... — ответил я.

Она, улыбаясь, кивнула, задумалась.

— Нам всем, нашему поколению, легко было начинать, — сказала она. — Мы чудовищно много нового принесли в литературу и рассказали об этом, ни о чем не задумываясь, как бог на душу положит. Ведь верно? Знаешь, — оживленно говорила она, — не похвали меня Феокист Березовский за газетный фельетон, так я бы, пожалуй, «Четыре главы» — свою первую повесть — не взялась писать. А по этой повести мой голос впервые слышали читатели. А «Правонарушители»? Ведь это написано сразу на-бело, в тексте попадаются такие выражения: «Трех девчонок отобрал и два мальчишки»... Что за тарбарщина? А сейчас сгоряча поставишь восклицательный знак, а через час прочтешь и вычеркнешь, да еще подумаешь, чем его заменить: точкой или запятой...

Все эти вопросы борьбы за повышение мастерства нашей литературы, которых она отрывочно и полусутя коснулась в разговоре со мной, были постоянным предметом ее размышлений и бесед. Сейчас, когда после смерти Л. Н. Сейфуллиной вышли из-под спуда все ее скрытые в дневниках и записных книжках мысли и когда мы можем сопоставить их с ее уже опубликованными статьями, вся душа писательницы предстала перед нами в ее правдивой и строгой красоте.

Это была счастливая жизнь. Лидия Николаевна так о себе пишет: «Я самая счастливая из писателей старшего поколения». И в одной из своих записей

она объясняет источник своего счастья, раскрывает самое сокровенное, то, что человек обычно не говорит, даже не вследствие скромности или отсутствия правдивости, а потому, что не всякому суждено подняться до философского и морального осмысливания себя, своего жизненного пути.

«В молодости человек часто надеется на то, что сбыться не может. Даже не сбывшись, благодетельны эти надежды. Они помогают молодому существу сопротивляться унынию в самой унылой житейской обстановке.

С годами слабеют эти надежды и остаются в человеческой памяти лишь как воспоминания о многих несбыточных желаниях дерзкой юности. Когда для меня самой мои молодые надежды становились уже таким безнадежным воспоминанием, их осуществила Октябрьская революция. Она для меня явилась, как второе рождение в мире.

Я увидела, как в глухом бездорожье царской российской провинции, удаленной от больших городов и железнодорожных путей, пролегли и шоссейные, и железные дороги, как вскрылись богатые недра родных мне, печально-пустынных Оренбургских степей, как из сел, деревень, одиноких маленьких хуторов, отрезанных от мира науки, искусства, творческой мысли, пролегла широкая дорога в этот светлый мир знания, высокой советской морали, пробужденной русской души».

Для Л. Н. Сейфуллиной дело служения нашему читателю, вызванному к культурной жизни Октябрьской революцией, было священным делом. И в этом источник строгого и ответственного отношения ее к литературе. Она пишет:

«С этим читателем нельзя сюсюкать, пришепетывать, как с ребенком, нельзя безответственно болтать. Ему надо сказать, сказать свое писательское слово, которое взволновало бы новой мыслью, осветило бы жизнь особым проникновением, глубоко взволновало бы или вызвало здоровый смех, иронию, негодование, радость, вызвало бы интерес к тому, о чем рассказывает писатель».

И она требует:

«Необходимо любить ответственно — трудной, зрячей любовью: лишь она дает умение парить над объектом».

Эта способность «парить над объектом», к которой себя приучила писательница, постоянная, страстная озабоченность делом литературы привели к тому, что отдельные высказывания Лидии Николаевны Сейфуллиной по своей яркости, афористичности и верности могли бы составить памятку молодого писателя.

Она пишет:

«Это страшно, когда в жизни, такой в сущности короткой, художник создает банальности».

«Область искусства — единственная область труда, где не должны быть очевидны мозоли этого труда».

«Всякая талантливость, не знающая дисциплины труда, в наши дни обречена на гибель».

«Как бы ни была прекрасна проза, язык взволнованной души — это поэзия. Мне не дано писать стихи, но я умею их читать, и поэтому не завидую, а радуюсь, что в природе есть такой язык».

Можно было бы цитировать без конца, из высказываний Л. Н. Сейфуллиной составилась бы целый том, эпиграфом к которому можно было бы взять одну из ее дневниковых записей: «Моя творческая перспектива — упрямая работа и строгость к себе».

И нетрудно проследить по ее же записям, с какой четкостью и последовательностью прилагала она к своей работе это правило, ставшее девизом ее жизни.

«В 1931 году написала я пьесу «Попутчики». Изображала она страдания некоего писателя из-за того, что не может он сразу без борьбы, без внутренней ломки, осознать и принять индустриализацию страны, жесткий ритм начала первой пятилетки и т. д. К тому же герой моей пьесы хочет уйти к любимой девушке от «разлюбленной» жены и опять не может из-за ребенка и властного характера этой жены. Пьеса эта

напечатана. Не является она ни «контрреволюционной», ни злопыхательской. *Она вредна потому, что плохо написана* (подчеркнуто мною. — Ю. Л.). Каждый может истолковать ее по своему разумению. В основу положен мелкий факт: сомнения и победа над ними одного индивидуума, не типичного даже для своей писательской среды. Художественный театр этой пьесы не принял, театр бывший Корша поставил. Начало пьесы публика приняла горячо, постепенно охладевала, конец встречала явным недоумением. Я обвиняла режиссера, актеров, только не себя. В том же году австрийское общество культурной связи с СССР вызвало меня для литературных выступлений в Вене. Там в газете «Нейе Фрейе Прессе» прочитала я похвальный отзыв о себе, как о писательнице. В частности, особенно хвалили мою новую пьесу «Попутчики», вкратце излагая ее содержание. Предполагались переговоры о постановке этой пьесы на немецком языке в Вене, в Бург-театре. Но, прочитав рецензию, ни в какие переговоры я не вступила, даже ни одного репортера не приняла, уехала из Вены, публично выступив лишь в нашем полпредстве и Обществе сближения Австрии с СССР. Я поняла, как может написанное плохо произведение ударить автора не только по загривку, но и по душе. В рецензии австрийской газеты пьесу хвалили за то, что ее дурно приняла «официальная» (?) Москва. По возвращении домой я перечитала свое произведение «Попутчики» уже не субъективно, а объективно. Я увидела, что это — мой писательский брак. Нельзя, взявшись за изображение явлений большого масштаба, поставить в фокусе мелочь, маленькую единичную судьбу, не характерную для всей картины...»

Ответ этот недвусмыслен. В другой своей записи Л. Н. Сейфуллина упоминает о том, что повесть «Страна» уже была готова для сдачи в журнал, а когда она ее просмотрела еще раз, то от этих шести глав осталась только одна.

По дневниковым записям, процитированным выше, — из них многие опубликованы были только

после смерти Л. Н. Сейфуллиной — видно, что до последних дней она жила одной жизнью с народом, мало того, можно сказать, пользуясь ее же выражением, что ее любовь к народу, к революции, к советскому строю становилась все более зрячей. Но в связи с этим росла строгость к себе, чувство ответственности за каждое слово.

У

Бывало, придешь на какое-либо заседание в Союз писателей. Заседание как заседание, здороваешься с товарищами, выбираешь место, где сесть, и вдруг чувствуешь, что всего тебя словно облило теплым, ласкающим светом. Это Лидия Николаевна улыбается откуда-то издали. И это такой взгляд и такая улыбка, что после ее смерти первая моя мысль об утрате, точнее о физическом ощущении этой утраты, относилась к тому, что никогда уже не согреет меня взгляд этих больших, весело и ласково умных глаз.

Л. Н. Сейфуллина с охотой отдавала свои силы работе в Союзе писателей. Ее присутствие придавало серьезность любому заседанию, чувствовалось, что она присутствует на нем не из каких других соображений, кроме единственного — помочь делу литературы.

Всегда прямая и правдивая в своих высказываниях, прямая до резкости, она никогда не скатывалась до анархизма и нигилизма. Критикуя практическую деятельность того или иного редактора, она никогда не впадала в отрицание необходимости самого института редактуры. Сохранилась ее запись, где она говорит:

«Институт редакторов нужно сделать творческой организацией».

Она иронизирует над теми писателями, которые даже «корректуру своих произведений не прочь возложить на Политбюро», или о тех, кто «на семна-

дцатом году революции заявляет о том, что признает Советскую власть».

Она высмеивала критиков «по инерции». Жуют хвалу все тем же и о тех же авторах из первого десятка. А между тем молодые люди пишут в неизвестности нужные нашему молодому обществу произведения. И она поставила своей общественной задачей встречать молодого писателя еще «на подходе», еще до того, как он стал известен. Она сказала первое теплое слово таким в будущем хорошим и разным талантливым писателям, как С. Сартаков, Г. Марков, В. Тендряков, В. Закруткин, Ю. Капусто, Г. Гулиа, А. Коптелов, О. Маркова, Ю. Шестакова, Е. Мальцев, — я составил этот список, просмотрев произведения Л. Н. Сейфуллиной уже после ее смерти, — и ведь в творчестве каждого из молодых писателей отмечено ею то особенное, что свойственно именно этому писателю, и подчеркнуты черты советского социалистического реализма, новаторства.

«Я не берусь защищать марксизм, — пишет Л. Н. Сейфуллина в одной из дневниковых записей 1934 года. — Это мне и не по рангу и не по плечу.

Но я могу, и я чувствую за собой право защищать социалистический реализм, и мне не стыдно, что слово «символизм» для меня страшно». И далее она добавляет: «...для литераторов, рожденных Советской Россией, есть слова, с которыми невольно ассоциируется сопротивление понятию «социалистическая правда». Одно из таких слов — «символизм»...»

Людам из-за границы, которые по тем или иным причинам ощутили интерес к советской жизни, а порою и некоторым представителям нашей молодежи, может быть, даже искренне кажется, что понятие «социалистический реализм» выдуманно чуть ли не в порядке бюрократического постановления и спущено вниз, писателям. А между тем понятие это рождено самой жизнью литературы, всем ходом страстной борьбы за социалистическую литературу. Это было наилучшее выражение той «социалистической

правды», за которую боролись такие писатели, как Л. Н. Сейфуллина. А когда борешься за новое, отрицаешь старое.

И Лидия Николаевна Сейфуллина боролась. В том спектакле «Мальчик с пальчик», о котором я здесь вспоминал, был момент, когда отважный крошка, обувшись в сапоги-скороходы, схватив за руку одного из своих неповоротливых и огромных братьев, потащил за собой всю их вереницу — вперед, вперед, вперед...

Запомним такой Лидию Сейфуллину, она такой была.

А. Есенина

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ДРУЖБА

Первая встреча с Лидией Николаевной состоялась у нас дома в Брюсовском переулке в 1925 году.

В феврале Сергей приехал с Кавказа, и к нам стали часто приходить его друзья и знакомые. В один из мартовских вечеров среди его гостей я увидела Лидию Николаевну.

Мне было четырнадцать лет, я первый год жила в Москве. Среди взрослых, мало знакомых мне людей я всегда очень стеснялась, редко разговаривала с ними, обычно отвечала только на вопросы, но ко всему, что происходило вокруг, внимательно присматривалась.

По тому, как вел себя и разговаривал с Лидией Николаевной Сергей, я поняла, что он относится к ней с большим уважением и вниманием.

При взгляде на Лидию Николаевну меня поразили ее большие, круглые, удивительно живые глаза и очень маленькие красивые руки.

Обычно, когда к нам приходили гости, брат заставлял нас с Катей петь. Мы с ней в то время довольно слаженно и неплохо пели русские народные песни. Ему очень нравилось наше пение, и он, видимо, считал, что и другим оно доставляло удовольствие.

Разные люди бывали у нас и по-разному относились они к нашему пению. Одни, охваченные знако-

мой или приятной мелодией, подпевали нам, другие сидели с безучастными лицами, третьи молчали, но чувствовалось, что они переживают песню вместе с нами, что она им близка и понятна. Именно такой слушательницей и была Лидия Николаевна. Она молча сидела, положив свои маленькие руки на стол, и по ее глазам, по всему ее виду чувствовалось, что она поет про себя вместе с нами.

Лидия Николаевна действительно очень любила русские народные песни, но в тот вечер я не могла предположить, что за долгие годы нашего знакомства мне доведется пропеть их ей очень, очень много.

После этого вечера я долго не встречалась с Лидией Николаевной.

Тесная дружба у нас завязалась лишь в тридцатых годах, когда я была уже замужем.

Трудно сказать, что крепило нашу многолетнюю дружбу, по возрасту Лидия Николаевна была значительно старше меня, но другом она для меня была таким, каких в жизни встречаешь редко.

Я любила ее за большой ум, талант, прямолинейный характер, за чуткость и необыкновенную доброту.

Она часто помогала мне разобраться в трудных житейских вопросах, порой по-матерински журила нас с мужем за нашу непрактичность и доверчивость. С большой охотой мы приходили к ней по первому ее зову. И она также никогда не отказывалась от наших приглашений, упорно преодолевая семь этажей нашего дома в Брюсовском переулке в тех нередких случаях, когда не работал лифт.

Лидия Николаевна была изумительной рассказчицей. Необыкновенно владея мимикой, она артистически передавала какую-нибудь историю, пленяя слушателей тонким юмором и богатством фантазии. Любили мы также слушать, как она читала стихи. Из стихов брата чаще всего Лидия Николаевна читала:

Все живое особой метой
Отмечается с ранних пор.

Это было ее любимое стихотворение. Читала она его с большим чувством, всегда стоя, как-то по-мальчишески азартно сжимая свои маленькие кулачки. Еще охотно читала: «Не жалею, не зову, не плачу...»

Нас она чаще всего просила спеть ей песню на слова Сергея: «Есть одна хорошая песня у соловушки...»

Когда Лидия Николаевна получила дачу в Переделкине, мы с мужем часто под выходной день приезжали к ней.

Ее двухэтажная, крытая дранкой дача была самой крайней в городке писателей, у быстрого, прозрачного ручья, заросшего ивняком и черемухой. Из этих зарослей весенними, теплыми ночами раздавались посвисты и щелканье соловья.

Вспоминается вечер, когда мы впервые услышали соловьиную песню. Перед сном мы решили посидеть на ступеньках открытой веранды. Лунный вечер был так хорош, что не хотелось даже думать о сне. Вокруг тишина. На деревьях не шелохнется ни один листик. Лишь неугомонные лягушки азартно квакают в пруду и как-то по-особенному, даже музыкально, урчат. И вдруг... негромкое, но отчетливое и короткое щелканье соловья. Мы так были поражены этими звуками, что, когда, щелкнув несколько раз, соловей умолк, мы решили — это что-то другое.

Но это «что-то» снова защелкало, и полилась чудесная песня.

Как замороженные сидели мы, а песня лилась и неудержимо манила к себе. Наконец мы не выдержали и решили пойти поближе к ручью.

— Ребята! Куда вы отправились, — окликнула нас Лидия Николаевна.

Она стояла у раскрытого окна своей комнаты на втором этаже.

— Хотим соловья послушать поближе.

— Ну вот чего выдумали. Смотрите, какая роса. Сыро. Идите-ка лучше сюда, ко мне.

И, повинувшись старшей, мы нехотя побрели на зов.

Очень жаль было упустить случай послушать соловьиную песню.

Перегнувшись через лестничные перила, Лидия Николаевна говорила:

— Здесь слышно не хуже, и ноги не промочите. Идите на веранду, а я погашу свет, и будем вместе слушать.

Недоверчиво пошли мы на веранду. Но вскоре убедились, что Лидия Николаевна была права.

Пристроившись у раскрытых окон, мы долго просидели той ночью. Изредка, боясь нарушить ночное безмолвие, перебрасывались полусшепотом короткими фразами.

Уже далеко за полночь Лидия Николаевна говорила:

— Что-то больно хорошо поет соловей сегодня. Я слушаю его уже несколько дней, но пел он хуже. Это он, видно, для вас старается. — И тут же шутливо добавила: — А может, это другой. Уж не из Курска ли прилетел. Но все же вам пора спать. А то не выспитесь. Утром вам не дадут спать другие соловьи — ребята. А этого мы еще не раз услышим.

И действительно, с этой веранды не один раз и даже не один год мы слушали чудесное соловьиное пение...

Однажды поздно осенью, гуляя с мужем в дальней части участка, заросшего густым лесом, мы заметили два маленьких жиденьких клена. В тенистом участке им было трудно расти. Сиротливо трепетали на них несколько еще не опавших багряных листиков.

Клены... Любимое дерево Сергея. Как часто воспевал он его в своих стихах.

А не пересадить ли их в другое место, более светлое? Мы пошли с этим предложением к Лидии Николаевне.

— Это очень хорошо, просто замечательно! Знаете что, ребята, пересадите их вот к этой террасе. Здесь целый день жарит солнце. А когда саженцы вырастут, будет очень хорошо сидеть в тени кленов.

Мы тут же пересадили кленики на указанное Лидией Николаевной место.

Выкапывая в лесу клены, мы выкопали заодно и маленькую, стройную березку. Ее мы посадили на границе участка и дачи Афиногенова, в уголке у входа в ворота дачи.

Оказавшись на просторе, на солнце, наши саженцы стали быстро расти и спустя несколько лет превратились в красивые густые деревья.

Приглашая нас на дачу, Лидия Николаевна говорила:

— Ну, приезжайте, ребята, посмотрите, какими стали ваши клены.

Вспоминается еще встреча Нового года. Одно время Лидия Николаевна жила на даче и зимой. Тогда же мы познакомились, подружились и часто встречались с ее племянницей Милочкой, студенткой медицинского института.

Приближался Новый год. После долгих лет перерыва детям снова стали организовывать новогодние елки. В магазинах появились елочные украшения. Мы были молоды, и нас эта елочная волна тоже захватила.

Примерно за неделю до Нового года нам позвонила Мила:

— Вы где встречаете Новый год?

— Еще не знаем.

— Поедьте к тете Лиде. В Москву она приезжать не хочет, а нам, я уверена, будет хорошо там. Пригласим Шухова, можно пригласить еще кого-нибудь. Поехали?

Мы охотно согласились, а насчет елки договорились, что купим электрических лампочек, шнур и в новогоднюю ночь осветим большую ель, стоящую перед окном в лесу, прилегающем к даче.

Эта идея нам показалась интересной, но оказалась невыполнимой. Нужно было купить много провода, лампочек, заплатить за проводку электричества, а ни у кого из нас не было денег. Ладно, решили мы, в полночь выйдем и попрыгаем у незажженной елки.

Включим свет в коридоре, наверху, и около елки будет светло.

Накупив на скорую руку закуски и сладостей, мы отправились в путь.

Морозный, тихий вечер. Деревья, как мишурой, украшены инеем. На темном вечернем небе рассыпаны миллионы ярких, мерцающих звезд. Под ногами скрипит сухой, сыпучий снег. И после мороза на улице особенно приятно было войти в светлые, просторные, хорошо натопленные комнаты.

Приехали мы довольно поздно, и Лидия Николаевна, встречая нас, говорила:

— А я уж решила, что вы не приедете. Вот, думаю, накрыла стол чистой скатертью, а придется мне самой сидеть за пустым столом. Да и как будешь одна-то встречать. Тоскливо.

— Ну что ты, тетя Лида, как же бы не приехали? Мы задержались в магазине. Мы ведь знали, что ты нас ждешь.

Мы быстро вынули наши покупки, расставили посуду и пригласили всех к столу.

Не было тогда за нашим столом ни хрустальных рюмок, ни красивого сервиза, ни обильных яств. Все было очень скромно, по-студенчески.

Но, несмотря на скромное угощение и маленькую компанию, за этим столом было столько шуток, смеха, песен, что, вероятно, многие, сидящие за пышными столами, позавидовали бы нашему веселью.

Чуть не до утра распевали мы песни, то наши рязанские:

Прощай, жизнь, радость моя,
Слышу — едешь от меня...

то песни Шухова — казачьи —

Ты скажи, скажи, сестра,
Чей там голос до утра,
Чей там голос ночью раздается...

Конечно, о встрече Нового года под елкой на дворе мы и забыли.

А утром, увидев на снегу под елью заячьи следы,

Лидия Николаевна подшучивала над нашей несущественной затеей.

— Смотрите, зайцы-то ночью приходили на елку. Думали вместе с вами попрыгать около нее, а вы их обманули. Нехорошо. Теперь они думают, вот и поверь людям. Обещали устроить танцы у елки — и то подвели. А славно было бы потанцевать в новогоднюю ночь.

Шли годы. Наступило суровое время — война. Она разбросала нас всех в разные стороны: кого на восток, кого — на запад. Лидия Николаевна осталась в Москве, бывала на фронтах, заслужила «звание» — «гвардии мамаша». А я — мать троих детей — вынуждена была уехать с ними в Сибирь, где прожила три долгих, очень долгих трудных года.

Разлука не нарушила нашей дружбы. После войны мы снова встречались с Лидией Николаевной. Она часто приглашала меня со всей моей семьей погостить у нее на даче. Мы жили там иногда по нескольку дней. Она терпеливо переносила детский визг, бесконечную беготню по лестнице, разбираала сама возникавшие между ребятами конфликты, шутила с ними.

Весной 1945 года, сидя с ней на террасе, я рассказывала ей о том, как трудно жилось нам во время эвакуации и какую большую поддержку нам оказали коллективные огороды.

— А знаешь что, — вдруг сказала она, — сажай картошку и здесь. Видишь, сколько земли пустует. У других цветники, а у меня огороженный пустырь. Земля только не пахана, трудно будет копать. Ну, сколько одолеешь.

И я послушалась ее совета.

Копать целину, за многие годы проросшую длинными, цепкими корнями луговинника, было очень тяжело, но я упорно трудилась и вскопала небольшой участок.

А летом, когда я приезжала подкапывать картошку, Лидия Николаевна говорила мне:

— Молодец, что послушалась и не поленилась. Хоть немного, но все-таки тебе это будет подспорьем.

На следующий год я снова засадила этот участок и еще немного увеличила его.

Время шло... Мы стали тяжелее на подъем и реже ездили к Лидии Николаевне. Подрастали дети. В семье прибавилось забот и хлопот. За эти годы писательский городок разросся и протянулся до Мичуринца. В Мичуринце получил дачу К. Л. Зелинский. Однажды он пригласил нас к себе на дачу.

Сидя в саду за столом, мы разговорились о Лидии Николаевне. И я высказала сожаление, что давно ее не видела, а увидеться с ней очень хотелось бы.

Корнелий Люцианович предложил поехать всем вместе навестить Лидию Николаевну, и мы, быстро собравшись, отправились в Переделкино.

Лидия Николаевна была очень обрадована нашим приездом. Теперь она занимала только половину дачи, в другой половине жил Ираклий Андроников.

С Лидией Николаевной жила ее сестра с детьми и мужем. Лидии Николаевне с ее больными ногами было трудно подниматься на второй этаж, и для нее утеплили нижнюю веранду. У окон росли клены, посаженные нами. От листьев кленов в комнате двигались узорные тени. На письменном столе лежали объемистые папки с рукописями...

Мы просидели у Лидии Николаевны часа два. Пора было уезжать. Перед отъездом Корнелий Люцианович предложил сфотографировать нас. Выйдя из комнаты, мы спустились на ступеньки террасы. На этих ступеньках мы когда-то подолгу сидели юными, молодыми, а теперь нас засняли с серебряными нитями в волосах.

А годы идут и идут... И теперь, бывая иногда в Переделкине и проходя мимо дачи, в которой когда-то жила Лидия Николаевна, я с грустью вспоминаю былое время и подолгу люблюсь красивыми раскидистыми деревьями, свидетелями нашей крепкой, незабываемой дружбы.

Ефим Пермитин

ПАМЯТИ ДРУГА

Имя Лидии Сейфуллиной вместе с именами Всеволода Иванова, Александра Фадеева, Дмитрия Фурманова характеризует ведущую группу литераторов в годы раннего утра советской прозы.

Я счастлив, что в творческой моей жизни, начавшейся значительно позднее, судьба довольно близко столкнула меня с одним из организаторов дорогого мне журнала «Сибирские огни», ставшего и моей «литературной колыбелью», и зачинательницей большой нашей литературы — Лидией Николаевной Сейфуллиной.

Личному знакомству предшествовала встреча с первыми произведениями писательницы.

Шел суровый 1922 год. Разрушенное войнами, особенно колчаковщиной, хозяйство края далеко еще не оправилось от потрясений. Культурная жизнь советской Сибири только-только начиналась: центральные газеты и журналы докатывались на окраины в единичных экземплярах.

Демобилизовавшись из Красной Армии, я работал в родном, в то время глухом уездном городишке Усть-Каменогорске, в УОНО и по совместительству в Союзе охотников. Робко мечтал об университете Шанявского, по целым вечерам сидел в местной библиотеке. Тайно «пробовал голос» в стихах и прозе. Писал и уничтожал: уж больно жалкими казались мне мои первые опыты.

И вдруг библиотекаря положила передо мной первый — мартовский номер литературно-художественного и научно-публицистического журнала «Сибирские огни» в бледно-зеленой обложке с красным церковнославянским шрифтом на ней.

Сибирский литературный первенец открывали «Четыре главы» Лидии Сейфуллиной. Не выходя из библиотеки, я прочел взволновавшую меня повесть.

«Вот как надо писать!..» — твердил я и немало извел бумаги, строя фразы из двух и трех слов.

Но «рубленая проза» в «Четырех главах» — это только этап, поиски. Уже во втором номере «Сибирских огней» писательница опубликовала рассказ «Правонарушители», в котором, не злоупотребляя точками, отбросив кажущуюся новизну формы, до краев наполнила рассказ новым содержанием, правдой жизненных наблюдений, свежестью типов и характеров, большой их общественной значимостью и подлинным даром глубоких обобщений.

«Оказывается, она тоже «ищет себя», и, кажется, в этом рассказе уже нашла свой стиль. Вот как надо искать!» — снова и снова твердил я.

Современники Лидии Сейфуллиной в поисках «новой формы» шли более длительными, извилистыми путями.

Многие из них, в погоне за оригинальностью, возводили нарочито-клочковатые конструкции своих произведений. Некоторые рассказы и романы начинались с конца. Иные строили их совершенно без сюжетов, тщательно затеняя основное, выпячивали детали, культивировали «стиль намеков». Все это утомляло, отпугивало читателя.

Успех рассказов Сейфуллиной о новых людях города и деревни, написанных простым, ясным языком, насыщенных острым социальным содержанием, был совершенно закономерен.

Читатель полюбил писательницу за ее искренность и большую любовь к написанным ею с такой яркостью героям.

Полюбил творчество Лидии Сейфуллиной и я. Как всякий «самоучка», я много размышлял над

«тайной» успеха ее «Правонарушителей» и пришел к выводу: это результат непрерывного искания, ежедневная напряженная работа над общественно важным вопросом.

«Замок славы открывается ключом труда», — думал я. И снова брался за начатый рассказ, и, закончив, вновь уничтожал его.

Учитель А. Топоров в нашумевшей в свое время книге «Крестьяне о писателях» так передает впечатления слушателей о «Правонарушителях»:

«Везде у ней тут комар носу не подточит. Написано на отделку! Мартынов — настоящий грузило!»

«Любопытство к рассказу большое. На крыльях, ровно он тебя вздымает...»

«Захват душевный эта писательница делает».

«Описание такое тут любопытное, что все тело на трясение берет, когда смех».

Успех «Правонарушителей» был шумный, но дальнейшие ее работы: «Перегной», «Каин-Кабак» и особенно «Виринея» — прочно закрепили его. Родившаяся, выросшая и сложившаяся в революцию как писательница, Лидия Сейфуллина была в первых рядах нашей молодой революционной литературы.

Личное знакомство наше состоялось в Москве, куда я из Сибири, а Сейфуллина из Ленинграда переехали в тридцатых годах.

Простая, скромно одетая маленькая женщина в один вечер пленила всех собравшихся у меня друзей своими изумительными рассказами.

Помню, она говорила о своих встречах с Алексеем Максимовичем Горьким:

— Страшно было, когда шла к нему. Думаю: «Как же с ним разговаривать, он все решительно знает, а вдруг поймает на невежестве?!»

Встретилась же, и все получилось по-другому. Подошел он ко мне, бережно-бережно взял большими своими руками мою ручонку и просто так сказал:

— Проходите, садитесь, Лидия Николаевна, будем завтракать — редьку с подсолнечным маслом есть. Правда, после нее запашок преизрядный, но весьма

полезная штукавина. Советую и вам включить ее в обязательное блюдо к завтраку...

И как заговорил он со мной о редьке, так весь мой страх как рукой и снял...

Много было встреч с Лидией Николаевной у меня, и литературных, и деловых, и дружески-семейных. Немало было разделено и радостей и горя: сибиряки в Москве жили тесным землячеством.

На томе шестом собрания сочинений (он подарен мне 28 января 1933 года) крупным, прямым, стремительным своим почерком она написала: «В память нашей хорошей человеческой дружбы».

Об одной из литературных встреч не могу умолчать.

Однажды поздно вечером позвонила мне Лидия Николаевна:

— Приходите поскорее. Пришел Павел Васильев, собирается почитать новые стихи. Обещался приехать Михаил Шолохов, будет Владимир Яковлевич Заzubрин и еще кое-кто.

Помню, после прекрасной, взволновавшей всех слушателей поэмы «Лето» Павел Васильев, озорновато улыбнувшись огромными синими глазами, сказал:

— Почитал бы я новые стихи «для некурящих», да вот Лидии Николаевны смущаюсь. А написал я их, кажется, порядочно.

Мы все вопросительно уставились на хозяйку.

Кто-то сказал:

— Она ведь бывшая епархиалка, при ней можно...

Лидия Николаевна засмеялась и, обращаясь к поэту, стала просить:

— Читай, Паша. В искусстве я не женщина, я на равных правах с мужчинами...

Павел Васильев прочел свои «Кунцевские дачи».

Внимательней всех слушала и больше, заразительнее других смеялась Лидия Николаевна.

Просмеявшись, с блестящими, влажными глазами она сказала Васильеву:

— Еще Альбала советовал, если хочешь выразить

обычные мысли более остро, постарайся быть грубей, говори вещи резче. Но ты, Паша, на сей раз, кажется, перестарался немного...

Сидевший рядом с хозяйкой Михаил Александрович Шолохов склонился к плечу Валерьяна Павловича Правдухина, считавшего себя, как и Павел Васильев, казаком, и, тоже смеясь глазами, сказал:

— Здрóрово пишут казачкí, будь они неладны...

...Не могу умолчать и о горьковской традиции помощи молодым в их литературном труде, унаследованной Лидией Николаевной от великого писателя. Как-то в одну из встреч она сказала мне:

— Как и Горькому, мне хочется передать молодым хотя бы и маленький, но все-таки опыт, которого у них нет. Знакомясь с новичком, принесшим мне первую свою рукопись, я невольно думаю: «Кто его знает, может быть, это новый Толстой!»

А критические высказывания Лидии Николаевны на писательских собраниях!..

Непримиримая ко всякой фальши, никогда не вступавшая в сделку с совестью, она говорила о прослушанном или прочитанном всегда прямо и со страстью оратора-трибуна. Но никогда беспощадное ее слово не воспринималось как оскорбление — столько было в нем заинтересованного горячего участия, волнения за общее литературное дело.

Последняя встреча с Лидией Николаевной у меня была незадолго до ее смерти.

Моему приходу она страшно обрадовалась:

— Спасибо, что зашли. Я чувствую себя сегодня почему-то особенно одиноко. Надо ехать на дачу, а боюсь...

Меня поразил и внешний вид Лидии Николаевны. Когда-то круглое, подвижное, румяное ее лицо вытянулось, покрылось налетом болезненной желтизны. Живые черные глаза потухли. В них прочно прижилась скорбь.

Мы проговорили весь вечер об общих наших друзьях.

— Иных уж нет, а те далече, — с тяжелым вздохом сказала на прощанье Лидия Николаевна.

Чувствовалось, что она тоскует по дорогим ей людям, по шумной литературной своей молодости.

«Воспоминания налегают на меня скопом. Обо всем хочется рассказать, так все было тогда значительно, все впечатления первого литературного бытия», — написала она когда-то в своих воспоминаниях о пятилетию журнала «Сибирские огни».

И ту же мысль, но другими словами она выразила в нашу последнюю встречу.

Лидии Николаевне не удалось самой рассказать о поучительном своем литературном прошлом на заре нашей большой советской литературы. Полная неустанный труда, непрерывных исканий, жизнь даровитой писательницы оборвалась неожиданно.

Не сделанное ею самой должны восполнить другие.

Н и к. С м и р н о в

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ЛИДИИ СЕЙФУЛЛИНОЙ

Во время охотничьих скитаний не раз приходилось наблюдать, как ветер, начинаясь где-нибудь на опушке слабым и легким шорохом, скоро проходил по лесу сплошным, торжественным гулом. Не раз приходилось думать при виде прозрачного уединенного ключа о его преображении в полноводную реку...

Лидия Николаевна Сейфуллина, которую по справедливости необходимо отнести к плеяде основателей советской литературы, с удивительной быстротой завоевала известность маленьким рассказом «Правонарушители». Напечатанный в «Сибирских огнях» (в 1922 году) рассказ этот сразу же получил широкий и благодарный отклик в литературных кругах столицы. Первым обратил внимание на «Правонарушителей» поэт Н. Н. Асеев в своем обзоре «Литературные края», помещенном в «Красной нови» в конце того же 1922 года.

Редактор «Красной нови» А. К. Воронский говорил мне тогда с задором и радостью:

— Смотрите, как богатеет и расцветает наша советская литература! Блестящие имена появляются одно за другим. Сибирь-матушка дала сразу двух больших художников — Иванова и Сейфуллину.

Когда вскоре вышел сборник повестей и рассказов Лидии Сейфуллиной, меня попросили написать о нем для «Красной нови». По молодости лет и по чрезмерной литературной страстности я, вероятно, хватил

через край — слишком перехвалил сборник, но очень многие тогдашние оценки разделяю и сейчас, через тридцать с лишним лет. В лице Сейфуллиной советская литература имела дело с крупным и самобытным талантом, свежим как молодость, и чистым, как лесной родник.

В 1923 году Л. Н. Сейфуллина вместе со своим мужем писателем В. П. Правдухиным поселилась в Москве, и с тех пор начались наши очень частые редакционные и домашние встречи.

Сейфуллина была человеком резко выраженных симпатий и антипатий, и, если человек чем-нибудь нравился ей, она не только «привыкала» к нему, но и становилась подлинным его товарищем.

Маленькая женщина с детски застенчивой улыбкой могла во время идейных споров греметь наподобие судной библейской трубы, стучать кулаками по столу или потрясать ими у лица собеседника. Это была взрывчато-темпераментная, прямая и правдивая, безоговорочно принципиальная женщина.

Прежде чем стать писательницей, Сейфуллина прошла довольно сложный житейский путь: она училась в епархиальном училище, где готовили дьяконов и матушек, умеющих хорошо солить грибы и вышивать на пальцах, была сельской учительницей, а потом — актрисой на сцене одного провинциального театра, изображая подростков. С первых дней революции она окунулась в политическую жизнь.

Безукоризненная правдивость и принципиальность Лидии Николаевны быстро завоевали ей глубокое уважение в литературных и общественных кругах, и ее московская квартира сделалась «салоном», собиравшим представителей самых разнообразных и противоположных литературных течений.

Квартира Сейфуллиной — Правдухина влекла людей человеческим теплом и непринужденностью обстановки, как влечет путников в сумерки золотой, жилой огонек. На этих шумных сборищах живо обсуждались все злободневные литературные новости, читались и подвергались справедливой критике еще не напечатанные произведения. Кто только не бывал

здесь, в этих двух скромных комнатках, загроможенных книгами и затуманенных горьким и синим табачным дымом!

Молодой, тогда еще безусый, в гимнастерке и сапогах, Шолохов и медлительный, иронически-изысканный, тонкогубый и румяный Бабель. По-цыгански смуглый, по-лесному бородатый Пришвин и лысый, седоусый, быстрый и легкий Новиков-Прибой. Чинная, осанистая Ольга Форш и тонкая, прелестная Лариса Рейснер. Сумрачный, чем-то напоминавший медведя Зазубрин и «искрометный», улыбающийся Шкловский¹.

Пришвин читал здесь свои охотничьи рассказы, в том числе лучший из них — «Смертный пробег»; Новиков-Прибой — отрывки из «Цусимы» (задолго до появления ее в печати). Задолго до печати читала Сейфуллина и свою «Виринею», по рукописи, написанной крупным, учительски-ровным почерком. «Виринея», помню, произвела очень большое впечатление, и ее почти единодушно хвалили, хотя кое-кто и отмечал зависимость героини от образа Молодой из «Деревни» Бунина.

Многие делились здесь своими рабочими планами и замыслами, своим творческим опытом. Шолохов рассказывал о своей работе над «Поднятой целиной». Бабель — о своих дореволюционных встречах с А. М. Горьким и о впечатлениях от недавней поездки во Францию (1933 или 1934 год).

Бабель был не только замечательным писателем, но и неповторимо тонким «устным рассказчиком»: однажды мы, небольшой компанией, слушали его рассказы целую ночь. Рассказывал он с подлинно сценическим мастерством высокого класса, и Сейфуллина «внимала» ему с восторгом. Она очень ценила его творчество и часто читала отдельные рассказы из «Конармии» вслух. Из современников ценила она еще Серафимовича, А. Н. Толстого, Малышкина, Новикова-Прибоя и особенно А. М. Горького. Она нередко бывала у Горького и, возвратившись оттуда, с во-

¹ Шкловского, впрочем, я видел там только один раз.

сторгом описывала свой разговор с Алексеем Максимовичем, передавала его литературные отзывы и оценки и вся сияла от радости, заметно хорошела и молодела.

— Какое счастье, что мы, писатели, живем в одно время с этим чудесным человеком, — сказала она как-то о Горьком с благодарным блеском в глазах.

Она глубоко уважала громоносную поэзию Маяковского и нежно любила лиру Есенина.

Различие в творчестве Маяковского и Есенина она определяла так:

— Один кричит, другой плачет...

Она могла сотни раз читать и слушать такие стихи Есенина, как «Не жалею, не зову...» или «Мы теперь уходим понемногу...»

Жадно слушала она и стихи Павла Васильева, тогда молодого, белокурого «Ваньки-ключника». Он читал их с великолепной, немного озорной удалью, сильным и раскатистым «серебряным» голосом.

Но особенно трогательно любила Сейфуллина Ларису Михайловну Рейснер.

Л. М. Рейснер, талантливая писательница, была воплощением женской красоты. Высокая и стройная, тонколицая и русоволосая, она напоминала деву гор из старинных сказок Севера. Что-то очень легкое и музыкальное, подобное мелодии Грига, чувствовалось и в ее голосе, и в легкости ее походки. Сейфуллина не только узнавала, но как бы даже «чувствовала» Рейснер издали — по малейшему ее движению.

Когда в квартире раздавался какой-то особенный, короткий и легкий звонок, Сейфуллина радостно выговаривала: «Это Лариса!» — и быстро шла отворять дверь.

Лариса Михайловна и здесь, как всегда и везде, не могла сидеть спокойно: с кресла пересаживалась на диван, с дивана — к письменному столу, оттуда — к дремлющему в углу ирландскому сеттеру или к книжному шкафу, опытно и умело («на глазок») оценивая книгу.

Когда, в начале 1926 года, Лариса Михайловна умерла, Сейфуллина, жившая в то время в Ленин-

граде, мгновенно примчалась в Москву. Скорбная и заплаканная, она была неутешна. Она тихо, с отчаянием спрашивала, роняя слезы:

— Скажите, что же это такое? Как это может быть, чтобы Лариса умерла? Ведь это умерла Красота...

Сейфуллина на всю жизнь сохранила печальную и нежную память о Ларисе Рейснер: портрет северной красавицы постоянно стоял на ее письменном столе.

Обычно я заставлял Лидию Николаевну за книгой — она читала удивительно много. Сидит, бывало, в глубоком кресле у окна, курит одну за другой папиросы «Дели» и неторопливо, со вкусом и толком, шелестит книжными страницами. Она, как бы в «обязательном порядке», прочитывала все «толстые» журналы — преимущественно беллетристику и критику, большинство советских и переводных книжных новинок и систематически перечитывала Пушкина и Толстого, Бальзака и Флобера. «Анну Каренину» и «Мадам Бовари» она считала величайшими созданиями мировой литературы и очень высоко ценила письма Флобера, то и дело цитируя их на память. Лидия Николаевна часто повторяла, с горящими глазами и дрожащим голосом, такую фразу Флобера:

«Искусство — изображение, и наше дело — изображать; душа художника должна быть безбрежна, как море, и чиста, как оно, чтобы до самого дна отражались в ней звезды небесные...»

Сейфуллина, как и в отношениях с людьми, была глубоко объективна в своих литературных вкусах и симпатиях. Обожая Пушкина и Л. Толстого, она решительно не любила Шекспира и Достоевского. Я не раз и со всей страстностью читал ей монологи датского принца, Брута и Макбета — и всегда замечал на ее лице обидную, но искреннюю скуку. В ответ на мое раздражение она смущенно и застенчиво оправдывалась:

— Помните известное изречение: «Могущий вместить да вместит...» А я вот никак не могу «вместить» вашего Шекспира. Не трогает...

То же было и с Достоевским. Когда я напоминал ей такие потрясающие сцены, как уход Наташи к Алексею в «Униженных и оскорбленных», покупку Настасьи Филипповны Рогожиным в «Идиоте», кошмар Свидригайлова в «Преступлении и наказании», — Лидия Николаевна опять виновато улыбалась и отмахивалась:

— Все это, конечно, хорошо, но почему-то не понимаю я этих психологических тонкостей. Видимо, не доросла до них...

Она тут же брала со стола том «Войны и мира» и, энтузиастически повышая голос, читала сцену гибели Пети Ростова или картину встречи Наташи с Андреем Болконским в Мытищах.

— Вот это гениально без всяких оговорок, это настоящая и полнокровная жизнь! — громко провозглашала Лидия Николаевна, веско стукнув, для убедительности, кулаком по столу.

Наряду с чтением современников и классиков Лидия Николаевна любила читать осенними и зимними вечерами старых, полузабытых беллетристов — Вс. Соловьева и Крестовского, Маркевича и Вас. Немировича-Данченко, Салиаса и Волконского. Она называла это «женской слабостью».

Однажды, отозвав меня в угол, она спросила шепотом:

— У вас есть «Нива»?

— Есть.

— А «Родина»?

— Имеется и «Родина», и «Задумчивое слово», и «Газетка для детей и юношества».

— Принесите их сразу лет за пять, вы доставите мне большое удовольствие.

На следующий день я положил кипу журналов на ее письменный стол и шутливо продекламировал:

— Седенькие папеньки —

Господа Потапенки...

— Сладенькие Чарские —

Экономки барские...

— Ладно, ладно, — посмеялась Лидия Николаевна и быстро стала перелистывать журналы. Она



Л. Н. Сейфуллина
1927

сразу чем-то зачиталась и сказала: — Теперь не отвлекайте меня и идите к Валерьяну разговаривать об охоте...

Муж ее, Валерьян Павлович Правдухин, был неутомимым охотником, и Лидия Николаевна умело поддерживала охотничий разговор, ежегодно ездила в охотничье путешествие по Яик-реке, где добросовестно выполняла роль «дневального» у палатки и усердно, хотя иногда и со слезами досады на глазах, щипала груды битой дичи. Больше того: она очень ревниво оберегала охотничью честь мужа, и когда однажды я, очень посредственный стрелок, обстрелял на утиных перелетах Валерьяна — редкостного стрелка, Лидия Николаевна заговорила со мной обиженным тоном и поминутно уверяла охотников:

— Это чистая случайность: Валерьян завтра покажет, как надо стрелять.

Она никогда не писала охотничьих рассказов, и все-таки по просьбе мужа написала рассказ «Поневолле», полный искристого юмора и снабженный эпиграфом из Чехова: «Я сам не курю, но жена моя велела читать сегодня о вреде табака». Рассказ был напечатан в сборнике «Охотничий рог», вышедшем в 1925 году.

Мне нередко приходилось принимать участие в охотничьих поездках, организуемых В. П. Правдухиным, и воспоминания о них — это воспоминания о молодости, о дорогах для сердца людях, о прохладе звонкого Яика, о шуме степного ковыля и кисловато-приятном вкусе голубой и сочной ежевики.

Особенно помнится мне поездка на озеро Имаркэ («Девичье озеро») в глуши лесного и печального мордовского края. Кроме Сейфуллиной, Правдухина и меня в этот раз на охоту ездили: А. С. Новиков-Прибой, П. Г. Низовой и А. В. Перегудов. На полустанке Теплый стан — всего ночь езды от Москвы — мы сразу же попали в вековую тишину великолепного соснового бора. Большинство охотников двинулось пешком, мы же с Лидией Николаевной поехали на лошади, в медлительной и тряской телеге.

Лошадь сначала тащила нас бором, пахнувшим «смолой и земляникой», потом чудесными, просторными полями. Стоял теплый и светлый август, в полях золотились ржаные снопы, а вокруг легко и мягко синели древние леса, виднелись уютные деревушки, и откуда-то наносило сухим и пряным ароматом вянувших дубовых листьев и сладким холодком чистой озерной воды.

Лидия Николаевна смотрела на всю эту родную красоту жадными глазами, с тихой и счастливой улыбкой.

Всегда сдержанная, не любящая говорить о своих чувствах, она сказала с незабываемой теплотой в голосе:

— Я так люблю Россию, что могу заплакать и закричать от счастья этой великой любви...

Эта любовь к России, к Родине была тем нескудеющим родником, который постоянно обострял и углублял для нее радость и ценность жизни, животворил ее творчество, помогал одолевать тяжелые личные беды и несчастья.

Случилось так, что мы не виделись с Лидией Николаевной целых пять лет (1935—1939 годы).

Наконец, поздней осенью 1940 года, я поехал к ней на подмосковную дачу в писательском поселке Переделкино. Хмурый и сумрачный предзимний день жег ледяным ветром, ветер срывал последние листья с берез, с шуршаньем рассыпал их по сквозной аллее. Я постоял около одной дачи и, двинувшись дальше, сразу увидел Лидию Николаевну, спешившую мне навстречу.

— Я так рада вас видеть, — сказала она своим прежним, теплым и нежным голосом, — и не отпущу до ночи... но только с одним условием: не задавать мне обычного вопроса — «над чем вы работаете сейчас?»

Я просидел у Лидии Николаевны действительно до ночи, но уехал с ощущением большой грусти и боли: прежних — непосредственных, легких и теплых — отношений не стало, между нами пролегла какая-то если не отчуждающая, то чуточку отделя-

ющая грань. Она постарела, поседела, стала несколько растерянной и рассеянной.

Изю всего этого не следует, однако, что Лидия Николаевна находилась в безнадежном надломе и упадке — она, как и раньше, жила интересами Родины и литературы, с прежней страстностью говорила о своих художественных замыслах и с подлинной яростью о том, что было тогда основным для каждого советского человека, — о возможности войны с гитлеровской Германией.

В военные и послевоенные годы Лидия Николаевна усердно и много работала как рецензент и редактор и по-прежнему принимала самое деятельное участие во многих общественно-политических начинаниях Союза писателей.

С особенным усердием читала она рукописи молодежи и была по-настоящему счастлива, если обнаруживала среди них проблески самобытной мысли и талантливости.

Но из песни слова не выкинешь: писать она не могла — мешала все обостряющаяся тяжелая болезнь.

...Не так давно две девушки, перелистывая в книжном магазине том рассказов Сейфуллиной, поинтересовались:

— Это что — новая писательница?

Мне стало очень горько и обидно: нельзя, непρο-ститительно забывать Сейфуллину, прочно и крепко вписавшую свое благородное имя не только в число создателей советской литературы, но и в число борцов за реализм этой литературы, за ее народность.



А. Перегудов

О ХОРОШЕМ, ДОБРОМ ТОВАРИЩЕ

Потоки солнечного света заливали землю, под их теплой лаской зеленела трава, лопались почки кустов и деревьев, цвели ольха, береза, ива. На болотах и озерах раздавались голоса селезней, уток, чирков, у раменья чернолесья токовали тетерева, над мочажинками плавали, истомно стонали и кувыркались чибисы. Иногда в сияющем весеннем небе проплывали треугольники журавлей, их курлыканье тревожило сердце, словно любимая печальная и радостная песня.

Недавно сошло половодье, и чаши озер всклень были заполнены голубой студеной водой. Всклень было заполнено и озеро Имаркэ, — расплеснулось оно в десяти километрах от села Матвеевского, где родился, вырос и жил до призыва на военную службу Алексей Силыч Новиков-Прибой. На берегу этого озера, на песчаном бугре сверкала золотистыми бревнами и тесовой крышей изба, которую мы гордо называли «наш охотничий домик». Пятеро писателей (Новиков-Прибой, Низовой, Ширяев, Завадовский и я) построили ее в 1929 году, а весной 1930 года приехали сюда на охоту Алексей Силыч Новиков-Прибой, Павел Георгиевич Низовой и я. Вместе с нами приехали наши гости: Николай Павлович Смирнов, Валерьян Павлович Правдухин и Лидия Николаевна Сейфуллина. Конечно, самым дорогим нашим гостем была Лидия Николаевна, и не только потому,

что являлась единственной женщиной в нашей охотничьей компании, — Лидия Николаевна внесла в нашу среду какую-то теплоту, уют, мягкий юмор.

Самым неистовым охотником среди нас был Новиков-Прибой, самым азартным Смирнов, самым серьезным Правдухин. П. Г. Низовой, Л. Н. Сейфуллина и я были больше созерцатели, чем охотники. Низовой любил в одиночестве ходить по лесам, перелескам, окраинам болот, он всегда брал с собой ружье, но редко стрелял из него.

Сейфуллина на охоту не ходила, бродила по берегу озера, заходила на пасеку мордвина Кузьмы Петровича Косова, разговаривала с ним и его дочерьми Кулей и Просей.

В первые дни по приезде я каждое утро вставал до рассвета и вместе с заядлыми охотниками шагал на далекое Петлино озеро, потом стал охотиться реже, взяв на себя обязанности повара. Новиков-Прибой научил меня, как из одного блюда можно сразу сделать два. Это охотничье блюдо называлось «сливуха». Для его приготовления нужны были: пшено, несколько картофелин, луковица и мелко нарезанная грудинка или корейка. Все это я клал в чугунный котелок, похожий на полушарие, заливал водой и подвешивал над костром. Когда похлебка поспевала, я сливал жижу в большую миску, а в оставшуюся на дне пшенную кашу добавлял русского масла и снова ставил на огонь. Таким образом из одного котелка мы получали на первое похлебку, а на второе кашу с маслом и кусочками грудинки. Грудинка закладывалась в «сливуху» только в первые по приезде дни, когда у нас еще не было дичи. Когда же дичь появлялась, грудинку заменяли селезни или тетерева. Дичь в похлебку клалась щедро — по два-три селезня в котелок, — и кушанье получалось изумительного вкуса. Молоко, мед и масло брали у пасечника. Он же, искусный рыболов, приносил нам рыбу, а его жена пекла для нас хлеб.

Незабываемыми остались для меня эти весенние голубые дни, полные солнечного света, тепла и радости расцветающей земли. Особенно мне дороги бы-

ли предобеденные часы, когда охотники еще не возвращались, а обед был уже готов. Котелок, чтобы не остывала «сливуха», висел над костром, который не горел, а тихо тлел, дымил, отчего дымком пахла и наша похлебка, что всем очень нравилось. Валерьян Павлович Правдухин как-то выразил сожаление: почему таким ароматным дымком не пахнут блюда, приготовляемые дома и в ресторанах? Как было бы хорошо зимой, в московской квартире, ощутить этот милый запах, напоминающий небо, землю и костер.

До прихода охотников Лидия Николаевна и я сидели на бугре, под ветлой, смотрели на озеро. Сейфуллина умела чудесно смотреть на окружающую природу. Когда ее большие темные глаза останавливались на перелеске, озере, болотце, мне казалось, что перелесок, озеро, болотце становится поэтичнее, «задушевнее». И еще мне казалось: очень любовно и радостно принимает в свою душу Лидия Николаевна все, на что смотрит, что хочет запомнить и что дорого ее сердцу. Не раз я замечал: сосредоточенно и молча глядит она на что-то заинтересовавшее ее и вдруг улыбнется. И эта мягкая, задумчивая улыбка говорила мне: Сейфуллина «поняла», «усвоила» то, на что смотрела, и навсегда запечатлела усвоенное в своей памяти и в своем сердце.

Слева от озера простирались сырые луга, на них возвышались большие стога прошлогоднего сена, похожие на великаны шапки. На противоположном от нас берегу озера рос редкий и невысокий сосняк. Справа — небольшое, заросшее камышом и кустами ивняка болотце. Окружая его, шла дорога на железнодорожный полустанок Теплый стан. Если мы возвращались с охоты со стороны полустанка, то шли по этой дороге, обходя камыши и кусты. Лидия Николаевна смотрела на эту дорогу, потом взглянула на меня и улыбнулась.

Мне подумалось, что Сейфуллина посмеивается надо мной, и я спросил ее:

— Алексей Силыч рассказал вам?

— Что?

— Как я не захотел идти по этой дороге и

предложил напрямик вот через это болотце шагать к нашему домику.

— Нет, Силыч ничего не рассказывал мне. А что такое произошло? Расскажите.

Я рассказал, как прошлой осенью мы возвращались в наш домик со стороны Теплого стана. Чтобы обойти болотца, нужно было сделать лишних километра полтора. Я предложил Новикову-Прибою пойти напрямик. Он внимательно посмотрел на меня:

— А не лучше ли по дороге?

Мне поскорее хотелось добраться до избы, отдохнуть, и я продолжал настаивать:

— Полтора километра крюку! Да вон он, наш домик, совсем рядом! Через десять минут мы будем там.

Алексей Силыч усмехнулся:

— Ну что ж, пойдём.

Если бы я знал, что нас ожидает, я согласился бы пройти не полтора, а четыре километра лишних!

Мы прошли мочажинку, потом стали перепрыгивать с кочки на кочку и, наконец, врезались в чащу камыша, густую и высокую, как бамбуковые заросли. Мы прокладывали в чаще путь, ломая камыши тяжестью своего тела, уминая их в грязное месиво под ногами. Ноги до колен уходили в топь. Пекло солнце. Душные запахи тины и гниющей воды дурманили нас. Около часа мы пробирались этой чертовой путаницей, тогда как по дороге могли бы за двадцать минут добраться до нашего домика.

Измученный, я свалился на берегу Имаркэ; заметив лукавую улыбку Новикова-Прибою, спросил его:

— Ты знал, что нам так придется идти?

— Знал.

— Зачем же ты полез туда? Ведь ты тоже измучился.

— А как я могу товарища оставить? Страдать, так вместе!.. Ничего, Саша, сейчас мы пообедаем, отдохнем под стогом у пасеки... Чем сильнее усталость, тем слаще отдых. Вот будешь отдыхать — спасибо мне скажешь.

Когда я закончил, Лидия Николаевна рассмеялась:

— Это на Силыча похоже!

Помолчала и раздумчиво заговорила:

— Охота!.. Вот для вас этот случай, наверное, никогда не позабудется, а сколько вы тогда дичи с охоты принесли — не помните. И для меня охота не только добытая дичь, которую, впрочем, я и не добываю, а, главным образом, общение с природой, общение с людьми, которые встречаются на охоте: лесники, пасечники, рыбаки и старые казаки в уральских станицах.

Оживляясь все более и более, Лидия Николаевна рассказала, как она в компании охотников совершила путешествие по Уралу, как добирались на верблюдах от Оренбурга до Кардаиловки, где в конце августа погрузились на лодки.

— В моих родных местах самое лучшее время года — сентябрь и октябрь. Комаров уже нет, успевают овощи, созревают арбузы и дыни. Вы пробовали когда-нибудь илецкие арбузы? Нет? Из-за одних таких арбузов стоит съездить на Урал!.. Наше путешествие длилось месяца полтора, проплыли мы на лодках около тысячи километров. Охотились на дудаков, стрепетов, уток, тетеревов, куропаток, ловили рыбу. Были у нас разные рыболовные снасти: переметы, жерлицы, лески и даже спиннинг, которого на Урале до нас, кажется, не видали. Рыбы — щук, судаков, сомов — мы ловили так много, что нередко меняли рыбу на хлеб, арбузы, яйца...

Потом Лидия Николаевна вспомнила нашу первую встречу. В 1927 году по командировке журнала «Народный учитель» я ездил на Волховстрой. Поезд из Москвы в Ленинград приходил утром, поезд на Волховстрой отходил в двенадцать ночи. Весь день у меня был свободен, и я решил отправиться к Сейфуллиной, адрес которой дал мне В. П. Правдухин. Лидия Николаевна встретила меня так, как будто бы мы много лет были знакомы. И вот с первой этой встречи завязалась у нас хорошая, искренняя дружба.

Вспоминая все более и более отдаленные времена, мы заговорили о городе Орске, где одно время, до

Октябрьской революции, Лидия Николаевна заведовала библиотечной работой уездного земства.

Сейфуллина провела маленькой смуглой ладонью по лбу, прикрыла глаза и сказала:

— Сто лет прошло с тех пор!

Отбросила руку, широко открыла глаза и, будто чрезмерно удивляясь тому, о чем говорила, поведала:

— В 1917 году я была избрана уездным земским гласным — единственная женщина среди гласных. Прошла я наполовину от башкирской части уезда, наполовину от сектантов...

Орск был мне хорошо знаком. Впервые я попал в этот степной городок в 1916 году. Железная дорога к Орску в то время не подходила, и мне пришлось ехать сто пятьдесят километров на паре киргизских лошадей от Актюбы (так местные жители называли город Актюбинск) до Орска. Степи, заросшие ковылем, запахи полыни, пологие холмы, бурые, голубые, лиловые — смотря по дальности расстояния — очаровали меня, впервые увидевшего все это... А Сейфуллина родилась в станице Варламово, Троицкого уезда, Оренбургской губернии, ей с детства были милы и дороги запахи и краски степей. И должно быть, поэтому с таким увлечением вспоминала она свое детство, юность, все дорогое сердцу, любимое.

Охотники пришли сладостно уставшие, принесли селезней. Смирнов убил тетерева. Все они были радостно возбуждены и голодны. С полотенцами и мыльницами они пошли на берег Имаркэ, а я с Лидией Николаевной стал накрывать на стол. И когда на столе появилась жареная рыба, утиная похлебка, холодная дичь, когда Новиков-Прибой, разлив по рюмкам водку, поднял свою и скомандовал: «Весла на воду!», я окинул взглядом стол, посмотрел в окно, за которым цвел яркий весенний день, посмотрел на загорелые лица товарищей, — и таким милым, таким близким показалось мне все это, что, поднимая рюмку, я сказал:

— Люблю охоту!

Лидия Николаевна лукаво посмотрела на меня:

— За столом!

Потом тоже обвела сидящих большими темными глазами, посмотрела на стол, улыбнулась:

— Я тоже люблю охоту.

С этого дня у нас повелось: садясь за стол, мы всегда говорили:

— Люблю охоту!

И после, в Москве, встречаясь, Лидия Николаевна и я как приветствие говорили друг другу:

— Люблю охоту!..

Хорошим, добрым товарищем, искренним и правдивым человеком была Лидия Николаевна. Много, если не все, она готова была сделать для друга, но, если друг был неправ, Сейфуллина прямо и откровенно говорила ему это. Правдивость и прямота суждений Сейфуллиной были всем известны, и было известно: если Лидия Николаевна сказала так, то так это и есть на самом деле, — правдивость ее обуславливалась умением понять, оценить и человека и художественное произведение. Так оценила она первую повесть Фадеева «Разлив» и помогла начинающему автору. И недаром А. Фадеев любил Лидию Николаевну, считался с ее мнением и был одним из больших ее друзей. Новикову-Прибою, Гладкову, Пришвину, Низовому, Яковлеву и многим-многим другим Лидия Николаевна была искренним и добрым другом. А для начинающих писателей каждое ее письмо, отзыв об их произведениях был советом опытного учителя, искусного мастера, взыскательного художника. И сколько теплоты, сколько неиссякаемой любви навсегда сохранилось в сердце этих людей к Лидии Николаевне. Неувядаема для них память о ней...

Родилась Лидия Николаевна Сейфуллина 22 марта, когда весна теплыми крыльями своими трепетала над степями и южными отрогами Уральских гор, когда с каждым днем крепло солнце, оседали снега, зарождались ручьи. Умерла Лидия Николаевна 25 апреля, когда на земле ликовала весна. И последняя моя встреча с Лидией Николаевной была весной. В эту встречу Сейфуллина подарила мне только что

вышедшую книжку повестей и рассказов и сделала на ней надпись:

«Дорогому другу, талантливому, любимому мной писателю Александру Владимировичу Перегудову с горячим приветом от автора. Л. Сейфуллина. 1953 г. 15 апреля Москва».

Вот и сейчас на землю пришла весна. Такими радостными, яркими и светлыми стоят березы, осины, клены. Зеленеет трава. В лесу, в перелесках, на болотах и озерах, в полях и лугах идет весенняя суматоха птиц. Любовью и солнцем насыщены эти дни. На скворечниках, трепеща крылышками, самозабвенно поют скворцы. Рано утром с крыльца моего домика иногда можно слышать, как в соседнем лесу кукует кукушка.

В эти дни так светло вспоминается человек, образ которого для меня связан с весной и солнцем, — вспоминается Лидия Николаевна Сейфуллина, память о которой навсегда останется в сердце.



Павел Железнов

ЯЗЫКОМ ВЗВОЛНОВАННОЙ ДУШИ

«Как бы ни была прекрасна проза, язык взволнованной души — это поэзия. Мне не дано писать стихи, но я умею их читать, и поэтому я не завидую, а радуюсь, что в природе существует такой язык».

Так сформулировала Лидия Николаевна Сейфуллина свое отношение к поэзии в одной из своих записных книжек.

Воспоминания о ней я написал языком взволнованной души, для тех, кто умеет читать стихи. В стихах я вспоминаю всего о двух встречах: о встрече на фронте и — экскурсом в прошлое — о первой встрече у Горького. Это самые яркие точки воспоминаний. Что можно к ним добавить? При первой встрече Лидия Николаевна узнала, что я, по заданию Горького, организовал литературную группу бывших правонарушителей и беспризорных. Ядро группы составляли воспитанники подмосковной Болшевской трудкоммуны, той самой, где снималась «Путевка в жизнь». В 1931—1933 годах литгруппа выпустила в Гослитиздате два альманаха «Вчера и сегодня». Лидия Николаевна несколько раз присутствовала на собраниях нашей литгруппы, происходивших в клубе ФОСП (там, где сейчас помещается правление Союза писателей СССР). Каждый ее приход был для нас праздником. Ведь все мы знали и любили ее чудесную книгу «Правонарушители».

— Первая настоящая книга о нашем брате! —

сказал поэт Алексей Чекмазов, бывший правонарушитель, впоследствии директор завода, пожимая руку Лидии Николаевне.

Сейфуллина держалась с нами по-товарищески просто и критиковала стихи и прозу без скидки на биографии.

В начале тридцатых годов Лидия Николаевна пригласила меня на премьеру своей пьесы «Попутчики». Мне очень запомнилось высказывание одного из героев пьесы, поэта-рабочего, по-хорошему завидующего Маяковскому, понимающего, что тот смог так здорово написать «водопровод, сработанный еще рабами Рима» потому, что с детства знал об этих рабах...

На фронте, зимой 1943 года, я видел Лидию Николаевну не только в блиндаже генерала Николая Эрастовича Берзарина (кстати, прекрасно понимавшего «язык взволнованной души»), но и в нашей фронтовой землянке. Потом она поехала в гвардейские части, готовившиеся к наступлению на Ржев и Гжатск.

В пятидесятых годах мне выпала честь работать вместе с Лидией Николаевной в приемной комиссии Союза писателей. Заседания комиссии происходили в том же здании, где в тридцатых годах собиралась литгруппа «Вчера и сегодня». Выступления Лидии Николаевны были так же строги и доброжелательны, так же полны лирики и юмора, как двадцать лет назад...

Я стоял в почетном карауле у гроба Сейфуллиной, но, вспоминая о ней, всегда вижу ее живой.

В СМОЛЕНСКОМ ЛЕСУ

*Светлой памяти
Лидии Николаевны Сейфуллиной*

Скользил у подножья серебряных елей
к земле по-пластунски прижавшийся дым
Сердца у печурки в землянке мы грели,
землянка была нашим домом родным.

Шипя, разгорались поленья сырые,
и словно слеза проступала смола.
А мы про запас набирались тепла,
забросивши в угол мешки вещевые.

Вдруг с паром морозным вкатился связной.
Лицо в полумгле, ноги в отблеске алом
печурки. Солдат этот прислан за мной,
меня вызывают в блиндаж к генералу.

Выходим. Торопится солнце укрыться,
уйти от разрывов снарядов и мин.
Стемнело. Взлетела ракет вереница
над лесом смоленским, над ширью равнин.

Сугробами в небе лежат облака
с оттенком дневного угасшего света,
лицо обжигает дыхание ветра.
Дорога извилиста и далека...

Признаться, слегка оробел я у входа.
Снег с ног отряхнул и ремень подтянул,
и, словно бросаясь в студеную воду,
по гладким ступенькам под землю шагнул.

Чеканю: «По вашему прибыл приказу...»
Привстал генерал над широким столом.
Вдруг кто-то ко мне подбегает — и сразу
дохнуло московским, знакомым теплом!

Сейфуллина! Я удивлен, ошарашен.
Она же, обнявшись со мной, как с родным,
кричит: «Генерал, посмотрите, вот Паша!
У Горького я познакомилась с ним».

Повеяло давними мирными днями...
Сам Горький однажды — как наш генерал —
меня из большой трудкоммуны с друзьями
к себе, на Машков переулок, позвал.

Там смуглая женщина малого роста,
с татарским разрезом приветливых глаз,
с мужскою прической, одетая просто,
как старых приятелей встретила нас.

Доволен был Горький:

«Почаще бы видели
мы встречи героев и авторов книг;
вот — бывшие всяческих «прав» нарушители,
и — та, что с душой написала о них!»

И кажется, все это было недавно,
и кажется, тысячелетие назад...
А рядом со мною стоит «Николавна»,
и светится доброй лукавинкой взгляд.

Берзарин командовал армией нашей.
Он руку мне подал: «Привет, Железнов!
Боюсь вас назвать по-сейфуллински — Пашей.
Садитесь-ка с нами за стол, без чинов!»

В землянку, домой, шел я полночью темной,
глядел на далеких пожарищ огни
и думал о мужестве женщины скромной,
к солдатам приехавшей в грозные дни...

...Давно уже годы, пропахшие гарью,
сменились размахом строительных лет.
Погиб — комендантом Берлина — Берзарин...
И — трудно поверить: Сейфуллиной нет...

Ее вспоминаю счастливой и гордой,
с багрянцем, окрасившим матовость щек,
когда ей, имевшей писательский орден,
на фронте вручали гвардейский значок.

Сергей Сартанов

СВЕТЛОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК

Когда впервые на прилавках книжных магазинов появилась «Виринея» Л. Сейфуллиной, у меня только чуть начинал пробиваться пушок на верхней губе и я был очень далек от мысли стать со временем писателем. И уж вовсе невероятным представилось бы мне тогда возможное (пусть даже и небольшое) знакомство с автором «Правонарушителей» и «Перегноя», широко нашумевших еще до выхода в свет «Виринеи». Л. Сейфуллина стала известной писательницей, жила тогда уже в Москве, а я добывал топором свой хлеб насущный в таежных отрогах Восточного Саяна.

Помню, как я купил в Нижнеудинске «Виринею» в мягкой, рыжеватой обложке, но с портретом автора на ней. Помню, с каким наивным удивлением я разглядывал по-ребячьи круглое лицо писательницы с высоко поднятыми дугами бровей и простодушной челкой, спускающейся почти к самым глазам: это такая, обыкновенная и есть Л. Сейфуллина? Это она смогла написать «Перегной» и «Правонарушители»? Помню, с какой особой жадностью я стал после этого читать «Виринею», читать и искать в книге, где же там спряталась она сама, эта простодушная, маленькая женщина с круто выгнутыми бровями и пристальным взглядом очень темных глаз. Читал и не находил. Нет, на обложке была не Виринея. Но ведь Виринею создала она, не кто иной! И я все читал, и сравнивал, и думал: «Ах, как сильна магия слов!



Дружеский шарж Кукрыниксов
1931

Какой огромный талант у этой женщины!» И мне казалось, что я постепенно начинаю все же понимать не только Виринею, но Л. Сейфуллину...

С тех пор и запали мне в память эти два женских образа. Я говорю «два образа», потому, что сама Л. Сейфуллина в моем сознании отождествилась с понятием литературного героя.

И вот прошло двадцать лет. Виринея стала как-то отдаляться, забываться, стираться в своих очертах, а Л. Сейфуллина нет-нет да и напоминала о себе. То со страниц школьной хрестоматии, то со столбцов энциклопедического словаря, то в жарком споре почитателей ее таланта.

В 1945 году вышла в свет моя первая книжка «Алексей Худоногов». Понятно волнение, с каким я ждал писательских оценок своего труда. Ну, отзывы читателей, ну, рецензии в газетах... Все это важно, нужно, все это хорошо (и если даже плохие — тоже хорошо!), но мне важнее всего было услышать отзывы человека, делающего прекрасные книги. Не потребителя и не оценщика литературы, а мастера, того, кто сам создает литературу.

Несколько экземпляров книжки я послал в Союз писателей. А через месяц или два и сам приехал в Москву. Зашел в областную комиссию Союза. Здесь я бывал уже не впервые, но в качестве автора отдельно изданной книжки — первый раз. Секретарь областной комиссии А. Я. Годкевич, всех литераторов знающая по имени и отчеству и даже по названиям их произведений, сразу ошеломила меня:

— А, Сергей Венедиктович! Приехали? А Лидия Николаевна все спрашивает меня, когда она сможет повидаться с вами.

— Какая Лидия Николаевна?

— Сейфуллина.

— Сей-фуллина?.. Со мной?..

— Да. Я ей сейчас позвоню, а вы пока почитайте. Она что-то вот здесь написала о вашем «Алексее Худоногове».

Я впился глазами в лист бумаги, исписанный

крупно и неровно, немного вверх всползающими строчками. Выходит, это обо мне написала Сейфуллина собственной рукой. И расписалась. Та самая Л. Сейфуллина, фамилию которой я видел не иначе, как отпечатанной типографски, это был отзыв крупного мастера о моей первой работе.

«В небольшой книжке — пять рассказов. Название первого хорошо определяет тон, авторскую манеру рассказывать. Называется первый рассказ «У костра». У костра обычно рассказывают вдумчиво и задушевно, внимательно вслушиваясь в себя и в окружающую природу...»

Потом шел ряд примеров, подтверждающих эту мысль, и сердце у меня млело от восторга. Здесь встречались такие комплименты: «незаурядное писательское дарование», «острота особого художественного зрения», «быт и речь таежной Сибири, характеры живущих в ней людей — свои для Сергея Сартакова. Он их знает и любит и умеет оценить каждое слово умного, образного и красочного их языка», «в общем, книжка С. Сартакова хороша». И даже как-то не строгими, мало охлаждающими пыл казались наряду с этими словами другие: «... книжка хороша, но только как предвестник будущих произведений», «необходимо автору сжаться в слишком словоохотливой речи», «иногда врываются в писательскую речь Сартакова дешевенькие, ходовые слова», «стоит [ему] увидеть картину или явление природы, и природа уже вытесняет, отстраняет человеческую судьбу...»

А дальше случилось как в сказке. Я не успел еще дочитать последних строк, как А. Я. Годкевич воскликнула:

— Вот и Лидия Николаевна! А я звонила вам, но мне сказали, что вы как раз поехали сюда. Знакомьтесь: это и есть автор «Алексея Худоногова».

Сейфуллина подала мне руку. Не пожалала, именно — подала, и тотчас отняла, словно стремясь всячески сократить церемонию первого знакомства.

Лидия Николаевна была «маленькой», но только в самом душевно-ласковом значении этого слова.

Глядя снизу вверх на меня, она ободряюще улыбалась — не раз приходилось иметь ей дело с начинающими авторами.

— Тут я, кажется, очень свирепо расправилась с вами, — говорила она, — но это ведь не для печати, а в своем кругу.

— Да что вы, Лидия Николаевна! У вас сплошные похвалы. Моя книжка совсем не стоит этого.

— Значит, не обиделись? Хорошо. Вы курите? — и потянулась к своей потертой сумочке за папиросами. Удивилась, что я не курю. А потом радостно засмеялась: — Да что же я? Конечно! Это и по вашей книжке было понятно.

Она сидела в простеньком темном платье, поглаживая пышный бархат дивана, втиснувшись спиной в самый его уголок, и оттого казалась еще более маленькой, курила как-то непрофессионально и говорила, говорила без умолку. Расспрашивала меня о Сибири, о своих знакомых сибирских писателях — знакомых и мне, о том, с кого я писал своих героев — «так щедро пишут только о подлинных людях, вы бестолково расточительный литератор», — и вспоминала начало своего творческого пути в журнале «Сибирские огни». Все это было как бы мельком, мимоходом, на подступах к чему-то главному, но это было и необходимым, чтобы вызвать у меня доверие к себе, дать мне понять, что дружеское ее участие искренне. А на правах друга можно будет потом говорить и прямее и резче.

А я слушал и сопоставлял наш разговор с разговорами об этой же книге... не важно где и с кем. Важно то, что ни один еще человек не сливал так тесно в своих размышлениях автора, героев его книги и сам творческий процесс, как это делала Лидия Николаевна. Она умела все это видеть сразу, одновременно, в один охват, и отчетливо различать, в чем герой книги оказался выше живого героя или наоборот и где автор своей персоной задавил, стиснул внутренний ход событий, так сказать, сделал уродливо выпирающим сам творческий процесс. Вот, мол, любуйтесь, это я писал, это мой почерк, моя манера.

Мы не заметили, как пролетело несколько часов в беседе, благо нам никто не мешал, и поняли, что пора кончать разговор, только тогда, когда А. Я. Годкевич предупредила:

— Я ухожу. Смотрите, как бы вас не замкнула уборщица.

Лидия Николаевна соскочила с дивана, замахала руками: «Нет, нет, я этого очень боюсь. У меня когда-то был такой случай» — и стала прощаться со мной.

— Ну, мы теперь будем встречаться? Я вижу — вас не остановишь, вы теперь будете писать и писать, — она слегка вздохнула, — а я вот стала читательницей. Вы думаете, это легко?

Ее живое, смеющееся лицо с тугой челочкой над глазами на мгновение потускнело.

— Это очень нелегко, даже совсем нелегко, — сказала она, заталкивая, именно заталкивая как попало в свою сумочку носовой платок, коробок спичек и сплюсненную пачку папирос. — Да, не легко. Но плохо писать еще тяжелее.

И тут она прибавила то, что, может быть, уже и с самого начала хотелось ей сказать мне:

— А вы знаете, Сергей Венедиктович, вы очень следите за собой. У вас в рассказах очень много достоверности, и это может обмануть читателей, они и не заметят, что в дело пошли совсем еще не отработанные по-писательски строчки. А художник не имеет права этого делать. Вы понимаете? Не имеет.

Второй раз мы с Лидией Николаевной встретились через год. И в той же комнате областной комиссии Союза писателей. Обсуждалась рукопись моей повести «По Чунским порогам».

Как обычно на таких обсуждениях, спор завязался не о всей повести в целом, а сосредоточился на одной ее стороне, на одном качестве. Именно: допустим ли в советской литературе такой оттенок юмора, как у меня. Не перепев ли это Джерома К. Джерома? И хотя всем совершенно ясно было, что автору повести «По Чунским порогам» до Джерома К. Джерома так же далеко, как от Чуны до Темзы, разговор по-

степенно приобрел по смыслу своему примерно такой оборот: «Да, это, без сомнения, не Джером, но почему же мы все время вспоминаем Джерома? Стало быть, налицо подражание, а подражание — плохая литература».

Тогда слово взяла Лидия Николаевна. У меня сохранилась стенографическая запись ее выступления. Нет надобности цитировать его, но говорила она о повести много хорошего, а главное, так темпераментно, страстно защищала ее, будто автору повести прозила неминуемая и немедленная пибель. При первой нашей встрече Лидия Николаевна мне показалась беспрдельно доброй, мягкосердечной, человеком, который не может, не умеет сказать ни одного резкого слова. Теперь я видел ее сердитой. Даже очень сердитой. В голосе у нее звучала медь, угольно-черные глаза стали строгими, и взгляд каким-то тяжелым, убивающим того, с кем она спорила. И на поле сражения, вероятно, оказалось бы много трупов, если бы с другого конца стола Николай Иванович Замошкин не крикнул:

— Милая Лидия Николаевна, да мы все согласны с вами. Согласны были с самого начала.

Она остановилась, недоуменно поглядывая на Николая Ивановича — не шутит ли он? Поняла, нет, не шутит. И тогда вся свирепость сразу сбежала с лица Лидии Николаевны, но, прежде чем рассмеяться, она успела все же сказать совершенно серьезно:

— А я могла бы вам и выцарапать глаза. Вы сами знаете, на полпути я не останавливаюсь.

И закурила с высоким наслаждением победителя.

Когда обсуждение было закончено, Лидия Николаевна подошла ко мне.

— Я, кажется, погорячилась. Повесть у вас, действительно, пока совсем еще не вышла, я видела ее такой, какой она должна быть, — и, заметив смятение у меня на лице, поспешила прибавить: — Ну, будет же, конечно! Ведь я бы не смогла увидеть того, чего вовсе нет.

Она откашлялась и закончила с хрипотцой в голосе:

— Нет, вы не понимаете, до чего же приятно защищать кого-нибудь!

Потом, еще позже, у выходной двери, она сказала мне:

— Дело вовсе не в характере юмора: Джером — не Джером. Бранить вас нужно было, но не за это. Вы все еще злоупотребляете достоверностью, а над словами думаете мало.

Вскоре после этого у меня был напечатан маленький рассказ «Василь». Помещен он был в сборнике, выпущенном Красноярским краевым издательством ко дню выборов в Верховный Совет СССР. Писал я его наскоро, и сюжет рассказа был сугубо «кампанейский»: приемный сын путевого обходчика в страшной пургу вместо старика обходчика несет «соседям» за десятки километров номер газеты, в котором сообщается о назначении дня выборов. Начертав на уголке первой страницы сборника дарственную надпись, я послал его по почте Лидии Николаевне. Прошло не больше двух недель, и мне позвонили из издательства: «Пришло от Сейфуллиной письмо, нечто вроде «закрытой» рецензии на наш сборник к выборам». Я подивился: почему рецензия, почему в издательство? Но так было дорого прочесть, что пишет Лидия Николаевна! И я, бросив все дела, побежал в издательство.

К сожалению, это письмо в издательстве не сохранилось, и поэтому цитировать его мне придется по памяти. Письмо, действительно, как рецензия, начиналось словами: «Красноярское краевое издательство выпустило в свет сборник...» А потом шел беглый обзор напечатанных в нем статей, очерков, рассказов и стихов. Добрая же половина письма посвящена была моему «Василю». И здесь я почувствовал ту самую свирепую Сейфуллину, которая метала громы и молнии в адрес моих оппонентов на обсуждении повести «По Чунским порогам».

Начинала она свои размышления относительно «Василя» приблизительно так: «В этом же сборнике напечатан рассказ писателя Сартакова. Трудно сказать, рассказ ли это и писателем ли он написан —

так мало в этом произведении литературных достоинств. И думаешь, что это: вытасченный из корзины черновик или свидетельство полной нетребовательности к себе С. Сартакова? Как посмел писатель принести в издательство такую рукопись и как посмело издательство ее напечатать?..»

Пожалуй, письмо написано было и помягче, но оглушило оно меня так, как оглушили бы каждого автора приведенные выше слова, и я пересказываю их здесь уже с поправкой на тогдашние свои ощущения. А дальше шло: «Сюжетная схема выпирает отовсюду, как скелет у истощенной лошади. Автор все время бьет читателя в лоб, хочет убедить его — верь, что было так, но достоверности в рассказе нет ни малейшей...»

Поздней весной того же года мне довелось снова поехать в Москву. Я позвонил Сейфуллиной.

— Лидия Николаевна, здравствуйте. Узнаёте?

— А, это вы? Я очень ошиблась в своем письме. Жалею...

— Да нет, что вы, Лидия Николаевна! Я полностью согласен...

— Не перебивайте. Ошиблась. Мне следовало написать письмо резче. И я жалею, что не добавила: за такие рассказы полагается с автора взыскивать стоимость испорченной бумаги.

Нет, она не смеялась, я это чувствовал по голосу: в нем кипела та самая благородная ярость, которую мне уже приходилось наблюдать, когда она защищала меня. Как резко изменилось положение! Боже, что за роковой злополучный «Василь»! Какими-то несчастными тремя страничками я начисто погубил себя во мнении Сейфуллиной. И я, онемелый, держал телефонную трубку возле уха и думал: уместно ли будет мне после этого еще когда-нибудь позвонить Лидии Николаевне? А она все продолжала свою словесную порку:

— Поймите, нельзя такие вещи печатать. Вы это понимаете?..

Наконец устала, остановилась, я слышал, как она перевела дыхание.

— Вы слушаете?

— Слушаю, Лидия Николаевна.

— Тогда вот что, вы приезжайте сейчас же ко мне. Я купила бублики, они еще теплые. Расскажите, над чем вы работаете.

— Да я...

— Ну вот! Обиделись? Скажете: «Ничего не пишу»? Вы должны писать, много писать, все время писать. Иначе у вас только «Васили» и будут получаться.

Зимой 1947 года Лидия Николаевна приехала в составе делегации Правления Союза писателей в Новосибирск на празднование двадцатипятилетнего юбилея журнала «Сибирские огни». Я тоже был на этом юбилее. Но сложилось как-то так, что встречи наши были мимолетны, на ходу: всё заседания, заседания, потом начались творческие семинары, а Сейфуллина оказалась не в той группе, где я. Она работала очень прилежно, читала бесчисленное количество рукописей, тщательно, с карандашом, и к вечеру, конечно, так уставала, что заходить к ней в номер, мне казалось, было бы просто жестокостью.

Но оказалось, что я ошибался, оценивая силы Лидии Николаевны. Железнодорожники станции Инской пригласили группу писателей в гости. Среди приглашенных была и Сейфуллина. Палил настоящий сибирский сорокаградусный мороз, ехали мы в автобусе тех времен, с очень жесткими рессорами, дорога — сплошные ухабы. Болтало нас, как в маслобойке, стекла в окнах занесло плотным инеем, но Лидия Николаевна, бог весть где раздобыв себе подшитые валенки, сидела преспокойно на переднем диване к нам лицом и всю дорогу рассказывала какие-то веселые истории.

Запомнилось мне, как по приезде в Инскую шофер спросил кого-то из нас:

— А что это за веселая бабушка ехала с вами? Ему сказали:

— Сейфуллина.

Он знал, что вез писателей. И вдруг задумался:
— Пойдите, пойдите, как... Сейфуллина? Та самая?

Мы подтвердили:

— Та самая.

И шофер, хлопнув кожаными рукавицами, побежал догонять Лидию Николаевну.

— Товарищ Сейфуллина, это вы? Да я ведь читал ваши книги! Ну никак я не думал, что вы, извините, живая и приедете к нам, а теперь вот — даже в Инскую.

И стал себя укорять, что вел машину так неосторожно, и пообещал обратно повезти нас, «как в лодочке».

— Вот расскажу-то я ребятам: возил Сейфуллину!

Все мы, остальные, явно были не в счет.

Собственно, такой удел выпал нам и на вечере. Все внимание, вся любовь зрительного зала была только с нею, с нашей милой Лидией Николаевной. Она вошла — и все зааплодировали. Она поднялась, когда ей предоставили слово, и долго не могла начать свою речь — никак не прекращались аплодисменты. Она смущенно сказала, что, честное же слово, она не знает, о чем говорить, она так мало пишет в последние годы, а можно ли жить старым богатством, — и снова аплодисменты заглушили ее слова.

Сейфуллина стала рассказывать о своей литературной юности. Как она явилась со своим первым произведением в редакцию и объяснила, что пришла по поручению сестры. А редактор читал, крутил головой и повторял: «Н-да, скажите вашей сестрице...» И дружеский смех перекатывался по зрительному залу.

Потом Лидия Николаевна припомнила, как она выступала вместе с Маяковским и как, чтобы не выглядеть вовсе ребенком рядом с гигантской фигурой поэта, она подкладывала себе под ноги стопу старых книг. А Маяковский поощрительно трепал Сейфуллину по плечу и говорил: «Ей они под ноги только и годятся». И еще более ласковым смехом отзывался зрительный зал на эти слова.

Возможно, добрая половина присутствующих и не читала ее произведений, в эти годы как-то не переиздавали Сейфуллину. Но кто же не знал ее имени? Кто не запомнил Сейфуллину как одну из зачинательниц советской литературы? Со зрительным залом вела сейчас разговор сама живая история нашей литературы.

После творческой встречи инские железнодорожники устроили небольшой банкет. Точнее, это был даже и не банкет, а просто дружеское чаепитие. Без пышных речей, без торжественного ритуала, да и на столе стояло совсем не банкетное, а очень скромненькое угощение. Но это и придавало особую теплоту и задушевность нашей беседе. Трудно пересказать ее содержание. Самые пестрые вопросы и ответы, реплики и возгласы сыпались вперекрест... Впрочем, это, пожалуй, как раз и определяло главное содержание разговора — говорить буквально обо всем и как придется, свободно и непринужденно. Лидию Николаевну вначале хотели сделать как бы председателем вечера. Она испуганно округлила глаза, так искренне и протестующе замахала руками, что даже выбила у соседа папиросу, и жалобно заявила:

— Ну вот, а я так озябла и думала попить чаю.

С этого и рухнула вся официальность и все пошло веселым колесом.

Уезжали мы от железнодорожников уже далеко за полночь. Шофер нас вез теперь действительно «как в лодочке», хотя по довольно-таки крутым волнам.

Лидия Николаевна говорила:

— Ах, как мне всегда хочется написать и еще что-нибудь хорошее... очень хорошее! Писатель обязательно должен все время писать, и все время писать лучше. И я напишу, честное слово, напишу еще...

Глаза у нее молодо блеснули, и вся она сразу как-то подобралась, словно готовясь к трудному прыжку.

Такой она ярче всего мне и запомнилась.

Макс Зингер

ВСТРЕЧА С СЕЙФУЛЛИНОЙ

16 февраля 1946 года Лидия Николаевна Сейфуллина заехала к нам на Большие Грузины вместе с Верой Константиновной Белоконь, одной из сотрудниц «толстых» журналов «Новый мир» и впоследствии «Октябрь». Лидия Николаевна подарила мне свою старую книгу «Повестей и рассказов» с трогательной надписью: «...В память чудесной, истинно дружеской встречи после ужасной войны и многих утрат...»

Мы с горечью вспоминали за столом длинный список навсегда ушедших товарищей литераторов... Лидия Николаевна взяла с меня слово побывать у нее, в проезде МХАТ.

Знакомый многоэтажный дом. Мы в гостях у Веры Дмитриевны Малышкиной. Здесь покойный Александр Георгиевич Малышкин читал и правил для «Нового мира» мой роман «Гольфштрем» в 1934 году.

Малышкин был мастером слова. Он обогащал свой литературный язык, расширял свой словарь, выискивал синонимы. Он учил меня изгонять слова-штампы, слова-паразиты, которые клейки, как патока, и наскучивают, как осенние дожди.

Он искренне радовался, открывая новые молодые таланты... Он уважал и высоко ценил творчество Сейфуллиной. Их объединяли незапятнанная литературная честность и благородство...

На вечер к Вере Дмитриевне, посвященный

Александру Георгиевичу, пришла и Лидия Николаевна. Она была замечательной собеседницей. И могло ли мне прийти тогда в голову, что мы очень скоро потеряем ее и навсегда расстанемся с этой чудесной женщиной, такой прямой и смелой художницей и человеком?

Надо было прийти на вечер обязательно со стенографисткой!.. Так интересны были воспоминания Лидии Николаевны о встречах с Горьким и другими большими писателями.

— Подвели меня к Горькому на сессии ВЦИК и представили, — рассказывала она. — Он был выше меня ростом на две головы. Поглядывал сверху вниз, как на ребенка, и сказал:

«Вот вы какая!»

И стал говорить, улыбаясь в усы, как со старой знакомой:

«Вы мне, Лидия Николаевна, скажите... Улицу мне подарили, понимаете ли, парк подарили, город целый подарили. Вот такая вещь... Не знаю, что с ними делать: такие подарки! Необычные... понимаете ли...»

Но чувствовалось, что он был взволнован и потрясен этими событиями в своей жизни. Редко кто из самых именитых писателей получал при жизни такое всенародное признание и благодарность.

Однажды мне позвонили от имени комиссии приключенческого жанра ССП СССР (была такая комиссия) и предложили выступить в клубе писателей.

— Мы даем тебе целый вечер! Можешь сам подобрать себе писателя, который сказал бы вступительное слово на твоём вечере. Есть у тебя такой писатель, близко знающий твоё творчество?

— Есть, — ответил я.

Однако, как это случается, я ошибся в своих расчетах. Этот писатель любил вспоминать на собраниях о... покойниках. А здесь придется говорить о живом человеке. Круг его жизни ещё не завершён... И я услышал в ответ невнятное:

«Знаете ли... понимаете ли... такая штука... буду занят, не сумею, был бы рад, с удовольствием в другой раз, благодарю за предложение, но...»

После столь вежливого отказа я тут же позвонил Лидии Николаевне и начал было пространно объяснять свою просьбу, — меня тут же перебил ее жизнерадостный голос:

— Обязательно буду выступать! Принесите мне ваши последние книги и познакомьте с тем, что будете читать на своем вечере. Отберите поостроже, порче, что сами любите больше всего!

Я принес Лидии Николаевне главу из своей документальной повести «Подводник Гаджиев».

Лидия Николаевна сделала ряд поправок в моем тексте и написала на полях близ морского слова «соплаватель», принятого в морском обиходе и означающего человека, с которым приходилось участвовать в одном или нескольких совместных морских походах:

«Замените это слово на более благозвучное. Ведь если идти по следам этого неологизма, то придется производить и такие заведомо негодные слова, как «сопляжник», т. е. человек, с которым вы вместе загораеи на пляже, и т. п.».

Вглядываясь в замечания Л. Н. Сейфуллиной, сделанные на полях рукописи, я видел святую тревогу писательницы за чистоту русского языка, за уместность слова в каждой фразе, за каждое слово вообще. И хоть за моими плечами было уже немало выпущенных в свет книг, все равно я смотрел на Лидию Николаевну, как на старую учительницу, и внимательно прислушивался ко многим ее поправкам.

После окончания литературного вечера я проводил Лидию Николаевну до дому. Шли пешком. Был чудесный мартовский вечер. Близилась весна. Природа оживала. Наступала большая работа для фенологов.

Лидия Николаевна вспомнила, как получился у нее первый рассказ «Павлушкина карьера»... Редакция «Советской Сибири» заказала ей — секретарю

Сибгосиздата — статью для подборки к «Неделе ребенка». Писала статью, а вышел рассказ. Его напечатали. Он был замечен читателями и критикой. Вскоре «Сибирские огни» опубликовали ее повесть «Четыре главы», а затем вышел из печати рассказ «Правонарушители». Началась писательская слава...

Маленькая женщина с большими, умными черными глазами и мальчишеской прической, человек большого таланта, смелых суждений и твердого характера — такой запомнилась мне Лидия Николаевна навсегда. То, что считала справедливым, об этом и говорила на собраниях, смело, без оглядки и невзирая на лица. Лидия Николаевна была деятельной общественницей.

В памятный вечер у Веры Дмитриевны Малышкиной кто-то заговорил о недавней смерти одного из писателей... Лидия Николаевна зажглась:

— А я смерти не боюсь нисколько! Древний философ Эпикур сказал: «Пока мы существуем — смерти нет, а когда она явится — нас не будет. Нет, стало быть, смерти ни для живых, ни для мертвых».

Сейфуллина встряхнула при этом своей мальчишеской прической и озорно посмотрела огромными черными глазами, которые, казалось, сыпали на нас искрометные огоньки.

И мне вдруг вспомнился водопад на реке Курейке, притоке великого Енисея на Крайнем Севере, куда мы с Борисом Васильевичем Лавровым, основателем Игарки, добрались с приключениями в 1931 году на верповальной лодке... С высокой каменной плиты падал огромный каскад воды, и так громозвучно, что мы, сколько ни кричали, не могли пересилить шум этого полярного падуна. Мы совершенно не слышали друг друга и даже своего собственного голоса. Мы будто онемели... В полярный круглосуточный солнечный день мы любовались и самим порогом, его неустойчивой силой, вечной радугой, искрившейся хрусталем в наполненном водяной пылью воздухе.

И сто и двести лет назад гремел в тайге этот немолчный поток, говоря о вечной работнице — воде,

о неизбывности жизни чудесной природы. И через сотню и через двести лет наши потомки, стоя у этого слива воды, будут, как мы, любоваться чудом северного края.

Смерти нет!

Природа живет вечно. И вечно живет пламенное слово поэта, и не изгладится из памяти образ благородного человека и большого писателя Лидии Сейфуллиной.

Г. Кунгуров

НЕУГОМОННОЕ СЕРДЦЕ

Недавно я перечитал рассказы Лидии Николаевны Сейфуллиной, переизданные библиотекой «Огонька», и вновь в моем сердце зазвучали слова Саши, трогательной и волевой русской девушки — сержанта Советской Армии:

— Для сильной человеческой души не может быть в жизни страдания, которого нельзя перенести.

И дальше автор, вступая в собеседование с читателем, находит свое проникновенное слово:

«В тот день Саша ощутила свято и просто: в счастье ли, в славе ли, в личном ли тяжелом страдании она не сможет изменить воинскому долгу, не изменит самой неистребимой любви — любви человека к своей Родине».

Передо мною вспыхнули широко открытые глаза, в них умная и строгая хитринка и тот трепетно-беспокойный огонек, который и настораживает и располагает, глаза «сильной человеческой души...»

Таковыми мне всегда рисовались живые, с азиатской раскосинкой глаза Лидии Николаевны, человека с горячеей жаждой жизни, неугомонным сердцем, любовью к советскому человеку, к его всеильной правде.

И вот... черный полированный гранит, в овале портрет, а под ним строгие строчки: «Писательница Лидия Николаевна Сейфуллина. 1889—1954». У подножья надгробия — белые астры на тонких серебра-

ных ножках и... тишина, тишина... Вижу скорбные лица, слышу убежденный голос:

— Нет, написанное ею не умрет... Она проторила приметную тропинку к сердцам советских читателей.

Все отодвигается и медленно тонет в зелени трепещущих листьев, в блеклых красках цветов.

...С Лидией Николаевной я познакомился в Москве в 1946 году. Проходила конференция прозаиков областей РСФСР. На заседание Лидия Николаевна пришла раньше других. К сибирякам всегда была равнодушна. Завязалась беседа.

— По Сибири скучаю... Хочется постоять у моего родного дома. Обязательно побываю в Новосибирске и Иркутске.

Мы наперебой приглашали, обещали все устроить так хорошо, что Лидия Николаевна не будет торопиться обратно в Москву и поживет у нас в Сибири подольше.

Желание свое она осуществила, и мне удалось встретиться с нею и в Новосибирске, и в Иркутске. Помню, какое неотразимое впечатление произвела статья Лидии Николаевны в газете «Советская Сибирь». Это были дни, когда все мы, сибиряки, с нетерпением ожидали выхода первого номера журнала «Сибирские огни». После четырехлетнего перерыва, вызванного Отечественной войной, вновь возгорелись огни литературной Сибири. Статья Лидии Николаевны «Из прошлого» будила сердца, вдохновляла и окрыляла писателей и литературную общественность. Она заканчивалась призывными строчками, щедро наполненными солнечным светом бодрости и надежд:

«Теперь, при новом его возникновении, я, старый сотрудник «Сибирских огней», от всей души желаю редакции восстановить те традиции, которые по проверке временем оказались правильными, верными проводниками идей коммунизма, и создать настоящий сибирский журнал».

И каждый из нас понимал, о каких традициях печалилась Лидия Николаевна, чем озабочена: она призывала возродить горьковские традиции. Именно

Алексей Максимович в свое время благословил «Сибирские огни», дал путевку в жизнь этому журналу, неустанно следил за его ростом, успевал читать почти все его произведения, которые публиковались в нем, знал поименно всех писателей Сибири.

...Не забуду, с какой горделивой радостью рассказывал нам И. Молчанов-Сибирский о Второй всесоюзной конференции молодых писателей. Она была созвана в Москве в 1951 году Союзом писателей СССР и ЦК ВЛКСМ. Среди выдающихся мастеров слова по-хозяйски заинтересованное участие в работе конференции принимала и Лидия Николаевна. Она со свойственной ей привязанностью к сибирякам уделяла им много внимания. И. Молчанов-Сибирский говорил:

— Сибиряки были представлены на конференции большой делегацией. Особенно высокую оценку получили рассказы омского писателя Сергея Залыгина, гидротехника по специальности. Лидия Николаевна Сейфуллина горячо рекомендовала издать эти рассказы в Москве.

Чуткое сердце большой писательницы не ошиблось, по первым рассказам молодого литератора она разгадала талант и открыла для нашей литературы нового писателя. Имя Сергея Залыгина как очеркиста и рассказчика теперь известно далеко за пределами Сибири.

...В Иркутск Лидия Николаевна приезжала в 1951 году на областную конференцию молодых писателей. После конференции она осталась у нас и прожила более месяца. Активно принимая участие в работе конференции, она быстро стала душой этого большого литературного дела: читала рукописи молодых, консультировала, выступала на обсуждении. При разборе рукописей Лидия Николаевна была суровым и правдивым критиком, умела находить по первым бледным росточкам крупницу здорового, обещающего и отстаивала это бурно и убежденно. Была неумолима и со свойственной ей прямоотой обрушивалась на мелкое, наносное, ложное и так же бурно и убежденно отстаивала свое мнение, бракуя и отсеи-

вая те произведения, в которых не находила правды жизни.

Она говорила:

— Если писатель врет, то даже прекрасно врущий писатель никогда не будет долговечным, ибо литература — это такое искусство, где лгать нельзя. Где-нибудь да врун проговорится. Это связано с нашей идеологической убежденностью, и потому врун никогда не напишет советского, коммунистического произведения...

Краткое заключительное выступление Лидии Николаевны на конференции оставило в сердцах всех участников неизгладимо приметный след, заставило волноваться, думать...

Она говорила горячо. Несколько странно и трогательно все это выглядело: маленькая черноглазая женщина за большой кафедрой бросала в притихший зал слово за словом, уверенно и страстно покоряя слушателей. Она упорно подчеркивала то главное, что должно направлять человека, взявшего в руки писательское перо:

— Задача, которая стоит перед каждым, кто берется за писание рассказа, повести или романа, — это писать человека.

Оценивая конференцию и ее результаты, Лидия Николаевна с присущей ей откровенностью и размахом подвела итоги:

— Я с искренним восхищением, чисто дружески и искренне хочу сказать, ибо мне не для чего льстить, но я была восхищена не тем, что все время сидели здесь партийные руководители области, а тем, что они были действительно заинтересованы каждой индивидуальностью, каждой особой, каждым творческим исканием всех тех, кто собрался в этой аудитории... Все ее участники жили одним желанием. Это очень хорошо, и это даст свои положительные результаты.

Лидия Николаевна бросила и ряд колких упреков, была удручена тем, что на конференции оказались обойденными проблемы драматургии:

— Мы, например, не говорили о драматургии...

У нас на конференции не было даже разговора об этом. Между тем большое значение в этом вопросе имеют не только большие сцены профессионалов, но и коллективы самодеятельности. Вот где глубоко внедряются наши идеи, пафос и мысли. Об этом надо подумать.

...Лидия Николаевна не только по-хозяйски вторглась и внесла живительную струю в конференцию, она включилась в общественную жизнь области. Ее привлекало все, и везде хотелось успеть. Когда она узнала, что на сцене Иркутского областного драматического театра поставлена пьеса А. М. Горького «Варвары», зажглась желанием непременно увидеть этот спектакль. Он был посвящен пятнадцатой годовщине со дня смерти великого пролетарского писателя. Лидия Николаевна посмотрела спектакль, он ей понравился, и она решила выступить со своим мнением в печати. Вскоре в газете «Восточно-Сибирская правда» появилась ее статья «Хороший спектакль» (заметки писателя). Как при рассмотрении рукописей, так и здесь она проявила тонкое понимание, сумела увидеть главное. Среди несовершенного и тусклого, от чего не был избавлен спектакль, она отыскала талантливое, именно то, чем искрится и блещет истинное искусство.

Заканчивалась статья обращением к иркутянам: «Весь спектакль «Варвары» в Иркутском областном драмтеатре так внутренне богат, что я просто не могу говорить о некоторых его дефектах. Всем иркутянам я советую посмотреть этот по-настоящему художественный спектакль. Каждый, посмотревший его, получит большое моральное и эстетическое удовлетворение».

Воспоминания о наших встречах с Лидией Николаевной никогда не померкнут. Помнится: беседы неизменно начинались расспросами о том новом, что ежедневно и ежечасно рождалось в Сибири. Лидия Николаевна была ненасытной, с неугасимым вниманием слушала она и о моторном лове рыбы на Байкале, и о покорении Ангары, и об открытой добыче угля в Черембассе. Ее обрадовала речь председателя облисполкома на нашей писательской конфе-

ренции о перспективах развития в Восточной Сибири индустрий, сельского хозяйства, культуры. Лидии Николаевне все это рисовалось, как сказочная картина, и она нас упрекала:

— Мало пишете о людях сибирских строек, ведь они, эти замечательные люди, сами просятся на страницы ваших романов, повестей, рассказов...

Потом вздыхала и задумчиво, словно для самой себя, тихо высказывала сокровенное:

— Писать, строго надо писать; настоящее слово отыскивать трудно; легко найденное, схваченное на поверхности, оно невесомо и недолговечно... Этого нужно всегда бояться.

Много и увлеченно говорила о писательском мастерстве; слушать ее можно было бесконечно. Требовательный мастер слова, она боролась за самобытное, правдивое, полное жизни и веры в человека искусство живописи словом. Мы просили ее высказать свои мысли в печати, поделиться своей творческой лабораторией. Она качала головой:

— Разве все успеешь, да что я, у нас есть вон какие мастера...

И все-таки Лидия Николаевна написала статью «Мастерство писателя», статья недавно была обнаружена в архиве покойного поэта И. Молчанова-Сибирского и опубликована в № 1 альманаха «Ангара» за 1959 год.

Передо мною та же небольшая книжка с портретом Лидии Николаевны. Это «Рассказы» в издании библиотеки «Огонька». Вновь и вновь я перечитываю их и нахожу то, что не замечал при первом чтении. Книжечка эта дорога моему сердцу еще и потому, что она — личный подарок, на ней рукой Лидии Николаевны написано: «...с глубоко искренним чувством дружбы и уважения, от автора. Л. Сейфуллина. 1951 г. Иркутск».

Минуют годы, и выпадают из памяти многие факты, события, люди, но есть незабываемое, перед чем отступает и время. Набросить тень забвения на образ Лидии Николаевны, ослабить его притягательное обаяние время бессильно.



О л ь г а М а р к о в а

ИСКУССТВО УЧИТЕЛЯ

Чтобы сказать о том, что значит для меня знакомство с Лидией Николаевной Сейфуллиной, мне необходимо вернуться к 1927 году, когда до рабочего поселка Новая Утка на Урале впервые дошла ее «Виринея».

Дошел образ этой сильной русской женщины не в повести, а в пьесе, и мне, тогда студентке, приехавшей на каникулы, выпало на долю играть ее.

Режиссер, артист-профессионал, помог нам разобраться в характерах героев, в значении этого произведения и потребовал от нас настоящего искусства. Его взыскательность к тому, что происходит на сцене, заставила многих покинуть кружок. С каждым спектаклем кружок наш редел все больше. Однако работа над «Виринеей» увлекла нас и спаяла.

Самодеятельность наша брала для постановок много случайного. Мы ставили «Боевые соколы» Писемского, «Дни нашей жизни» Андреева и прочие пьесы, рисующие иную жизнь, далекую от жизни поселка и в силу этого — непонятную зрителям.

Кружок состоял из рабочих и представителей молодёй советской интеллигенции. Кружковцы не отличались еще должной культурой, но они нашли в «Виринее» много знакомого, что роднило их с образом героини, а главное, увидели богатые, но не развернувшиеся еще силы народа.

Пьесу разыграли с большим внутренним подъемом.

Широта, доброта и щедрость характера Виринеи, многогранность его сделали для меня исполнение этой роли невероятно трудным и увлекательным.

Мы играли всегда при полном театре. И были довольно снисходительны к тому, что происходит в партере: зрители лузгали семечки, переговаривались, вслух выражали свое отношение к героям пьесы, кричали актерам: «Лупи его!» или «Чего ты глаза пялишь в сторону, не видишь, что он предатель?!» Переходили с места на место. Гардеробной в помещении не было. Поэтому зрители не раздевались. Головных уборов также не снимали. И мы, доморощенные артисты, ко всему этому привыкли.

С «Виринеей» все это исчезло навсегда. «Виринея» прозвучала, как взрыв. Это был первый спектакль, когда уткинские зрители унесли из театра нетронутые семечки в карманах и ощущение серьезности и важности всего, что им в тот вечер предложили смотреть.

Нас много раз заставляли возвращаться к этому спектаклю, повторять его; с ним ездили мы по районам, и всюду встречали одинаковую реакцию зрителей: полную тишину, взволнованность и бурную благодарность. Правда, в ревдинском заводе последнее действие пьесы было неожиданно прервано появлением у сцены человека в оборванном полушубке. Сказав нам: «Тише!», он обратился к публике, вернее, не ко всей публике, а к женской ее части:

— Бабы! Вот она, ваша-то жизнь, какая была: жили вы — не жили, темнота вас изгрызла, нищета съела, а вы не согнулись, выпрямились! Спасибо Красному Октябрю!

Этот, не предвиденный никем перерыв в спектакле не вызвал ни смеха, ни осуждения. Отнюдь! Его приняли серьезно, как должное, горячо аплодировали оратору.

Интересно отметить, что и мы, артисты, не были смущены этим вмешательством в жизнь сцены. Оно прозвучало как дополнительное явление в акте,

подчеркивающее всю глубину мысли, вложенной в пьесу.

Взволнованные еще больше, с сознанием, что делаем необходимое всем дело, мы продолжали спектакль.

Возвращаясь из Ревды, сидя в ожидании поезда на станции Хромпик, мы наблюдали такую сцену: женщина, с виду работница, в длинной сбористой юбке, седовласая, но с молодым румяным лицом, переругивалась с двумя подвыпившими пареньками:

— О нашей поганой бабьей жизни уже и пьесы начали показывать... Мне бы грамоту! Я бы такую книжку написала! И выучусь! Назло всем выучусь! Уж теперь-то выучусь!

Парни хохотали.

Нас, вчерашних артистов, никто не узнавал. И не в нас было дело. Дело было в том, что сама пьеса помогла что-то понять женщине, заставила ее жалеть, что жизнь была «поганой», заставила страстно желать лучшего и мечтать!

Через «Виринею» мы познавали мир. Но я еще больше полюбила этот образ за то, что создала его учительница. Только это тогда мы и сумели узнать о Лидии Николаевне Сейфуллиной.

Мечтая сама стать учительницей, я посчитала автора *своим* человеком, понимающим жизнь куда больше, чем я и знакомые мне учителя. После, уже работая в школе, при решении трудных вопросов методики подхода к ученикам я мысленно обращалась к автору «Виринеи»: «А как бы ты поступила сейчас?»

Только через восемнадцать лет, в 1945 году, мне выпало счастье познакомиться с Лидией Николаевной лично и понять ее «методу» воспитания. Понять на себе, на встречах ее с другими писателями.

О Лидии Николаевне Сейфуллиной — учителе, воспитателе писателей я и хочу рассказать все, что успела узнать.

Мою повесть «Разрешите войти» (тогда она называлась «Солдаты») на материале ремесленных училищ, написанную мною после десятилетнего пере-

рыва в творческой работе, передали на редактирование Лидии Николаевне и сообщили мне об этом. Только что приехав в столицу, я с волнением сняла телефонную трубку и была почти рада, что писательницы не оказалось дома, так как страшно вдруг оробела. Со мною говорила ее сестра Зоя Николаевна. Рукопись еще не читалась.

Ждать пришлось недолго. Вечером того же дня Лидия Николаевна позвонила мне. Я не была знакома с ее обращением и была потрясена формой нашего разговора. Отрывистая речь, предельный лаконизм — показались мне почти грубыми.

— Я прочитала вашу повесть до половины. Редактировать отказываюсь: ее нужно переписать заново. До свидания.

Это «до свидания», которое (я понимала уже) не сможет и состояться, потрясло меня. Трудно сказать, что больше убивало: то, что я написала плохую повесть, или то, что свидание с Лидией Николаевной, создателем любимого мною героя, не состоится.

Уснуть в эту ночь мне не пришлось: в двенадцать часов новый телефонный звонок разбудил квартиру. Звонила Лидия Николаевна. С той же предельной лаконичностью, сурово, как приговор, она заявила:

— Читаю повесть дальше. В ней есть такое, что я берусь редактировать. Завтра мы должны встретиться. У вас есть что-нибудь напечатанное?

Я назвала единственную повесть «Варвара Потехина», напечатанную десять лет назад.

— Принесите. Я должна познакомиться глубже с манерой письма.

Прозвучавшее в трубке «до свидания» показалось на этот раз песней надежды.

«Варвары Потехиной» со мной не было. Я попросила у сестры книжку, подаренную ей, и утром отправилась на квартиру писательницы.

Мне открыла дверь сама Лидия Николаевна. Будучи знакома с ее портретами раньше, я сразу узнала ее и заволновалась еще больше, подумав, что свою порывистость, умный, пытливый и долгий взгляд Лидия Николаевна вложила в «Виринею».

Я была конфузлива. Меня попросили снять пальто и сесть. Лидия Николаевна кончала какую-то работу, и некоторая пауза дала мне возможность познакомиться с обстановкой.

Длинная комната с огромным письменным столом у огромного же окна, девической чистоты узкая железная кровать, книжный шкаф — все носило следы простоты и непритязательности.

— Что вы так сели? — бросила Лидия Николаевна, глядя на меня из-за плеча.

Только тут я заметила, что сижу на краешке стула.

— Принесли книгу?

Я подала ей книгу, не придавая значения тому, что она адресована другому человеку. Автограф-то прежде всего вслух и прочитала Лидия Николаевна: «Желаю тебе силы в твоём великом одиночестве!»

— Это кому вы писали?

— Сестре.

Молчание длилось недолго. Наконец Лидия Николаевна заговорила снова, почему-то сильно волнуясь:

— Сейчас я не смогу разговаривать с вами. Прошу вас, вечером познакомьте меня с сестрой... — Глаза ее были увлажнены.

Не поняв ее порыва, предвидя все препятствия, какие сестра (не менее робкая, чем я) выдвинет, я в унынии покинула дом Сейфуллиных.

«Варвара Потехина» ей нравилась.

— Правильно. О ломке старого крестьянского сознания в женщине писать нужно. Помогать ей. — И хорошо, интересно говорила она о терпении народа, о его выносливости, о силе.

Дописывать повесть «Разрешите войти», как того хотела Лидия Николаевна, я не могла. Долго мне казалось, что все необходимое в ней есть; требования редактора я считала неосновательными. Побившись со мною, Лидия Николаевна выправила стиль и отправила рукопись в Свердловгиз. Вскоре мы получили подтверждение, что она получена и сдана в производство.

По просьбе редакции «Комсомольской правды» я начала писать рассказ «Разрешите войти», тоже на материале ремесленных училищ. Со своим замыслом я пришла к Лидии Николаевне. Она внимательно выслушала меня и, мягко-мягко улыбнувшись, сказала:

— Вот чего недостает в повести! Но теперь уже поздно: книжка в наборе.

Я даже привскочила: в самом деле, если вложить мысль рассказа в повесть «Солдаты», объединить материал, будет неплохо.

— Лидия Николаевна, надо задержать набор!

— Не смейте этого делать! Справитесь ли вы с такой большой работой в короткий срок, я сомневаюсь! Книжка принята, пусть идет! — Она смотрела на меня пытливо, выжидательно.

Я ушла растерянная, долго бродила по Москве, жалея, что поторопилась, и стараясь понять взгляд Лидии Николаевны, которым она меня проводила. У нее были удивительно говорящие глаза! Они выражали все: и радость, и сомнение, и вопрос, и осуждение. На этот раз она смотрела на меня с таким вопросом и с таким сомнением, что нельзя было не думать о том, что она хотела сказать.

Несколько раз подходила я к почтамту и убегала от него. Наконец решилась, зашла и дала телеграмму в Свердловск: «Задержите набор».

Лидии Николаевне позвонила из дому. Узнав, что я наделала, она обрадовалась:

— Молодец! Это по-настоящему!

Мне, одобренной ею, пришлось переписать заново книжку, а Лидии Николаевне ее редактировать еще раз.

Я много до этого училась, но настоящий курс русского языка, техники литературного труда я прошла в этот месяц.

«Выйдя из дома, он увидел, что снег в это утро сошел, и, заглянув во двор завода, убедился, что он сошел и с тропок», — читала Лидия Николаевна. — «Выйдя, заглянув»! Так и сыплет, так и сыплет деепричастиями! А кто, по-вашему, «заглянул во двор»?

Снег или Иванко? «Сошел, сошел, сошел с тропок!» — говорила она, делая ударение на «о», — «Сошел с тропок!» Ой, как тяжело! Фраза должна быть легкой, не утомлять читателя, а поднимать, как песня.

К призванию художника Лидия Николаевна относилась требовательно и сурово. Мне до сих пор кажется, что, не задержи я тогда набор повести, дружбы взыскательной и радостной у нас не получилось бы. Только этот мой поступок сказал Лидии Николаевне, что со мною стоит работать.

— Разве герой это должен сказать?! Да такие слова, мысли не в его характере! — замечала она дальше.

Всякую ложь в произведении Лидия Николаевна чувствовала остро.

— Зина и Наташа в повести на одно лицо, — говорила она. — Это необходимо устранить! Зачем навязывать читателю одного и того же героя дважды, одну и ту же речь, один и тот же характер.

Встретив в тексте какую-нибудь мудреность, она озадаченно перечитывала ее и начинала тихонько смеяться. Я замирала: «Что я опять там такое написала?»

Лидия Николаевна вслух перечитывала и уже серьезно и сердито смотрела на меня, очевидно ожидая, что я сама пойму свой ляпсус. Когда я спохватывалась и искала для выражения мысли другие слова, она светлела. Случалось, что я не понимала, что именно неверного и плохого находила Лидия Николаевна в моих словах. Тогда она поясняла:

— Писать нужно просто. Слова выбирать, которые всякий поймет, процеживать их, чтобы выбрать самые точные и выразительные. Это не просто — писать просто! Это труд. Прочитаешь такое и подумаешь: «Ой, как все легко!» А как сам искать простоту будешь, узнаешь, что не так легко!

Много и часто она твердила об идее произведения. Не терпела ни одной детали, которая не «работала бы» на идею.

— Все должно быть четко в произведении, все продумано. И все должно говорить! Не просто раз-

влекать читателя сюжетом, не закручивать, а донести до него саму жизнь, саму правду! И — ни на шаг от главного замысла!

Или:

— Бедные слова! Все на месте. И материал знаешь, и людей... И мысли есть, а слова бедны. Пустых мест нельзя допускать и персонажей ненужных! Вот какое значение для идеи имеет этот персонаж? Что он добавил? Чем обогатил идею? Лишний он, лишний... А этот характер очень прямо сообщаем. Именно — сообщаем, а не рисуешь. Характер должен быть и в поступках, и во внешности человека, и в речи!

К слову Лидия Николаевна была предельно чутка. Но отдельные слова просто не терпела. Отметив у меня дважды слово «вечерело», конечно, необязательное и затасканное, она частенько им одним выражала свое отношение к тексту:

— Опять у тебя «вечерело»!

Я, по наивности понимая вначале все в буквальном значении слова, бросалась к страницам, искала эту проклятую кляксу и, не находя, возражала радостно:

— Да нет же здесь «вечерело»!

— Читай!

В дальнейшем я научилась понимать Лидию Николаевну со взгляда, а вначале много страдала, считая ее придирой. Однако, внимательный учитель, Лидия Николаевна вовремя видела мое состояние и осторожно его выправляла.

— Нужно читателя представлять перед собой, думать, что ты ему принесешь этими страницами!

До этого я мало задумывалась о читателе. Лидия Николаевна заставляла меня все время чувствовать его, спрашивать его мысленно, как он отнесется к тому или иному положению, характеру, слову. Она сделала труд для меня осмысленным.

Каждый день, каждая встреча с ней давали мне новый значительный урок.

Целый месяц изо дня в день я проходила эту школу, видела, что не меня одну она так любовно выращивает... Бескорыстный интерес к писателям

привлекал к Лидии Николаевне многих. Я невольно перезнакомилась в ее квартире с массой писателей и видела, что каждому она щедро отдает крупицу своего опыта, своих знаний жизни, крупицу своего богатого сердца.

Никогда не боялась она рисковать, хваля то или иное произведение. Никогда не боялась поправить писателя как в области литературной техники, так и в воспроизведении правды жизни. Она не терпела ни малейшей лжи в поступках, в поведении героев.

Необычайная преданность жизни помогала ей в этом.

Каждую деталь, выписанную со всей полнотой, она обязательно отмечала, долго останавливалась на ней, всячески варьируя, и кончала похвалы всегда страстно:

— Художник! Ничего не скажешь!

Однако не любила Лидия Николаевна писателей, которые ждали не щедрого ее совета, а доработки, полного ее вмешательства в создание художественного произведения. Я была свидетельницей, когда один товарищ, небрежно бросив на стол Лидии Николаевны свою рукопись, развязно заявил:

— Вы можете пройти по ней карандашом, я даю вам полное право вписывать в мою повесть что хотите!

— Я не прошу у вас этого права! — возразила растерянно Лидия Николаевна.

Ее растерянность быстро прошла. Уже достаточно изучив ее лицо, я поняла: сейчас будет что-то страшное! Так она побледнела, так задрожали ее губы.

— Вы — альфонс! Вам важно не писать, а напечататься! — крикнула она.

Ее гнев не смутил альфонса. Спокойно взяв рукопись, он ушел. Лидия Николаевна в этот день работать уже не могла. Прямолинейная, неспособная затаить злость про запас, она всем говорила в лицо правду-матку, но после очень страдала от этого.

Все ей казалось, что она могла бы поискать другие слова, которые подняли бы плохого человека,

заставили бы его задуматься, пересмотреть свое поведение. Зато, когда видела результаты своих трудов, она молодела, добрела, раскрывала душу.

В квартире Сейфуллиных часто было людно. Не только писатели искали с Лидией Николаевной встреч. Актеры, философы и научные работники знали, что всегда могут рассказать ей о своих дерзаниях и всегда найдут у нее признание их надежд.

В 1946 году будучи на конференции прозаиков в Москве, я получила от мужа телеграмму: «Володя Смирнов застрелился. Подготовь Аню».

Володя — наш общий друг, с которым мы вместе учились, талантливый литератор, чуткий и мудрый человек, всегда целеустремленный и собранный. С первого дня войны он находился на передовых позициях; работая во фронтовой газете, он одним из первых поднял материал о краснодонцах.

Я должна была подготовить его жену.

Незаметно около меня оказалась Лидия Николаевна, взяла из рук телеграмму и прошептала:

— Спокойно...

Я плакала и дрожала, обращая на себя внимание товарищей.

Лидия Николаевна вывела меня из зала, усадила. Осторожно расспросив о Володе, с большой грустью произнесла:

— Не понимаю самоубийц... Нет, не понимаю! Так интересно жить! Так хочется быть до конца полезной! — и оборвала себя, помолчала.

Оставив меня, ушла и быстро вернулась:

— Я вызвала машину, поезжай к Ане. Только спокойней. Не забывай, что тебе легче, чем ей...

Когда я вернулась от Смирновых, она встретила меня в подъезде. Ждала.

— Рассказывай все! — И снова повторила: — Не понимаю! Жить так необходимо! Так все нужны!

Конференция продолжалась. Лидия Николаевна участвовала в каждом заседании. Много и интересно выступала. Каждым выступлением своим она вносила большое оживление, привлекала своими замечаниями всю аудиторию. Коридоры пустели, все бежали

в зал, как только на трибуне появлялась Лидия Николаевна. И все-таки каждый день она не забывала спросить, была ли я у жены погибшего друга, подсказывала мне слова, внушающие силу и бодрость осиротевшей семье.

По вечерам мы, живущие в общежитии при Союзе писателей, каждый раз возвращались к выступлениям Лидии Николаевны, списывали их друг у друга. Даже потушив свет, лежа в темноте, мы продолжали вспоминать ее слова, интонации, жесты, поражаясь ее умению не обидеть никого резкостью суждений, суровостью требований. Особенно поразило нас ее заключительное слово, где она заявила, что и ей, как и нам, конференция дала много. Дала уверенность, что наша литература растет, углубляется. Она большая. Точно я не могу восстановить ее слова, но помню общее ощущение значимости своих сил, веры в них. Вот эту уверенность Лидия Николаевна, как никто, умела всем внушить.

Узнав, что я увлекалась сценой, Лидия Николаевна произнесла с непонятной мне тоской:

— Я ведь тоже увлекалась сценой...

— И играли?

— Играла. Даже в профессиональном театре играла...

Так я узнала интересную страницу жизни Лидии Николаевны. Она выступала вначале на любительской сцене, часто с декламацией в концертах, затем в профессиональных театрах — в Вильно, в Ташкенте, в Оренбурге и других городах. Ее видел в одной пьесе Метерлинка (не помню — какой) Станиславский и отнесся к ее игре положительно. Несмотря на успех, Лидия Николаевна ушла со сцены.

— Не выдержала... Хотелось живого общения с людьми. Знала я, каким народ наш тогда был в массе своей отсталым, хотелось быстрее видеть результаты своего труда...

— Но, выбрав труд литератора, вы также не сразу видите результаты своего труда, — возразила я.

— Э-э, милая, здесь я пишу для народа и о народе... Несу свою правду, какая бы она ни была,

а на сцене я обязана была нести чужую правду... Да и не сразу я пошла в литературу, долго еще блуждала... Увлечлась чтением любимых произведений на публике, пересказывала целые романы...

К личной жизни каждого она относилась очень деликатно. Однако не любила, когда перед ней распускались.

Перед моим отъездом на Урал мы собрались с друзьями. Как всегда, пели народные песни. Сама Лидия Николаевна не пела, но народные песни очень любила слушать. На этот раз я привезла в Москву в подарок, как считала, народную песню «Ветка», на слова Мятлева.

Я запела при общем внимании. Песня длинная, но каждое четырехстишие я старалась подать как откровение. И когда окончила, долго все молчали. В этом затянувшемся молчании раздалось насмешливое:

— Та-ак! — Это протянула Лидия Николаевна.

Я взглянула на нее и поняла: сейчас будет взрыв.

— Так, — повторила она. — Значит, все кончено! От родного деревца ветер оторвал, пусть же несет куда хочет волна? И не противлюсь, и нечего искать, так как с родным деревом не срастись? — спросила она уже грозно. И сама же ответила: — Так! Это, милая моя, философия слабых! А ведь как она ее пропела! Сколько чувств израсходовала! На что? Вишь ведь, как жалобно да как горестно! Пожалейте ее! Эх, ты! Да к лицу ли тебе жаловаться! Молодая, сильная, а вон ведь куда ее кинуло! — Лидия Николаевна не переставала удивляться.

И удивлялась так убедительно, что у меня с песней Мятлева не осталось сторонников. Поднялся спор. Кто-то робко возразил: уже не одна Лидия Николаевна, а все заставили противника замолчать.

Мне было стыдно. Очень стыдно. И не за то, что меня отчитали, как девчонку, а за то, что я несла слабость как убеждение! Стыдно и потому, что Лидия Николаевна с тех пор, как мы были знакомы, верила в меня, считала меня сильной, а я вот обманула ее!

Видимо, милая Лидия Николаевна после этой своей резкости опять страдала, я знаю. А напрасно! Мне ее справедливый гнев так много дал! Он до сих пор не дает распускаться, до сих пор мобилизует меня! И понимала я, что гнев этот был именно против моей слабости, а не против чуждой песни Мятлева.

В то же время она говорила мне:

— Писателю нельзя так отдаваться личному. Писатель должен жить своим искусством. Быт — изменчив. И это очень хорошо! Личное тогда только может тебя занимать, когда оно дает опыт, знание жизни, знание человека через собственные переживания.

Сама Лидия Николаевна совсем не терпела любопытства и разговоров о своей личной жизни.

Я сердилась, пыталась тоже замкнуться, что-то утаить о себе, промолчать, но это мне не удавалось: всепонимающим взглядом встречала меня Лидия Николаевна, спрашивала о здоровье, задавала необязательные вопросы, затем, точно угадывая мое беспокойство, требовала:

— Ну, а теперь рассказывайте, как у вас... — И называла именно то, что не давало мне покоя в этот день.

Обращалась она ко мне то по-домашнему ласково — «ты», то официально и строго — «вы», что служило у нее признаком дурного настроения.

О себе Лидия Николаевна рассказывала неохотно и неполно. Так, в разговоре о чем-то другом вдруг вспомнит какой-нибудь эпизод из жизни. О хорошем или о восторженном к ней отношении не говорила совсем или говорила с насмешкой. Приходилось все собирать по крупицам, по малым долям.

Так я узнала, что Лидия Николаевна лично была знакома с Надеждой Константиновной Крупской. Познакомилась с ней на Третьем всероссийском совещании по внешкольному образованию, на котором, кстати сказать, выступал Владимир Ильич, и его речь на Лидию Николаевну произвела исключительное впечатление.

— Я все начала с тех пор в себе пересматривать... Вроде жизненного направления было для меня выступление Владимира Ильича...

Вот тогда она много раз говорила с Надеждой Константиновной о внешкольной работе.

— А в Москве позднее как-то раз Надежда Константиновна заехала за мной и повезла на пионерский слет... И скромно бросила: «Прочитала ваш рассказ «Правонарушители...» Но говорила со мной не о рассказе, а о литературе. Надежда Константиновна считала нашу молодую советскую литературу правдивой, хоть и неглубокой еще...

— А Горький знал ваши произведения? Как он к ним относился?

— Ругал больше... Но в общем хорошо относился... — Так маловнятно говорила Лидия Николаевна о хорошем в своей жизни.

Позднее я узнала, не от нее конечно, что Горький очень любил ее произведения и всегда только тепло и с надеждой говорил о них и о самой Лидии Николаевне.

Спохватившись, Лидия Николаевна смолкала. Затем непременно начинала расспрашивать сама, интересовалась, пишу ли в газеты.

— Мало и плохо пишу, — отвечала я.

— Напрасно. Нужно входить в большую общественную жизнь. Писателю это необходимо.

В лето 1949 года мне посчастливилось отдыхать вместе с семьей Сейфуллиных в Переделкине. Все свободное время мы проводили с Лидией Николаевной, бродили по окрестностям, валялись на траве, читали, спорили. Я работала над повестью «Улица сталеваров», но старалась своими опусами и замыслами не мешать отдыху Лидии Николаевны. Я выдержала характер, не дала ей ни одной главки, пока не кончила повесть.

Лидия Николаевна ежедневно интересовалась, как идет моя работа, иногда направляла ко мне свою сестру Зою Николаевну, узнать, работаю ли я, не мешает ли мне что-нибудь, не могут ли они чем-нибудь помочь.

Когда повесть была готова, я попросила Лидию Николаевну ее прочитать.

Несколько дней я не приходила в дом Сейфуллиных, стыдясь того, что написала, пересматривала главы и мучилась, что после прочтения Лидия Николаевна не захочет меня и видеть.

Вечером на третий день Лидия Николаевна сама постучала в окно моей комнаты и пригласила на прогулку.

Какое-то время шли молча. Остановившись вдруг, она приказала:

— Погляди на меня.

Я подняла голову и спросила:

— Плохо, Лидия Николаевна?

— Плохо, милая. И — не бледней! Мне тебя не жалко! Жалеть нужно слабых! А ты — можешь! Можешь! А наворотила — пешему не пройти! Прямо советский Золя с романом «Плодовитость»! Ты о чем писала? О многодетной матери? Да ты из нее сосульку сделала! Мало ей своих, — еще приемыш появился! За модой гонишься! А где народ? Где напряженная воля многих людей? Людей ты забыла! Надо дописывать! Сумеешь. Сейчас придешь домой, подумаешь — и за работу! И с каждой новой главой — ко мне!

Повесть я переделала. И после, когда она вышла в «Советском писателе» и получила ряд положительных отзывов, Лидия Николаевна вызвала меня к себе.

— Вот видишь! Ты понимаешь теперь? — возбужденно, с сияющими глазами говорила она, как свою собственную победу отмечая удачу книжки. Да это и была ее победа. Даже теперь, закончив работу над каким-нибудь рассказом, я прежде всего вспоминаю Лидию Николаевну. Как бы она, мой учитель, отнеслась к новой работе? И если меня вдруг похвалят, всегда думаю, что без ее уроков я не смогла бы достичь того, за что меня поощрили; если же меня поругают, думаю, чего же из ее уроков я не учла? Все стараюсь я взглянуть на страницы вновь написанного глазами терпеливой моей воспитательницы и судить их ее судом.

Любила она стихи. Читала на память Пушкина, Есенина, Маяковского.

Маяковского Лидия Николаевна очень любила, гордилась им.

Призывая к простоте, часто ссылалась на простоту Маяковского. Я — преподаватель литературы — всегда с опаской подводила своих учеников к теме «Поэзия Маяковского». Изучение его творчества было трудным. Ученики не сразу привыкали к рубленным стихам и иногда не понимали их. И мне, признаюсь, ссылки на простоту его стиха казались странными. Я сообщила Лидии Николаевне о нелюбви моих учеников к творчеству Маяковского. Она не на шутку рассердилась:

— Да это вы, вы лично, не сумели привить любви к великому поэту! — и, сорвавшись с места, забежала по комнате. Затем начала читать что-то из поэмы «Хорошо!» Читала громко и зло. Лицо ее понемногу смягчалось, взгляд теплел. Увлечшись, она прочитала всю поэму. Теперь она не бегала, а стояла, вскинув голову и скрестив руки на груди.

Лицо ее воспламенялось, голос молодец, улыбка добрела, влекла. Читала она с большим чутьем к ритму, к музыке стиха, читала превосходно. Обязательно стояла при этом. Маленькая, выпрямлялась, становилась выше. И вдруг тухла, словно ее выключали. Я уже знала: молчание будет длительным. Часто после стихов мы садились на траву и думали каждый о своем. Иногда Лидия Николаевна устало говорила:

— Учитесь у поэтов. Как конкретно, точно они умеют выражать мысль!

Мечтали мы вместе поехать по уральским колхозам. Однако из-за болезни Лидии Николаевны я вынуждена была выехать одна. Позднее, при встрече, она ревниво расспрашивала, что я увидела в колхозах. Вместе мы удивлялись тому, как перемешалось в сельском жителе старое с новым, как все больше появляется в поведении и характере людей новое, становится обычным, как выросли запросы. Отмечая, что культурная жизнь села все же отстает, Лидия

Николаевна очень печалилась и долго в раздумье повторяла:

— Значит, клубы в церкви часто помещаются? И никакой работы? Танцы? И кино раз в неделю? А библиотеки? Как же ты не поинтересовалась, как читают? Какие книги?

И неожиданно рассказала о своей былой жизни в деревне, о работе своей учительницей, библиотекаршей, о громких чтениях, о работе с детьми. — К чтению нужно пристрастить. А если мало читают — пересказать содержание книг. Это и на поле-вом стане очень бы пошло: там ведь читать некогда... И сама могла бы почитать народу!

Лидия Николаевна любила, когда к ней на дачу в гости приезжали писатели, сияла, улыбка не сходила с лица. Собранная вся, она умно шутила, речь ее блистала афоризмами, изящным юмором.

И страшно сердилась на меня за то, что я робела, замыкалась и старалась улизнуть от ее гостей.

— Неумело вы распоряжаетесь собою, моя милая, — ворчала она. — Ведь общество людей одного труда всегда подтягивает, мобилизует мысль. Вызывает желание учиться, достичь того же, чего достигли другие. И самой пора уметь мобилизовать людей. Не прячьтесь, подавайте себя людям, как большой подарок, просили они его или нет, а не сидите на краешке стула! Право, кажется, что вы и в жизни сидите на краешке стула. Стыд!

Каждую встречу с ней я узнавала что-то новое о Лидии Николаевне, что меня поражало и увлекало. Сколько разностороннего опыта! Сколько чистого стремления жить для народа!

Много требовала моя учительница от человека. И умно требовала.

Недостает ее. Она поднимала, поддерживала любовью, словом, гневом, взыскательностью!

Утешает мысль, что она, как и ее Виринея, которую мы видим сейчас в тысячах советских женщин, живет, живет в утверждении нашей правды, в творчестве многих писателей, которых она растила.



Анна Герман

ПЛЫВИ, МИЛЫЙ, ПЛЫВИ!

Это было в Кузбассе, тридцать пять лет тому назад. На месте современного, благоустроенного центра Кемерово на берегу Томи доживало свой век старинное, еще петровских времен, село Щегловское.

Ему уже положено было стать городом. От станции железной дороги его отделял пустырь, изрытый свежими землянками горняков. Над вокзалом по ночам вставали сполохи первых коксовых печей хим-завода.

За Томью, на правом скалистом берегу, виднелись шахтные сооружения — наследие КОПИКУЗА, акционерного франко-немецкого общества, пробравшегося было и сюда, в Щегловское, ко времени первой мировой войны.

На песчаном острове посреди Томи в летнюю пору загорали американцы, приехавшие в Кузбасс «для оказания технической помощи» молодой Советской России.

В самом селе, вдоль деревенских немощеных улиц тянулись серые заплоты, бревенчатые дома. По субботам на церковной площади невдалеке от речного берега шумел базар. Степенные, дремучебородые чалдоны торговали с возов мукой простого размола, тушками свинины, медом. Смуглые, прокопченные в аилах шорцы привозили в кожаных переметных сумках кедровые орехи, колбу — дикий таежный чеснок, турсуки с кумысом.

Звенели старинные монеты в косах шорских девушек. Верещали довоенного образца гармошки.

Обгорелая церковь молчала. На кострах ее незадолго до прихода Красной Армии налетевшая шайка белобандитов сожгла горняка-коммуниста. Сюда же, по слухам, она бросила и священника церкви, чтобы доказать свою анархистскую приверженность к беззаконию.

Именно к Кузбассу того времени я отношу свое знакомство с Лидией Николаевной, хотя лично с нею мне довелось встретиться спустя много лет.

Новая книжка Л. Сейфуллиной тогда только что была получена в Щегловске. Имя Л. Сейфуллиной мне уже было знакомо по тоненьким зеленоватым книжечкам журнала «Сибирские огни», начавшего выходить в Новониколаевске.

Книжка вызвала желание написать автору. С непосредственностью юнца, в литературных делах не искушенного, сообщала я Лидии Николаевне о том, что ни у одного из ранее прочитанных мною писателей не было такой похожей, сегодняшней послевоенной Сибири, такой неприкрашенной и неслезливой правды о народе. Не за горами, не по ту сторону Урала, в Центральной России, знакомой мне лишь по литературе, жили, действовали, воевали герои сейфуллинских книжек. Голоса подлинной, небогатой грамотеями Сибири слышались со страниц произведений Л. Сейфуллиной.

Должно быть, рассуждала я, Лидия Николаевна бывала в нашем станционном агитпункте на митингах проходящих эшелонов. Видела, как мужики-партизаны в зипунах, опоясанных пулеметными лентами, с красными бантами на ушанках, пытаются всенародно, первый раз за всю историю своего существования «митинговать». Пытаются сказать о своей жизни, а слов не хватает. Старые обиходные слова не приспособлены для новых понятий. И мучается, косноязычит иной посконный оратор под одобрительные, сочувственные, а то и насмешливые крики толпы. Рассердившись, последними словами честит «гидру капитализма», Антанту, интервентов-колчаков, разо-

ривших сибирскую землю: «Гли-ко, паря, не стало ни рафинаду, ни карасину, ни манафактуры, ни селедки, ни махорки-вахрамеевки, даже соли, спичек и то, язви их в печенки, не оставили народу!»

Заканчивалось мое послание не менее наивным изъяснением восторженного удивления по поводу того, что совсем рядом, на сибирской земле, моя землячка отважилась на такое — стать писательницей...

Письмо не было отправлено. Далекое ощущение порыва, вызванного книгой, первое мое письмо на литературную тему вспомнилось на конференции областных писателей сорок шестого года.

О том, что Лидия Николаевна в числе других московских писателей будет выступать на конференции, было известно заранее. Нечего и говорить, что для меня это была самая значительная встреча: ведь я столько лет ее ждала.

В конференц-зале Правления Союза на улице Воровского нет ни кафедры, ни какого-либо возвышения. За столом президиума в тот день я не сразу разглядела Лидию Николаевну, а потом неотрывно наблюдала за нею.

Предоставили слово Лидии Николаевне. В ее речи не было анализа литературной продукции участников конференции, ни хвалы, ни критики — лишь напутствие вступающим в литературу. Для примера рассказала она притчу, суть которой в следующем: хотелось крестьянскому пареньку из бедной-пребедной семьи получить образование, а ни средств, ни возможности к тому не было. Да подвернулся случай, предложили ему переплыть бурную сибирскую реку в половодье, за это помогут учиться.

Отец не отпустил бы парня, если бы не так заманчива была цель. Бросился парень в воду, а вода студеная, течение бешеное, силищи непомерной. Еще и трети речного пространства не одолел, а руки-ноги зашлись. Впору ко дну. И в это время едва слышный долетел к нему с крутояра отцовский голос: «Плывешь, сынок?» — «Плыву, тятя», — нашел силы отозваться. «Плыви, милый, плыви-и!»

И откуда прибавились силы у парня. Нет и мысли

о том, чтобы сдаться, погибнуть. Одолея половину реки, но тут накрыла с головою мутная весенняя волна. «Теперь совсем конец, — мелькнула малодушная мысль. — Где там выплыть, не с моими силенками». Готов он смириться с горькой судьбой. И только было опустил руки, как опять донесся еле слышный отцовский голос: «Плыви, сынок, выплывай, милый!» И снова наш пловец на гребне, руки-ноги заработали.

Так вот, напутствуемый голосом родного человека, и доплыл он до места назначения.

Закончила и села Лидия Николаевна, спряталась за широкими спинами товарищей, а в аудитории — взволнованная тишина. Каждому казалось, что это и к нему обращено душевным сочувствием проникнутое пожелание достичь желанного берега большого искусства. Вопреки всем временным течениям, шел бы каждый, если понадобится, против течений во имя правды, не считаясь обидами, не поддаваясь разочарованию.

И пока длилось молчание, до того, как взорваться рукоплесканиям, мне все мерещился крутой скалистый берег весенней сибирской реки. Ледоход. И не из-за стола президиума, а с крутояра напутствовал новичков голос Лидии Николаевны: «Плыви, мил человек, плыви!»

Бывает ведь так, что какая-нибудь для постороннего глаза незаметность, какой-нибудь перелесок с подтаявшим снегом на опушке, или ступени вагона, устланные лунным светом, или свернувшиеся лепестки отцветающего шиповника на пыльной дороге заставят вспомнить прошлое, вновь и остро почувствовать то прежнее состояние, тот прежний свой день. Так и со мной, «кое время прошло», по словам одного из героев Сейфуллиной, а забытое вновь, как на фото-пленке, проявилось.

Лишь последние годы жизни Лидии Николаевны подарили мне дружбу с нею. Уже в Москве нередко раздавался телефонный звонок ко мне, и глуховатый, какой-то совсем не «телефонный» голос Лидии Николаевны звал:

— Приезжайте.

На ее рабочем столе всегда лежала груда чужих рукописей. В разговоре Лидия Николаевна брала одну из них, автором рукописи часто оказывался кто-нибудь из земляков, сибирских литераторов.

— Читали? Знаете? Нравится? — спрашивала Лидия Николаевна и начинала говорить о достоинствах и недостатках произведения.

Бывала она и недовольна. Запомнилось одно ее особенно неблагоприятное замечание. Автор рукописи просил о приеме в члены Союза.

— Выпустили там, на месте, его сборничек. Ну правильно, что напечатали. Один рассказец в сборнике небезнадежный. И вот уже спешит, торопится закрепить свое положение писателя. Деловитый.

Брезгливым движением губ будто удержала что-то готовое с них сорваться, взглядом нестареющих глаз сказала больше, чем словами.

В декабре пятьдесят третьего года после телефонного звонка услышала я голос, который всегда узнавала, как бы тихо он ни звучал:

— Приезжайте в среду. Почитаем. Молодежь собирается прийти.

В комнате Лидии Николаевны за столом на этот раз собралось человек семь. Среди них Л. Копина, автор «Яснополянских вечеров», Д. Стариков, Володя Львов, племянница Лидии Николаевны Наталья Рафаиловна, пробующая свои силы в драматургии. Сестра писательницы Зоя Николаевна тут же хлопотала с чаем. Мы попросили Лидию Николаевну прочесть ее пьесу «Сын». У этой пьесы печальная судьба. К этому последнему своему произведению Лидия Николаевна относилась с особенной, какой-то стыдливой любовью, хотя трогательно это скрывала. С театром была связана молодость Лидии Николаевны. Самый радостный успех не только на родине, но и за рубежом ей принесло сценическое воплощение «Виринеи». С постановкой «Виринеи» были связаны поездки в Париж, где она была вместе с В. Маяковским. Естественно, что и на закате жизни работа над пьесой (ею интересовался один из московских театров)

приносила большую творческую радость. Хотелось увидеть завершение своего труда, дожидаться воплощения своего замысла на сцене. Но руководители театра несколько раз заставили тогда автора перedelывать пьесу. Требования были продиктованы набившей оскомину «теорией бесконфликтности». Чересчур усердные опекуны нашего зрителя требовали одно смягчить, другое — сделать более «типичным». Все это мне было известно. Но вот сижу, слушаю, и в читке пьеса производит на меня хорошее впечатление. Есть в ней остродраматические коллизии, интересные положения. Люди говорят добротным, сочным, колоритным языком. Как всегда у Сейфуллиной, в пьесе привлекательны женские образы. Особенно значителен в пьесе образ крестьянки Анны Завьяловой из оккупированной врагами деревни.

В острой, рискованной борьбе с оккупантами раскрывается характер русской женщины Анны Завьяловой.

Рискуя жизнью, ненавидя врагов, Анна ведет сложную, опасную игру так умно, что все односельчане ненавидят ее, считая, что она продалась немецкому старосте Ардальону, «идейному сироте», по его собственной характеристике.

Есть в пьесе и такое место. Сафронов-отец в разговоре с сыном Костей рассказывает, как он в юности, ради возможности поучиться, отважился переплыть реку в весеннее половодье. Как помог ему голос отца, следившего с берега.

«— Так я выплавал мое образование, — говорит Сафронов. — А все-таки революция застала меня не шибко грамотным. А тебе, мой сын... *(в удивлении, почти в ужасе)* Ты... смеешься?

— Я не смеюсь, — говорит Костя. — Но зачем ты на жалость бьешь? И к чему эта древняя история?»

Сафронов от возмущения теряет власть над собой.

«— Ах, для тебя это только древняя история? Ах, ты... *(замахивается, чтоб ударить Костю)*».

И у того пробуждается чувство достоинства, собственное нашей молодежи. Он перехватывает руку отца:

«— Нас не бьют».

Советские люди, такие, как Анна Завьялова, помогают Косте стать настоящим человеком.

Читала Лидия Николаевна неровно. Забывшись, произносила реплики действующих лиц профессионально, недаром в юности была актрисой. Но спокойно читать что-то мешало. Видно, много было связано с пьесой огорчений, обид, неоправдавшихся надежд. После первого акта она закурила, задымила, а дочитывали пьесу племянница, затем сестра, Зоя Николаевна.

К сожалению, пьеса так и не была поставлена. Мне больше не пришлось бывать у Лидии Николаевны, я уехала к себе в Сибирь.



В е р а С м и р н о в а

ЧИСТОТА И МОЛОДОСТЬ ЧУВСТВ

Как и многие ее современники в литературе, я знала Лидию Николаевну Сейфуллину не только по книгам, но и лично: я работала одновременно с ней в издательстве «Молодая гвардия», часто встречалась с ней в Союзе писателей. В течение двадцати лет Лидия Николаевна была членом Президиума Союза, и надо было видеть, как истово, с каким чувством (именно *чувством*) ответственности относилась она к этой своей общественной обязанности, которая многим другим казалась всего лишь «нагрузкой». Как часто я слышала на заседаниях Президиума взволнованный голос Сейфуллиной — обсуждалось ли новое произведение, появившееся в наших журналах, или речь шла о приеме в члены Союза писателей нового молодого литератора. Это был голос писателя, кровно заинтересованного в делах советской литературы, глубоко озабоченного судьбой каждого талантливого молодого человека, вступающего в литературу. Никогда это не было только «голосованием» «за» или «против», всегда это было свое писательское обоснованное мнение. Можно было соглашаться или спорить с ней, но нельзя было не видеть, что обсуждавшаяся книга была ею внимательно прочитана и что она судит о произведении или о писателе не понаслышке, не по нескольким страничкам, едва перелистанным, как получается часто у заседающих в Союзе писателей, а самостоятельно, невзирая на лица, с горячей

убежденностью. Это был искренний, правдивый голос человека, которому ложь, лесть, расчётливость, эгоистичность в искусстве, как и в жизни, были органически чужды, неприемлемы ни в каком случае.

Такой я видела Лидию Николаевну, такой чувствовала ее, но издали, как говорится, со стороны. Личная моя настоящая встреча с ней, оставившая во мне большое впечатление, произошла уже после войны, в 1947 году, весной, когда мы обе были командированы Союзом писателей на юбилей Ольги Дмитриевны Форш и вместе ездили в Ленинград.

Пожалуй, нигде так быстро не раскрывается человек, как в поездке, в дороге. Несколько дней и ночей, проведенных вместе с Лидией Николаевной в вагоне, в Доме творчества в Комарове, где из-за болезни О. Д. Форш происходило празднование ее семидесятилетия, удивительно сблизили нас, и мне стало понятно в полной мере человеческое обаяние этой «татарочки с глазами, как шарикоподшипники», как называл ее в ласковые минуты Горький. Что-то очень детское, трогательное, трепетное было во всем ее облике, она казалась беспомощной, когда дело шло об устройстве самой себя, и была полна заботы о других, — я испытала это на себе.

Чуткая, внимательная к людям, она была проста, скромна, очень подвижна, радовалась тому, что нас встретили на вокзале, радовалась хорошей погоде, которая сделала наши прогулки по Ленинграду такими приятными, радовалась людям на улицах, радовалась мне, когда я приходила за ней в гостиницу. Она так умела радоваться, что поистине сделала эту, в сущности, официальную нашу поездку подлинным праздником.

Она вызывала во мне тогда не только простую человеческую симпатию, но, конечно, и большой «литературный» интерес: ведь она была зачинательницей советской литературы, представительницей двадцатых годов, знаменитой в те годы русской писательницей. Но в ней не было и тени какого-нибудь чванства, сознания собственной значимости, наоборот, она все время отводила все разговоры о литературе,

о себе, повторяя с грустью: «Я теперь так мало пишу». По-настоящему я увидела ее *писательницей* только в конце юбилейного вечера, когда начались «воспоминания».

Мы приехали в Комарово днем и сразу пошли в сад Дома творчества, где собирались ленинградские писатели, живущие и в самом Доме и на дачах неподалеку. Здесь, под майским солнышком, среди распускающейся зелени, мы приветствовали Ольгу Дмитриевну Форш, величественную, красивую, поистине могучую женщину.

«Здравствуйте, дитя мое!» — сказала она мне, и право, это прозвучало так естественно: ведь она была не только старшей, она казалась матерью всем присутствовавшим.

Когда они здоровались — большая, величественная Ольга Форш и маленькая, трепетная Лидия Сейфуллина, — это было, словно встретились первые годы советской литературы — литературные Ленинград и Москва, люди старшего поколения советских писателей. Вокруг них теснилось «племя молодое» — от Александра Прокофьева до Веры Пановой.

После юбилейного обеда в столовой Дома творчества, когда были произнесены все поздравления, прочитаны все приветствия — Лидия Николаевна приветствовала Ольгу Дмитриевну от Москвы, а я преподнесла «адрес» Союза писателей, — присутствовавшие понемногу разбрелись, и за столом осталась небольшая группа писателей. Тут-то и начался «вечер воспоминаний».

Конечно, я не запомнила всего, что говорилось, о чем вспоминалось тогда. Помню: Александр Прокофьев читал стихи, пел песни, и все старались вторить ему. Помню: Ольга Дмитриевна Форш, старая, очень больная, вдруг оживилась, словно сбросила с плеч десятки лет, и даже с некоторой «лихостью» стала вспоминать «те баснословные года» — первые годы революции, писателей, которые тогда были молоды, только вступали в литературу, Ленинград тех лет, Дом искусств, «Сумасшедший корабль».

Лидию Николаевну попросили рассказать о своих

встречах с Горьким. Она вся загорелась, не могла усидеть за столом и, стоя, очень живо, «в лицах» (тут я поверила в то, что она когда-то была актрисой) рассказала о ставшей уже легендой для нас встрече писателей с членами правительства на квартире у Алексея Максимовича, когда впервые советские писатели говорили «по душам» о своих литературных делах с руководителями страны. С юмором рассказала она, как попросила слова и как Алексей Максимович, который вообще любил, когда она спорила с ним (хотя порой не на шутку сердился в этих спорах, но быстро смягчался), тут, дав ей слово, волновался — не сказала бы какой-нибудь «ерунды». А она заговорила... о любви, о том, что писатели боятся этой темы, избегают, не умеют писать о любви, и как это нужно читателям.

Это неожиданное ее выступление в защиту любви было поддержано, и все, как сказала Лидия Николаевна, «сошло благополучно». А на нас, слушавших ее теперь, вдруг повеяло атмосферой тех лет, мы словно увидели и заботливого «хозяина» Алексея Максимовича перед собой, и самое рассказчицу — молодую, горячую, непосредственную, с большими блестящими глазами, с открытым сердцем, с простым и смелым словом...

Допоздна засиделись мы тогда в столовой Комаровского Дома — не устала даже сама семидесятилетняя юбилярша. А мы с Лидией Николаевной и ночью, оставшись в отведенной нам комнате, не могли уснуть, открыли настежь окно, и Лидия Николаевна все продолжала рассказывать, словно не могла остановить поток прорвавшихся воспоминаний.

Она рассказывала о первой своей поездке в Париж, о парижских впечатлениях, с юмором вспоминала даже о первом «вечернем платье», в которое ее облачили в парижском ателье; вспоминала о товарищах своей молодости, о Маяковском. У нее был живой ум, писательская зоркость в наблюдениях, ясная и благодарная память, за плечами у нее была и трудная жизнь и годы славы, но удивительная сохранилась в ней чистота и молодость чувств.

Мне было и интересно слушать ее, и немножко грустно, и, признаюсь, было почему-то жаль ее. Может быть, потому, что так быстро бежит время, такими гигантскими шагами шагает наша жизнь, что за ней не угнаться, и порой человек в нашей памяти остается в том времени, когда он больше всего и сильнее выразил себя в действии, когда был в расцвете сил.

Лидия Николаевна Сейфуллина не только по анкете, но и по самому своему существу была «человеком двадцатых годов» в литературе и в жизни.



Галина Колесникова

ДРУГ МОЛОДЕЖИ

В сентябре 1949 года Лидия Николаевна Сейфуллина дала согласие поехать вместе с группой писателей в Иркутск на областную писательскую конференцию. Приближалось время отъезда, а она не появлялась в Москве. Товарищи затревожились: не заболела ли? Мне поручили навестить Лидию Николаевну на даче в Переделкине, договориться об отъезде.

Был один из тех солнечных осенних дней, когда особенно пряно пахнет желтеющая листва и по-южному синее небо.

Миновав открытое поле, я подошла к даче Сейфуллиной. Во дворе было пусто. Но, видимо, в окно меня увидели, и, когда я подходила к крыльцу, Лидия Николаевна вышла навстречу.

Ее большие выразительные глаза показались мне грустными. Она оперлась рукой о перила, грузно ступила на ступеньку. Я поняла, что ей нездоровится, и поторопилась подняться на крыльцо.

Мы сели у стола в небольшой проходной комнате, откуда вела на второй этаж довольно крутая внутренняя лестница.

— Вот видите, живу под лестницей. Отекли ноги, не могу подняться наверх, — как-то жестко, словно приказывая не выражать ей сочувствия, сказала Лидия Николаевна.

Несмотря на то что двигаться ей было трудно, она

принялась хлопотать, чтобы меня угостили чаем. И успокоилась только тогда, когда я положила на блюдечко свежее варенье и принялась потягивать крепкий, ароматный чай, какой всегда подавался в этом доме.

Догадываясь о цели моего посещения, Лидия Николаевна рассказала, что врачи категорически запретили ей трогаться с места. В ее голосе зазвучали грустные нотки, когда она заговорила о том, как ей хотелось побывать в Сибири, но тут же прервала себя и начала деловым тоном расспрашивать, кто приглашен на конференцию.

Ее порадовало, что подготовкой к конференции занимаются Георгий Марков и Иван Молчанов-Сибирский, люди, на которых «во всем можно положиться».

Дружба с Иваном Молчановым-Сибирским и Георгием Марковым соединяла Лидию Николаевну в течение многих лет.

На письменном столе Лидии Николаевны лежала солидная рукопись, роман «Голубая Аргунь» В. Балябина. Ее очень взволновало и радовало, что автор — бывший батрак, организатор комбедов, забайкальский казак, участник гражданской войны, один из первых председателей колхозов — написал такой талантливый роман. Она с увлечением процитировала несколько фраз из этой рукописи.

— Послушайте, вот рассуждения старика отца о женитьбе на богатой: «Говорю: брось, Андрюха, не зарься на чужой капитал. Жить-то тебе не с коровами. Ты, говорю, посмотри, кого берешь. Вить она на корню вся высохла, зазвенит, если по ней стукнуть. А нос-то, господи, как на бугре сидяча собака. Так ведь не послушал и мучался с ней, пока не умерла. А злющая какая была, оборони бог. Этих сковородников об него обломала, так ежели бы их всех собрать, ползимы бы протопили избу». Лидия Николаевна весело, звонко засмеялась и сразу помолодела.

Нравилось ей у Балябина и то, как он изображает природу. Пейзаж у Балябина динамичен. Автор отме-

чает не только цвета, краски, но и движение жизни в окружающем мире.

Оказалось, что рецензия на рукопись Балябина уже закончена. Она была написана с той требовательной дружеской заботой и доброжелательностью, которые отличали рецензии Л. Н. Сейфуллиной.

— Можно взять этот отзыв с собой? — спросила я. — Мы прочитаем его в Иркутске при обсуждении рукописи и будем считать, что вы тоже принимали участие в конференции.

— Что ж! Побуду на обсуждении невидимкой! — с доброй иронией сказала Лидия Николаевна. Она любила иногда подтрунить над собой.

Незаметно разговор перешел на писателей, которым в свое время помогла Лидия Николаевна. Литературных «крестников» у нее было много. Несколько лет она работала членом приемочной комиссии. Через ее руки прошло множество книг начинающих авторов.

Мне неоднократно приходилось бывать на заседаниях приемочной комиссии, и я хорошо запомнила, с каким вниманием слушали всегда Лидию Николаевну.

Когда поднималась ее небольшая, кругленькая, несколько грузноватая для ее роста фигура, раздавался ясный, уверенный, хочется сказать — смелый голос, становилось очень тихо. Все головы поворачивались к Лидии Николаевне, и она с присущей ей горячностью и правдивостью говорила всегда что-то очень свое, часто неожиданное и всегда интересное. Никогда она не кривила душой, не похвалила плохого произведения, не сделала скидки благодаря личной симпатии.

Когда шла речь о переводе из кандидатов в члены Союза писателей Ю. Б. Капусто после опубликования книги очерков «В среднем районе», Лидия Николаевна сказала:

— Товарищ Капусто интересный человек, фронтовичка, но написала она книгу среднюю, недостаточную для того, чтобы перевести ее из кандидатов в члены Союза.

После ее выступления воздержались от приема в члены Союза и Василия Кучерявенко.

— Я решительно против, — так начала свое выступление Лидия Николаевна... — Это фабрикация рассказиков под европейские рассказы... Мы с Яшиным бурно спорили и даже перечитывали эти рассказы. Они как семечки, очень легко грызть, но лишь отложишь книжку, сейчас же забудешь — ушла книга, нет шелухи, нет и зерна.

Не останавливало Лидию Николаевну несогласие с ее мнением товарищей по комиссии. Выслушав своих оппонентов, предлагавших воздержаться от приема в ССП Ирины Гуро, Сейфуллина сказала:

— Я остаюсь при своем мнении. Если человек мог перейти на другую тематику и найти свой стиль — он заслуживает внимания. Это молодой, растущий автор. У нее много материала, и она работает. Я за то, чтобы принять ее в кандидаты. Я возлагаю на нее надежды.

Если Лидия Николаевна рекомендовала кого-нибудь принять в члены Союза, то говорила она всегда горячо, убежденно, и обычно остальные члены комиссии присоединялись к ее мнению.

Вот как говорила она о чувашском молодом писателе А. С. Артемьеве:

— Это исключительно одаренный автор. Мы его на семинаре принимали очень сочувственно. Самое большое впечатление произвел на нас рассказ «Ты не гнишь, орешник», мы его зачитывали на семинаре. Там есть настоящая поэтичность. И национальный стиль сказывается. Рефреном в рассказе идет народная песня «Ты не гнишь, орешник, под слабым ветром». Удивительная чистота чувств в любви молодых людей.

Так же горячо поддержала она Константина Локоткова:

— По-моему, это замечательно интересный автор, очень способный, очень молодой.

Книгу Бориса Бедного «Большой поток», по которой его принимали в Союз писателей, Лидия Николаевна оценила как «прекрасную книгу», и он был принят в Союз единогласно.

Про Николая Евдокимова Лидия Николаевна сказала:

— У него есть рассказ «Высокая должность». Это очень хороший рассказ. Он говорит здесь о высокой должности быть человеком и показывает человека на производстве. Прекрасно освещена смена, которая пришла к нам. Правдиво показано отношение героя к матери, любимой девушке, к труду.

Особенно симпатизировала Лидия Николаевна уральской писательнице Ольге Марковой.

Положительные рецензии Лидии Николаевны сопутствовали первым произведениям Афанасия Коптелова, Саввы Кожевникова, Сергея Сартакова, Николая Устиновича, Нины Поповой.

Мы говорили об этих писателях вразнобой, вспоминая то одного, то другого. Я очень жалею теперь, что не записала этот разговор полностью.

Несмотря на свое недомогание, Лидия Николаевна задержала меня у себя, увлекшись воспоминаниями о Сибири. Она очень интересно говорила о судьбах литературы и творчестве областных писателей.

Время шло незаметно. Мне стало неловко, когда я взглянула на часы и увидела, что так долго засиделась. Я стала извиняться, но Лидия Николаевна довольно резко оборвала меня, и я поняла, что это лишнее. Приняла меня и говорила Лидия Николаевна от души.

Простились мы с ней очень сердечно. Я долго ощущала мягкое пожатие маленькой, ослабевшей руки и взгляд ее больших, умных, так много говорящих глаз, слышала звонкий, бодрый голос.

При обсуждении «Голубой Аргуни» этот голос прозвучал в Иркутске вместе с голосами Г. Маркова, В. Ажаева, К. Седых и других участников областной конференции.

Прочитанная вслух рецензия Л. Н. Сейфуллиной особенно ободрила автора. Это говорила сибирячка, писательница, посвятившая свое творчество людям, вышедшим из глубины народных масс.

Через несколько лет, на следующей областной конференции, она все же побывала в Иркутске,

познакомилась с В. Балябиным, который всегда говорит о ней с особенным волнением, помогла еще многим сибирским литераторам.

Лидия Николаевна принадлежала к числу людей, которых всегда влечет к молодежи. Дома у нее часто собиралась молодежь, устраивались читки еще не опубликованных произведений.

Никогда не отказывалась Лидия Николаевна принять участие в обсуждении рукописи начинающего автора, руководила семинарами прозы на совещаниях молодых писателей.

Запомнилась мне еще одна мимолетная встреча зимой 1951 года в вестибюле здания ЦК ВЛКСМ у Ильинских ворот. Только что закончились занятия семинаров. Лидия Николаевна стояла в уютной шубке с пушистым воротником, окруженная молодежью.

— Жду машину! Сейчас подойдет. Заботятся обо мне товарищи, — сказала она в ответ на мое приветствие.

Я задержалась немного. Приятно было видеть Лидию Николаевну, окруженную участниками совещания молодых писателей, бодрую, веселую.

— Машина ждет вас у подъезда, Лидия Николаевна, — почтительно сказал, приближаясь к группе, в центре которой стояла любимая писательница, юноша в военной форме, один из участников конференции.

Все гурьбой тронулись к выходу. Усадили Лидию Николаевну в машину и разошлись в разные стороны.

Шел густой снег. Едва различались очертания машин, троллейбусов, фигуры людей.

И опять пришла мысль, которая всегда возникала у меня, когда я думала о Лидии Николаевне:

«Что помогает людям, несмотря на болезнь и старость, находить с молодежью общий язык?»

Вспоминая, как держала себя Лидия Николаевна при обсуждении рукописей молодых авторов, как просто, по-дружески разговаривала она с самыми скромными сотрудниками Союза писателей, где я тогда работала, как приветливо встречала она тех, кто за-

глядывал к ней домой, — я пришла к выводу, что молодежь, искреннюю, горячую, ищущую, влекло к Лидии Николаевне ее правдолюбие.

Независимо от того, где она выступала, с кем говорила, о чем спорила, она была предельно искренна и правдива.

Обладая большим художественным вкусом, она обычно давала прочитанному верную оценку. Могла и ошибиться, иногда увлекалась, но не умела и не хотела лукавить.

Помню еще одно обсуждение. (Речь шла о рукописи, которая не увидела свет, поэтому не имеет смысла ее называть.) Собрались весьма уважаемые писатели. Автор рукописи принадлежал к числу людей, которые обладают личным обаянием и хорошими организаторскими способностями. Он сумел заинтересовать своей рукописью. Говорили все очень, очень осторожно, обтекаемыми фразами, скорее хвалили, чем ругали. Автор чувствовал себя именинником.

Вдруг поднимается разгневанная маленькая женщина с пылающим лицом. Ее возмутило, что хвалят произведение, в котором положительно показан герой, морально нечистоплотный, нечестный, совершающий подлые поступки.

Остановить эту страстную речь было нельзя. Все как-то сжались. Выступавшие раньше опустили глаза. Сторонники Лидии Николаевны оживились. В обсуждении наступил перелом.

Вспоминаю еще одно содержательное выступление Лидии Николаевны, в котором она говорила о том, почему ее всегда тянуло к молодежи и молодежь влекло к ней. Выслушав ряд участников областной конференции (это было в 1946 году), Лидия Николаевна сказала:

— Товарищи из областей говорили, что дала им эта конференция. Я хочу сказать, что дала она мне.

Она утверждала, что, если бы не привлекли ее к чтению рукописей, не узнала бы она многих интересных писателей, не ощутила бы той особой свежести восприятия, которая свойственна молодежи. Ее радовало, что в каждом из разбираемых на

конференции произведений «были дерзновенные искания», что ни одного мелкого произведения не попало в ее руки. Искренне и горячо закончила она свою речь:

— Эта конференция дала мне новые силы. Пусть мне пятьдесят семь лет, но я еще молода. Рядом есть товарищи, от общения с которыми я могу зажигаться и гореть. Это хорошо, что вы есть и что мы друг друга нашли. Давайте в дальнейшем работать, чувствуя локоть друг друга. Мы создадим большую советскую литературу.

Да, литература, творчество были в жизни Лидии Николаевны самым главным.



Зоя Сейфуллина

О ЧЕЛОВЕКЕ И ПИСАТЕЛЕ

Суровая требовательность к себе как к писателю прошла у Лидии Николаевны через все годы ее литературной работы. С такой же требовательностью она подходила и к творчеству начинающих писателей.

«Ремесло наше трудное, вредный цех, — писала она. — Головокружение от успехов чрезвычайно часто сопутствует ему, вызывает у работников малокровие, иногда бледную немочь, порой паралич. Необходимо неустанное наблюдение за собой, чтобы не совратиться в порок, в лень, в незнание живой жизни, в писательское чванство».

Последние годы жизни Лидия Николаевна работала главным образом с молодыми и начинающими писателями. Она получала много писем и рукописей с мест, не раз выезжала в области.

С ее ободряющим напутственным словом многие начинающие писатели вышли на трудный и ответственный путь большой советской литературы.

— Я люблю молодежь, которая упорно стремится увидеть себя в литературе. Я люблю ее за напористость и настойчивость и очень не люблю нытиков и маловеров, которые не умеют дерзать и добиваться, а только жалуются и ждут помощи в виде подпорок со стороны старших товарищей. Нельзя идти по линии наименьшего сопротивления. Критиковать нужно беспощадно, но только не по системе нападения, не-

обходимо щадить самолюбие начинающего автора, доверчиво пришедшего за помощью и добрым словом к опытному писателю.

Эти беседы навсегда оставались в памяти молодых литераторов, какими бы знаменитыми впоследствии они ни стали...

Почти каждый из тех, кто приносил свои первые рукописи, надолго сохранял благодарную память о человеке, поддержавшем его в трудные дни творческих сомнений. Я сужу об этом по автографам на их первых книгах, а затем и на каждой новой книге, сужу по теплым письмам, полученным Лидией Николаевной в разные годы.

В книжном шкафу Лидии Николаевны кроме книг, подаренных ей ее «крестниками», много книг с автографами писателей одного с нею поколения: книги К. Федина, А. Фадеева, Вс. Иванова, А. Малышкина, В. Бахметьева, В. Лидина, А. Новикова-Прибоя, Ф. Панферова, В. Гроссмана и других.

От этих разнообразных пожеланий веет человеческой душевной теплотой.

Вот книга Пришвина в поблекшем голубоватом переплете. Надпись сделана Михаилом Михайловичем в суровое военное время. «Дорогая Лидия Николаевна! Радость жизни своей питаю встречами с хорошими людьми и эти встречи понимаю, как подлинные чудеса. Таким радостным чудом была для меня встреча с Вами. Прошу Вас, примите от меня готовность быть на долгие годы Вашим другом. Михаил Пришвин 8/V—1943 г.».

На первом издании «Молодой гвардии» Александр Александрович Фадеев написал: «Дорогой Лиде Сейфуллиной — первому учителю и человеку прекрасной души. С сердечным уважением от автора. А. Фадеев».

Поздравляя сестру с шестидесятилетним юбилеем, Илья Григорьевич Эренбург прислал телеграмму: «Дорогая Лидия Николаевна! Хочу сказать Вам, что мне легче было жить и работать, зная, что где-то рядом Вы — благородный писатель, прямой хороший товарищ, настоящий человек. Илья Эренбург».

Всеволод Вячеславович Иванов писал ей:

«...Я знаю Вас 25 лет, а эти двадцать пять лет были, по-видимому, самыми блистательными и великими годами в истории нашей Родины, — и годы эти неизменно отражались в Вас и в Вашем творчестве, и годы эти в моем уме и сердце неизменно стоят рядом с Вами.

Мне повезло и еще потому, что помимо дружбы с Вашим талантом я близко знал и видел всю Вашу пылкую и человеколюбивую душу, а это в писателе, как я убеждаюсь на опыте многих лет, едва ли не одно из важнейших и нужнейших качеств.

Ваши книги всегда были возвышенны и чутки, и всегда на их страницах я читал, ощущал биение Вашего чудесного сердца и радость, которую Вы чувствуете, видя другие, такие же, как и у Вас, чудесные русские сердца!.. 2/IV—49 г. Всеволод Иванов».

Сестра была до слез растрогана и телеграммой и другими многочисленными теплыми приветствиями в тот день.

Видимо, сколько бы лет писатель ни работал, искренние слова собрата по перу всегда трогают и маститых и немаститых литераторов. Вот выдержка из письма Федора Гладкова, написанного им Лидии Николаевне в день опубликования ее рецензии на «Повесть о детстве»:

«Дорогая Лидия Николаевна! До слез взволновали Вы меня своей задушевной статьей, словно обняли меня любовно, крепко. Спасибо Вам, друг мой! Как радостно сознавать, что человечность в искусстве — чудесная сила... Вы дороги мне, как родная сестра, как милый друг на всю жизнь... Весь Ваш Ф. Гладков. 15.IV—49 г.».

В письме из Рязани писатель Чувакин пишет: «Дорогая Лидия Николаевна!.. После Вашего доброго гостеприимства и высокой оценки моей первой повести «Всходы» я еще раз тщательно, придирчиво просмотрел ее, перечеркал многое, многое переделал, особое внимание уделил языку. Все это я сделал, одухотворенный Вашей похвалой и проникнутый одной мыслью — оправдать Ваш замечательный отзыв, кото-

рого, мне кажется, я не заслужил. Теперь же, мне думается, повесть стала полнее и язык образнее...»

Ей писали из Красноярска и Тулы, из Хабаровска и Иркутска, из Иванова и Рязани, и в каждом письме выражалось большое чувство благодарности, признательности и любви.

Хочется здесь упомянуть еще об одном письме. Оно показывает благодарное чувство и бережное отношение молодого писателя к старшему товарищу.

«Уважаемая Лидия Николаевна!

Может, Вы помните тот вечер, когда я провожал Вас домой после совещания из Союза писателей. Было тепло и тихо, и Вы выразили желание пройтись пешком.

Мы оба были полны впечатлениями от только что кончившегося бурного совещания.

Вы говорили о том, как выросла наша молодежь и что требования к ней теперь должны быть более строгими, чем раньше.

Когда подошли к Вашему дому, Вы сказали: «Вон, видите, рядом с крайним балконом свет в двух окнах, здесь я живу. Сейчас я здорово устала и не смогу по-хорошему, по-домашнему побеседовать с Вами. Но если Вы еще поживете в Москве и Вам захочется поговорить со мной или поделиться сомнениями в Ваш трудный творческий час, Вы не стесняйтесь и заходите, только предварительно позвоните». И Вы дали мне Ваш адрес и телефон.

Я был так взволнован и тронут Вашим предложением зайти к Вам, что даже не заметил, как «отмахал» три остановки своего пути пешком. Жил я в Москве около месяца у своих родственников, пытался закончить одну вещь, которая мне никак не удавалась, и вот однажды, измучившись в поисках нужных образов, я вспомнил, как приветливо Вы предложили мне свою помощь, и решил пойти к Вам.

Не посмотрев на часы и быстро взяв рукопись, поехал к Вам, а когда подошел к Вашему дому, случайно взглянул на часы телеграфа, был уже одиннадцатый час. И хотя свет горел в Ваших окнах, я вдруг оробел.

Наверное, уже поздно для разговора, а может быть, Вы в это время работаете и тоже переживаете свой трудный час, который одинаково тяжел и для начинающих и для маститых. И может быть, как раз в этот момент Вы вдруг нашли те нужные слова, которых Вам не хватало, а я приду и спугну Ваши мысли... Посмотрел я еще раз на Ваши светлые окна и от всей души пожелал Вам удачной работы. Я даже помахал Вам рукой, и так мне захотелось, чтобы Вы почувствовали мое теплое товарищеское пожелание... и пошел назад.

И вот как получилось, Лидия Николаевна, пришел я домой, и так мне захотелось сейчас же сесть за стол и работать. И я начал писать, и так легко мне заработалось, мысли сами ложились на бумагу. Я написал стихотворение и отнес в редакцию. И знаете, Лидия Николаевна, его приняли.

Как только журнал выйдет, я Вам его пришлю.

А получилось так, что Вы ведь все равно мне помогли, помогли своим чутким, добрым подходом к молодому. И вот Вы, прозаик, помогли поэту.

Это потому так вышло, что Вы имеете ключ к нашим молодым сердцам, и еще потому, что Вы верите в нас и любите нас.

Спасибо, Лидия Николаевна, за то, что я на расстоянии почувствовал Вашу дружескую теплоту и веру в нас. Игорь».

Охотнее всего работала сестра с авторами у себя на даче в Переделкине. Ей нравился простор и возможность быть совершенно одной в свои рабочие часы.

В ее громадной, полной света комнате было мало мебели: посредине широкий письменный стол, несколько стульев возле стен, плетеное кресло у окна и в глубине комнаты узенькая железная кровать.

На закрытой веранде стоял книжный шкаф, кушетка — на случай, если кто из друзей заночует, ореховый круглый столик и качалка.

В своей комнате Лидия Николаевна не терпела «уют» в виде ковров, занавесок, салфеточек, полочек и «картиночек» по стенам.

— Все эти украшения — только места для собирания пыли, — ворчала она на меня. — В моей комнате пусть беспрепятственно светит солнце в окна. И никакие тюли не должны загораживать этого чудесного вида.

Бывало, подолгу стояла сестра у открытых окон, любуясь голубым и зеленым простором, который в городской нашей квартире мог только присниться.

Из широких окон виднелись поля, засеянные рожью и клевером, слева протекала быстрая речка, а за ней по склону гористого берега темнел сосновый лес. Между зарослей зеленых кустов по крутому подъему вилась чуть приметная тропинка, по которой цепочкой шли люди на станцию или возвращаясь из Москвы.

Справа, чуть виднелся белый домик водонапорной башни, а еще дальше по горе сквозь густую зелень высоких сосен голубели купола старинной церкви, построенной еще при Иване Грозном и охраняемой как памятник глубокой старины...

Вставала сестра на даче очень рано. Каждое утро шла под горку купаться в речке, протекающей совсем рядом с дачей, потом кипятила себе кофе, завтракала. Лучше всего ей работалось в эти тихие утренние часы, когда кругом все спали. Реже работала ночами.

На рабочем столе у Лидии Николаевны всегда стояли цветы. Она любила душистый клевер, терпкий запах белого шиповника и жасмина.

Под окнами комнаты Лидии Николаевны росли кусты сирени и два высоких стройных клена.

Сестра Есенина — Шура и ее муж посадили эти клены совсем малюсенькими деревцами, а теперь они дотянулись до крыши веранды.

— Оттого так дружно и хорошо растут эти клены, что посажены были с любовью, — говорил, бывало, А. Н. Афиногенов, любуясь деревьями. — У меня тоже хорошо растет сирень, высаженная из цветочной корзины, преподнесенной мне в театре после постановки «Машеньки». Видно, сирень эту прислала мне поистине дружеская рука.

К Александру Николаевичу Афиногенову и его



Дача в Переделкине, где Л. Н. Сейфуллина постоянно жила последние годы

семье моя сестра питала особую слабость и нежность. Это была одна из тех нервавшихся нитей большой человеческой дружбы, которая прошла через всю жизнь Лидии Николаевны. С родителями Афиногенова Лидия Николаевна познакомилась и быстро сдружилась еще в 1906 году в Оренбурге, когда будущему драматургу было три года.

Спустя много лет Лидия Николаевна встретила его в Москве, уже взрослым человеком, особенно сблизилась с ним и его семьей, став их соседкой по даче в Переделкине.

Александр Николаевич был на редкость общительным и милым человеком, внимательным и отзывчивым товарищем. Даже в самые шумные годы своего литературного успеха он оставался простым и незаносчивым в обращении с окружающими людьми.

— Он любил нашу жизнь, — говорила об Афиногенове Лидия Николаевна. — Он верил в нее, оттого всем нам, его друзьям, было всегда отрадно с ним. У огня камина в его загородном доме много раз обогревалась не одна озябшая душа.

В домашнем быту он был веселый, всегда бодрый и неугомонный человек. Когда завел легковую машину, быстро овладел искусством шофера и, каждый раз собираясь в Москву, подходил к изгороди нашей дачи и, сложив руки рупором, озорно кричал:

— Соседи, которые из вас желают в Москву! Пожалуйста, извозчик ожидает. Прокачу с ветерком!

Часто вечерами засиживалась у него Лидия Николаевна в компании его добрых друзей. С ними он делился писательскими замыслами, читал свои пьесы. В жарких спорах незаметно шло время, и сестра возвращалась домой поздно, оживленная и довольная проведенными часами.

После его трагической гибели в начале Отечественной войны наша дружба с семьей Афиногеновых стала еще крепче. Не так давно его мать Антонина Васильевна передала мне письмо Лидии Николаевны к Александру Николаевичу, отправленное в день его рождения:

«Дорогой, милый Александр Николаевич!

Искренне от всей души поздравляю Вас. Сегодня очень бы хотела я, чтобы добрые пожелания друзей имели силу осуществляться в реальной горькой человеческой жизни. Будем на это надеяться.

Я желаю Вам здоровья, разделенной и понятой любви, полного во всем достатка и славы. Это в молодости, а когда придет старость — пусть будут для Вас верными друзьями «покой и воля», о которых мечтал светлейший Пушкин.

Обнимаю Вас и крепко целую. А Вы за меня поцелуйте Евгению Бернардовну и Джою.

...В 1889 году, тоже 22 марта родилась и я. Так что мы с Вами «порожденье» одного числа. Себе желаю Вашей душевной ясности и драматургического таланта.

Уж не скупитесь, поделитесь со мной этими качествами по-соседски. Я поздравлений *не* принимаю. Заявляю это вполне *серьезно* и *убежденно*. *Поэтому не приходите ни меня поздравлять, ни за мной, чтобы идти к Вам*. После 50-ти лет я, индивидуально я, поздравление с днем рождения воспринимаю, как иронию.

...В Ваши годы любила я день именин... Крепко жму Вашу руку.

Л. Сейфуллина.

1940, 22 марта».

Хорошие соседи были у Лидии Николаевны. С одной стороны жили семьи Афиногенова и Горбатова, позади нашего участка стояли дачи А. А. Фадеева и В. В. Иванова.

В заборе, разделявшем дачи Афиногенова и Лидии Николаевны, была даже проделана небольшая калитка, приметная лишь для хозяев. Калитку эту в то время мы называли «воротами дружбы».

В последние годы вдоль асфальтовой дороги, начиная от первых дач Павленко и Федина, до нашего конечного участка посажены деревья. Студенты Литературного института, жившие в общежитии в Переделкине, проходя мимо дач к речке, шутливо назы-

вали эту дорогу «Аллея классиков», официальная же табличка гласит: «улица Павленко».

Одно лето в Доме творчества в Переделкине жила писательница Ольга Маркова. Она приходила к нам почти ежедневно работать с Лидией Николаевной над рукописью «Улица сталеваров».

Позже Ольга Ивановна очень сдружилась не только с Лидией Николаевной, но и со всей нашей семьей. Иногда к нам приезжала ее сестра Раиса Ивановна Маркова и брат — художник Александр Иванович с женой. Как-то Лидия Николаевна вспомнила свое первое знакомство с Ольгой Марковой.

— Вошла ко мне в комнату красивая, видная женщина и села у стола этак манерно на самый краешек стула — вижу, вот-вот упадет, а продвинуться дальше не решается, сидит и краснеет. Я не выдержала и спрашиваю: «Вы всегда так сидите на стуле?»

Она вздрогнула, вскочила и говорит: «Простите, Лидия Николаевна, я не заметила, что так сижу».

Все рассмеялись, и громче всех Ольга Ивановна.

— Лидия Николаевна, так ведь это оттого было, что я очень вас боялась. Вы были такая сердитая!

— А мне тогда показалось, что вы и в жизни норовите присесть на краешек стула; я тогда и рассердилась, — молодая, а свое место в жизни занять не умеет.

Кто-то спросил:

— Лидия Николаевна, а когда вы к Горькому первый раз шли, вы не боялись?

— Очень боялась, — призналась сестра. — Я шла к нему и думала: «Как же я с ним разговаривать буду? Ведь Горький все, решительно все знает. Вдруг он поймает меня на невежестве?» Шла и в мыслях представляла себе разговор «о подвигах, о славе». А когда встретились мы с ним, то все получилось иначе. Подошел он ко мне, взял осторожно большими руками мою маленькую, которая сразу утонула в его ладонях, и говорит: «Здравствуйте, здравствуйте, Лидия Николаевна. Проходите к столу, будем завтракать — редьку с подсолнечным маслом есть». — И как заговорил со мной по-домашнему о редьке, так сразу

мой страх прошел, все стало на свое место, и я увидела всех, кто сидел у него за столом. Немало у меня было за все годы встреч с Горьким, немало было бесед и разговоров при мне с другими писателями, большими и малыми, но никогда не было ощущения, чтобы кто-нибудь уходил от него подавленным его огромным талантом и собственной незначительностью в литературе.

Наоборот, после встречи с ним чувствовалась какая-то особая бодрость, вера в себя и желание работать как можно лучше, как можно больше.

В то лето часто собиралась у нас на даче шумная молодежь. Приезжали товарищи внука Левушки, студенты филологического факультета, подруги моих дочерей, знакомые Лидии Николаевны. Днем ходили в лес, купались, загорали, а вечерами собирались на открытой веранде у сестры, часто пели хором, читали стихи.

Лидия Николаевна особенно любила слушать старинные сибирские песни. Их хорошо пели Марковы. Надвигающиеся сумерки летнего вечера, печальные мотивы создавали настроение легкой грусти, — задумчиво смотрела сестра на певцов и, может быть, вспоминала далекие дни своей жизни в любимой Сибири.

Случалось, что после пения Лидия Николаевна сама читала стихи.

Иногда читали свои стихи молодые начинающие поэты.

Однажды зашел разговор об итогах только что прошедшего совещания молодых авторов.

Лидия Николаевна заметила, насколько легче стало работать молодым писателям. О них заботятся, устраивают семинары, совещания, а в двадцатые годы ничего этого не было.

Приходили начинающие писатели с фабрик, с заводов, реже из деревень, малограмотные, застенчивые, но напористые, ибо у них было знание жизни, опыт труда, им хотелось донести все это до своего читателя. И, вспомнив прошлые годы, Лидия Николаевна рассказала нам о своей работе в лите-

ратурном кружке на «Красном Треугольнике» в Ленинграде.

Вести литературный кружок среди рабочих в то время было делом очень нелегким, рассказывала она, потому что во всяком другом кружке — хоровом, музыкальном, фотокружке — результаты занятий и учебы выявляются скоро, а в литературных кружках все обстоит значительно сложнее: прежде всего нужно овладеть искусством слова, а когда это искусство будет реализовано, и будет ли? Появлялось и утомление от непривычных занятий, состоящих из множества кропотливых подробностей стихосложения, и неуверенность в своих способностях.

Один рабочий после отрицательного отзыва о его рассказе заявил:

«Ну, мы не Гоголи какие-нибудь, нам некогда...»

Встал и ушел.

А нам ведь как раз и нужны Гоголи из среды рабочих. Я очень расстроилась тогда и долго думала, чем же и как его удержать?

Это было время, когда рабочие приходили к писательству, владея только элементарной грамотой, без широких сведений о мире, без элементарных научных знаний, участие же в литературном кружке требовало и требует пристального чтения не только одной беллетристики.

— Как-то я, возвращаясь с завода с двумя кружковцами, пригласила их зайти ко мне, — вспоминала сестра. — Жила я тогда в Доме ученых на улице Халтурина. Мы разговорились о мастерстве Маяковского. Один из них горестно заявил:

«Хорошо ему, он знал, что был водопровод, сработанный еще рабами Рима, а я вот о Риме ничего не знаю. Один раз мне показалось, что хорошо ложится сравнение: «Как в Риме», но я побоялся. Черт его знает, было ли так в Риме?»

А другой добавил:

«Образованный соврет, так не заботится. А если мы и слышали что-нибудь, так это еще надо проверить, не сбреднул ли кто-нибудь нам в насмешку. Не всякий из вашего брата хочет, чтобы рабочий в писа-

тели подался. Да и из нашего брата не всякий поверит, что вы нам помочь хотите в новой жизни разобратся».

Чтобы лучше узнать жизнь завода, на котором я руководила литературным кружком, — продолжала Лидия Николаевна, — я решила поступить на этот завод в качестве работницы, стать ближе к рабочим, завоевать их доверие, узнать их в труде, в быту и во время отдыха.

Привели меня в галошный цех, в седьмую артель механической мастерской. Работа была сдельная, начиналась в 7.30 утра. У одной стены в ряд стояли токарные станки, на которых работали мужчины и женщины. Между столами — скамейки на одного человека с перекладной для ног. После долгого сидения на такой скамейке у меня ужасно ныла спина.

Работа моя состояла в том, чтобы обрезать кривыми ножницами бахрому и неровности резиновых частей тормоза Казанцева. И хотя артель не требовала с меня выполнения определенной нормы выработки, я, непривычная к физической работе, сильно уставала.

Однажды во время работы я увидела товарища из литкружка, который раздумал быть Гоголем. Заметив меня, он приостановился и начал наблюдать, как я с напряженным видом сижу на своем круглом стуле и неумело срезаю бахрому резины, вид у меня был, конечно, далеко не геройский. Он усмехнулся и довольно ехидно сказал:

«Товарищ Сейфуллина, ваша работа на заводе, видать, такая же, как моя у вас в кружке!»

Я сделала вид, что не заметила его ехидства, и бодро сказала:

«Ничего, товарищ, это на первых порах. Я вот стараюсь преодолеть эту трудность. И вам от души советую, постарайтесь преодолеть трудности и вы».

Он смутился и отошел.

А после работы у проходной нагнал меня и сказал:

«Спасибо вам на добром слове, товарищ писатель-

ница. Не знаю, как вы, а я обязательно постараюсь добиться своего. Я ведь понял теперь, из-за чего вы на завод пришли и за нашу работу сели. Не для того, чтобы нашим производством овладеть, а чтобы к нам ближе стать».

После этого он стал самым настойчивым и упорным моим слушателем.

Действительно, этот, хотя и короткий, период пребывания моего работницей на заводе для меня был очень ценен. Заводу он пользы не принес, но меня значительно обогатил. У меня появились друзья на заводе — работа в кружке стала значительно интереснее.

Весной я уезжала в Чехословакию, куда была приглашена на постановку в Пражском театре моей первой пьесы «Виринея» в переводе на чешский язык. С литкружковцами мы расстались очень тепло. На память о моей работе на заводе товарищи преподнесли мне небольшой интересный, случайно где-то уцелевший от старых хозяев американской фирмы блокнот...

Сестра подошла к книжному шкафу и вынула оттуда длинный и узкий темно-зеленый блокнот. На его крышке был напечатан штамп фирмы «Треугольник», окаймленный четырьмя золотыми медалями, в середине треугольника дата основания завода «1860», а ниже золочеными буквами: «Товарищество Российско-Американской резиновой мануфактуры под фирмой «Треугольник» С.-Петербург».

И вот на этом-то блокноте, напоминающем о кабальном прошлом рабочих, и написали новые хозяева завода слова о дружбе и товариществе советских людей:

«Лидии Николаевне Сейфуллиной от молодых начинающих писателей — рабочих «Красного Треугольника».

Благодарим за Вашу помощь в работе литературной группы завода в течение целого года.

За всех Горев».

— Вручая мне этот подарок, Горев сказал: «Лидия Николаевна, может, на таком блокноте иностран-

ные хозяева прибыль свою подсчитывали, разными способами семь шкур сдирали с нашего брата, а мы вот теперь пишем на нем наше пролетарское спасибо писателю за культурную работу среди нас».

Я храню этот блокнот как дорогую память о моей работе в литературном кружке тех лет, — растроганно сказала сестра и бережно поставила его в шкаф, между книг с автографами.

И, как обычно, одно воспоминание вызывает в памяти другие события и даты, и Лидия Николаевна вспомнила в этот же раз о том, как в тридцатые годы она ездила вместе с Правдухиным в Одессу, Харьков, Свердловск и Магнитогорск для выступления на литературных вечерах.

В Магнитогорске на литературном вечере ее познакомили с комсомольцами, начинавшими свою литературную работу в журнале «За Магнитострой литературы».

— На следующий день, — рассказывала сестра, — я поехала к ним в редакцию, а Валерьян Павлович пошел раздобывать для меня валенки. Стояли суровые холода, а я, легкомысленно позабыв в Ленинграде о крепких уральских морозах, была обута в легкие ботинки с мелкими галошами. В редакции я провела несколько часов. В дружеских разговорах и горячих дебатах о литературе время летело незаметно. Молодежь гурьбой пошла провожать меня до гостиницы, и тут я посетовала на свое легкомыслие. Ноги мои быстро озябли, и я ускоряла шаги, время от времени притопывая ногами. В гостинице Валерьян Павлович встретил нас огорчительным известием: валенок на мою ногу нигде найти не мог. Утром мы улетали в Свердловск. Уже была объявлена посадка, и пассажиры устремились к самолету. И вдруг я слышу, как кто-то громко зовет: «Товарищ Сейфуллина! Лидия Николаевна, обождите!» Я оглянулась и увидела — бегут запыхавшись два знакомых комсомольца из редакции с белыми валенками под мышкой.

«Товарищ Сейфуллина, чуть было не опоздали! Держите валенки. Это для вас. Еле нашли. Переобуйтесь, а то в пути совсем отморозите ноги. Держите».

От неожиданности и волнения я потеряла дар речи, — продолжала рассказывать сестра. — Топчусь на месте, пытаюсь заговорить с ними, но Правдухин, торопливо подхватив валенки, берет меня под руку и увлекает к самолету со словами: «Потом, потом ты им напишешь — ведь нас не будут ждать». Я оборачиваюсь на бегу, машу им, кричу: «Спасибо, дорогие!» А они стоят довольные, улыбающиеся и тоже энергично машут руками и кричат: «До свидания! Спешите! Мы будем вам писать!»

Все это было так неожиданно и трогательно, что я, уже сидя в самолете, продолжала вытирать слезы, которые все время застилали мне глаза, как только я увидела эти белые маленькие валенки и довольные лица двух комсомольцев Магнитки.

Эти милые, задорные лица я запомнила навсегда.

На протяжении всей жизни, где бы ей ни приходилось бывать во время писательских командировок, Лидия Николаевна всегда живо интересовалась работой молодежи в литературных кружках...

Осень и зиму 1940 года сестра решила провести в Крыму. Она уехала в Ялту к моей дочери, которая работала врачом в горном санатории «Эреклик».

В Крыму сестра чувствовала себя хорошо. Старалась ежедневно делать большие прогулки. Охотно выступала на литературных вечерах и в санаториях среди отдыхающих. По просьбе редакции местной газеты «Красный Крым» ею были написаны статьи «Жизнь продолжается», «Воспоминания о Маяковском», «О встрече с писателем Чириковым в Чехословакии», «8-е марта в Никитском ботаническом саду» и другие.

Тогда же она начала работать над статьей о Чехове «Писатель и его дом». В этот свой приезд в Крым сестра подружилась с Марией Павловной Чеховой. Случалось, пробыв у нее в Чеховском доме целый день, Лидия Николаевна оставалась там ночевать. И эти долгие зимние вечера, полные заду-

шевных и дружеских разговоров, были самыми дорогими и интересными для Лидии Николаевны. Вспоминала о них и сестра Антона Павловича.

«...Я успела привыкнуть к Вам за Ваше пребывание в Ялте, и мне было грустно расставаться с Вами. Вы такая хорошая, чуткая, что, должно быть, всем при Вас как-то легче живется, — писала Мария Павловна сестре после ее отъезда в Москву. — Сейчас у нас такая чудесная весна — уже совсем тепло, дождей нет, солнце светит ярко. Наш сад благоухает, уже цветут розы. Повременить бы Вам уезжать, и Вы увидели бы любимый садик писателя во всей его красе.

Конечно, и у Вас скоро будет хорошо, когда Вы приедете на свою «пожизненную» дачу, и, пожалуй, забудете нашу Ялту!

Будьте же здоровы, дорогая, пришлите мне, когда будет возможно, Вашу книжку с автографом, и я буду Вам глубоко благодарна.

Если Ваша племянница переменит место своего жительства, то двери Чеховского дома, при моей жизни, всегда будут для Вас широко открыты. Примите это к сведению и приезжайте. Буду Вас ждать.

Любящая Вас М. Чехова.

3.VI—41 года».

Вскоре началась страшная для всех война...

Последнее письмо Марии Павловны к моей сестре было отправлено 21 октября 1941 года.

«Дорогая Лидия Николаевна! Если бы Вы знали, как я обрадовалась Вашему милому письму! Как хорошо Вы сделали, что написали мне! Вы такая добрая и симпатичная, что нельзя было не полюбить Вас, и я полюбила, и теперь Вы как родная мне...

Письма получаем очень редко, и идут они долго. От Ольги Леонардовны давно вестей нет из Нальчика, она там скучает и рвется в Москву, куда она

хотела попасть в начале октября, и я очень беспокоюсь, где она теперь...

Посетителей совсем мало, изредка навещают нас раненные бойцы. Работаем над письмами Чехова, и это единственное утешение. В общем скучно и то-скливо, хочется в Москву — любимую Москву, и я за-видую Вам, что Вы там защищаете ее.

Мы тоже готовимся защищать свою Ялту и Че-ховский домик. Я никуда не уеду, ибо не понимаю себя в другой роли, как только быть хранительницей дорогого мне памятника.

Будьте же здоровы и невредимы. Я думаю, что Вы еще не раз переночуете в Вашей любимой ком-натке в доме Чехова, лишь бы нам скорее победить врага...

Ах, как хочется поскорее...

Целую Вас крепко...

Преданная Вам М. Чехова».

Последний раз Лидия Николаевна была у Марии Павловны в марте 1944 года, приехав туда из Сим-ферополя на один день.

Обе были очень рады этой недолгой, но сердечной встрече.

Мария Павловна, сильно похудевшая, но по-преж-нему бодрая, с волнением рассказала сестре о тяже-лых днях оккупации Ялты, о том, как она охраняла мемориальные комнаты брата, раз навсегда решив, что только смерть заставит ее уйти со своего сторо-жевого поста.

Об этой встрече Лидией Николаевной была напи-сана статья в газете «Красный Крым» — «Чеховский домик».

В один из рабочих блокнотов сестры вложен ли-сток отрывного календаря со страшной датой — 22 июня 1941 года. При взгляде на этот листок па-мять начинает перебирать страницы жизни, и встают эти воспоминания, оживляя и освещая все, что было пройдено и пережито нами в тяжелые годы войны.

Я работала в одном из тыловых госпиталей далеко от Москвы. Сестра часто писала мне о своей московской жизни и всегда очень огорчалась тем, что никак не удастся ей включиться во фронтовые поездки писателей.

«Учитывая мой солидный возраст и грузную комплекцию, — жаловалась она мне, — меня предпочитают загружать текущими делами в секретариате Союза писателей, и кончится это тем, что я самовольно уеду — сама по себе».

Однажды она так и сделала. И вскоре в Союз писателей пришло письмо подполковника Н.

«Тов. Фадеев, по вине моего работника ко мне, в редакцию армейской газеты, прибыла т. Сейфуллина. Понятно, что Лидия Николаевна, руководствуясь патриотическим чувством, выразила желание работать даже корректором — лишь бы быть на фронте. Надо ли объяснять, что стоит такое решение и как можно позволить Сейфуллиной работать корректором?.. Вначале мною было принято предварительное решение оставить Лидию Николаевну на работе писателя. Но впоследствии оказалось, товарищ Сейфуллина выехала к нам без направления Президиума Союза писателей и поездка не согласована в ГлавПУРККа.

Наши военные порядки не позволяют в этой области кустарничать, и, к великому общему нашему огорчению, я вынужден Лидию Николаевну отпустить домой. Прошу не взыскивать за допущенную оплошность... А что касается Лидии Николаевны, то она совершенно тут ни при чем и приезд ее к нам не пропал даром.

За 12 дней Лидия Николаевна достаточно познакомилась с нашей фронтовой жизнью, помогла нам, чем только можно было, в работе коллектива редакции».

Такова была ее первая, неудачная поездка на фронт. Впоследствии Лидия Николаевна имела уже официальные направления в дивизии Западного фронта.

Бывая на позициях, Лидия Николаевна охотно

выступала среди бойцов, читала свои произведения, проводила беседы с военкорами, выявляла среди них начинающих писателей и поэтов и, если время и обстановка позволяли, разбирала тут же рукописи. Наиболее удачные вещи увозила с собой в Москву и устраивала их в газеты и журналы.

Знакомство ее с бойцами не ограничивалось только работой в частях, а закреплялось перепиской и встречами в Москве.

После каждой фронтовой поездки Лидия Николаевна привозила много интересного материала, работала над ним целыми ночами, выполняя срочные заказы для Совинформбюро.

По материалам, собранным в это время, она написала одноактные пьесы «Знамя», «Доктор Воробьев», «В одной деревне», рассказы «Саша», «Сергея Воронцов», «У самого фронта» и начала работу над повестью «На своей земле».

Вернувшись как-то из командировки, Лидия Николаевна нашла у себя на столе письмо из той гвардейской части, куда она ездила зимой. Приближался май, ее приглашали приехать на праздники:

«Лидия Николаевна! Весенний привет Вам из лесов Смоленщины. ...После вашего отъезда... началось наше наступление. «Путешествовали» долго.

Теперь мы будем очень рады, если Вы, гвардии красноармеец, приедете к нам в гости... Дорога к нам теперь торная, не собьетесь... Стоим в еловом лесу... вот-вот распустятся березки. А война и на природу здесь наложила свою отвратительную лапу. Лес исковеркан, много деревьев вырублено, но цветут и тут подснежники и еще какие-то немудрые цветы...

Помните Гавриленко?.. Он еще называл Вас «гвардии мамаша». Примерный, скромный боец, одним словом — русский человек. Он сегодня награжден. Теперь ждем Вашего очерка о нем... Надо сделать это, Лидия Николаевна!

Ваши беседы с нами мы хорошо запомнили, и военкоров у нас все прибавляется. Приезжайте же, уйму дорожных впечатлений получите...»

Очерк Лидии Николаевны о Гавриленко «У самого

фронта» был напечатан в газете «Труд». В нем она вспоминает свою поездку в подвижной походный дом отдыха, размещенный в пяти избах, уцелевших на месте уничтоженного немцами большого села.

— Отдыхают в этом доме отдыха, — рассказывала сестра, — в 5—6 километрах от передовой линии, под грохот орудий, под угрозой воздушных налетов — прежде всего бойцы, премированные сутками сна. Поступающих бойцов сразу же ведут в горячую баню, где они всласть отогреваются, потом их сытно кормят, и, наконец, сон, сон в удобной сухой и чистой постели в одном белье, с разутыми ногами...

Такую сладость отдыха во сне знают лишь они, испытавшие изнурительное бодрствование, с глазами, все время устремленными в раскаленную топку современной войны.

Вот в этом-то походном доме отдыха я неожиданно встретила бывшего радиста той гвардейской части, где я бывала. После тяжелого ранения он временно работает здесь санитаром. Увидев меня, Гавриленко страшно обрадовался.

«Так это ж наша «гвардии мамаша»! — воскликнул он. — Жалуйте, жалуйте до нас у хату».

«Гвардии мамаша» — это я. Прозвище это дал мне боец Гавриленко Сергей Ильич, прикрепил прочно, как знак различия.

В день Красной Армии в этой же гвардейской части, в подземном клубе-блиндаже за литературную работу в воинской части командованием мне был вручен приказ: «Награждаю знаком гвардии». Воинского звания у меня нет, его и определил мне, приняв в учет мой возраст, Гавриленко.

С тех пор меня там иначе не называют, а это для меня самое дорогое, самое ласковое имя, — говорила сестра.

Знаком гвардии Лидия Николаевна очень гордилась. И когда шла на какое-нибудь выступление или официальный вечер, всегда прикалывала его вместе с орденом Трудового Красного Знамени...

К своей работе с военкорами сестра относилась очень внимательно и строго: рецензируя их рукописи,

она не спешила с отрицательной оценкой, выискивала положительное, удачные фразы, выражения, которые могли бы в какой-то мере спасти рукопись начинающего писателя-воина...

На письма военкоров сестра всегда старалась отвечать как можно обстоятельнее, деликатнее, но всегда откровенно.

Незадолго до моего приезда в Москву у Лидии Николаевны была мать Лизы Чайкиной, Аксинья Прокофьевна. Сестра встретила ее с таким сердечным вниманием и теплотой, что она провела у Лидии Николаевны целый день и осталась ночевать. И вот ночью произошел у них тот душевный разговор, когда человек открывается другому, веря ему и принимая его участие.

«Я с тобой, Лидия Николаевна, как с родной сестрой говорю. Тронула ты меня своей простотой, ровно ты нашинская по обхождению твоему. Ни о чем ты меня не выпрашивала, а глаза твои ясные прямо в душу глядели».

Так они проговорили до рассвета, всю ночь напролет.

Рассказала в эту ночь Аксинья Прокофьевна не только о гибели своей дочери, о тоске по сыну, но и всю свою женскую жизнь вспомнила, с самой своей ранней молодости... А наутро, прощаясь с Лидией Николаевной, сказала: «Как ни тяжело на сердце, а нельзя нам сейчас спустя руки горевать, сердце не только за детей болит — за нашу Родину болит, и горестям и радостям, видно, потом вести счет будем. Сейчас первым делом надо врага нашего добить».

— От этого свидания с матерью Лизы, скромной и мужественной женщиной, осталось у меня на всю жизнь неизгладимое воспоминание, — говорила мне сестра.

Часть разговора с Аксиньей Прокофьевной вошла впоследствии в статью «Народные героини» и в повесть «На своей земле».

В тетради у Лидии Николаевны есть одна страничка из записи разговора с Аксиньей Прокофьевной, кажется нигде ею не упомянутая:

«Шли мы с ней лесом. Малина красная по кустам. Лиза остановилась, сорвала две ягодки и съела. Я говорю: «Давай, доченька, ягодок пособираем тебе», она говорит: «Нет, мама, спешить надо». И гляжу я, лицо у нее все меняется. То вроде румянцем полыхнет, то побелеет.

«Мама, — говорит она, — теперь я уйду в леса. Может, мне и трудно будет, и голодно, и холодно, но я пойду к партизанам».

А я, совестно сказать, и не знала тогда, что за партизаны такие, что они делают. Расспрашиваю Лизу, а она и говорит: «Мама, ты мне друг, а я и тебе о них ничего не скажу. И если ты меня убитую увидишь, не признавайся, что я — твоя дочь, если допрашивать будут». Я задрожала вся, говорю: «Лучше бы ты мне этого не говорила».

На Волгу пришли, пароходу еще час стоять. Лиза меня проводить пошла. Попрощались еще раз. И больше я ее не видела, не знала даже, что...» (здесь запись обрывается).

В первые дни после освобождения Симферополя Лидии Николаевне удалось получить командировку от одной газеты и вылететь туда на самолете.

Картины зверски разрушенного города и вокзала, трупы железнодорожников, повешенных на деревьях, волнующие встречи партизан со своими семьями, радость освобожденных людей, тысячный митинг на площади и суровая процессия похорон замученных людей, останки которых были найдены при страшных раскопках, — все это тяжелым грузом ложилось на обостренное восприятие писательницы. Ей хотелось как можно скорее все запечатлеть, заклеить позорное поведение фашистов на нашей земле, рассказать всему миру об их чудовищных злодеяниях.

Так стали появляться вкривь и вкось, наскоро набросанные строки в блокноте, просто на клочках бумаги, на обороте листовки, даже на папиросной коробке.

Свою «вечную» ручку Лидия Николаевна потеряла еще в самолете и теперь мучилась, записывая каран-



Клуб писателей 28 июня 1950 г.
Митинг по сбору подписей под Стокгольмским воззванием.
На трибуне С. Я. Маршак. Сидят: П. П. Вершигора,
Л. Н. Сейфуллина, Е. А. Долматовский, Мирзо Турсун-заде



Клуб писателей 28 июня 1950 г.
Л. Н. Безыменский и Л. Н. Сейфуллина подписывают
Стокгольмское воззвание

дашом, негодуя и возмущаясь бледными строчками записей.

«Даже карандаши нашей эпохи сработаны для скорого забвения! — писала она в письме ко мне. — Написанное ими сотрется через 5—10 дней, а каждый день каждого человека, таящего в себе скорбь и ненависть, велик тоской и страданиями...»

Перебирая отдельные листки бумаги, листовки, крышки от папиросных коробок, я за всем этим вижу жуткое лицо войны...

Как рассказать о жизни такой короткой и столь полной событиями?..

Ребенок — матери:

— Мне спать страшно — я вижу сны плохие.

— Какие?

— Немецкие...

О детях, о детях, продрогших от смертного холода, от голода, забывших радости детской жизни...

Кто не нашел своих ни среди живых, ни среди мертвых, — тому легче. Он надеется и ждет, ждет...

Услышанный разговор:

— Товарищ командир отряда, глядите, мать убили!

— Твою? Разве это твоя мать?

— Чья-нибудь, наша, поднимем ее!

Об искусстве во время войны

Известное выражение, — «когда гремят пушки — музы молчат» к нам не относится.

3 апреля 42 года... в Ростове, при неоднократных воздушных налетах немцев на город, актеры три раза сыграли пьесу «Фельдмаршал Кутузов». Они играли

с 11 час. дня до 3-х часов утра 4/IV. И по требованию воина-зрителя все одну и ту же пьесу. В последний раз они играли для танкистов, уходящих в бой и пожелавших перед уходом посмотреть именно «Фельдмаршала Кутузова».

Только надо, чтобы поколенью
Мы сказали нужные слова
Сказкою, строкой стихотворенья,
Всем своим запасом волшебства.

Светлов

Не забудем их,
Лицо в лицо
Видевших и жизнь,
И смерть,
И славу.
Не забудем
Наших мертвецов, —
Мы на это
Не имеем права!

(Он же)

— Жить нельзя, а находиться можно, — сказал боец на вопрос, хорошо ли в окопе.

Ух, до чего же легко дышится, когда в небе не гудит, земля не взрывается и ни снаряд, ни пуля не ищут тебя, отдыхай...

Граната со свистом ударилась и разнесла прикрытие...

...Смерть гасит солнышко, закрывает своей тенью жену и детей... но зато она освещает многое, чего

не видел, не хотел, забывал видеть: Долг перед жизнью! В дешевку жизнь не сдавать...

Ощущение всех возможностей победы над скорбями, недугами, унижением, даже над смертью — высшая правда жизни.

Овладеть территорией не значит победить захваченных на этой территории людей. Захват и угнетение это далеко не победа.

Боюсь, но не испугаюсь...

В одной из тетрадей есть запись о Симферополе:

Первыми в город на машинах прибыли партизаны. Армия только входила и еще вела бои на окраинах города, а партизаны в своей подпольной типографии выпустили листовки, и Красную Армию на другой день встретили свежим номером газеты и в газете даже сумели дать фельетон. Дали сами, без писателей, потому что нашлись необходимые, живые, горячие слова. За это время люди так много видели и пережили, у них скопился такой огромный, волнующий материал, который вдохновил бы любого писателя на большие произведения.

До вступления в город типография их работала в пещере, вход в которую заслоняло толстое дерево, пробираться в нее приходилось по крутым скалам, поросшим мелким густым кустарником. В этой лесной типографии работали трое, один человек ведал шрифтом, другой был печатником, а третий — и автор, и редактор, и охрана.

Пресс со шрифтом лежал у края пещеры, здесь же гранки, а рядом автомат и две гранаты.

В таких условиях печатали они ежедневно листовки... Последняя листовка была издана в день штурма Перекопских и Сивашских позиций...

Не успели распространить эти листовки, как им пришлось срочно сворачивать свою лесную типографию и выходить на вражеские коммуникации, помогать наступлению Красной Армии, а следующие листовки были изданы уже в Симферополе, и было на них написано: «13.IV.44 г. Сегодня в город вступила Красная Армия и партизаны Крыма. В городе восстановлена Советская власть...»¹

Вернувшись в Москву, сестра взволнованно делилась с нами своими впечатлениями.

— Когда узнали, что я прилетела из Москвы, вся комната, куда меня поместили, наполнилась бойцами. Меня жадно расспрашивали: как в Москве, как идет жизнь в тылу? Проговорили чуть не за полночь. А на рассвете был сильный налет, и продолжался он более двух часов. И хотя, в основном, самолеты не допустили в город, все же какой-то бомбардировщик прорвался и на соседней улице взорвалась бомба. От сильного сотрясения у нас в доме посыпались стекла и выпали рамы. На какое-то время я была совершенно оглушена почти непрерывным грохотом. Это рушились дома и стреляли наши зенитки. И вдруг... через весь этот треск и грохот на улице неожиданно раздался громкий голос репродуктора. Говорила Москва. Я вздрогнула. Это было непередаваемое ощущение.

С одной стороны мы тут под обломками, а Москва живет своей жизнью и подает нам голос. И этот звучный голос давал такую уверенность, бодрость, он вносил какой-то определенный порядок и радость в твое взволнованное воображение.

Ведь это был родной живой голос нашей несокрушимой Москвы!

На следующий день я выступала у зенитчиков на батарее; разговаривая с ними, вспомнила прошедшую ночь и спросила:

¹ Позднее в Симферопольском парткабинете была устроена выставка печати красных партизан. Здесь были «боевые листки» партизанских отрядов, выпущенные лесной типографией, наборная касса и печатная машина этой походной типографии.

«А вы слышали, как говорила Москва?»

Они засмеялись и сказали:

«Товарищ Сейфуллина, нам слушать было некогда, но мы были очень рады, что в это время с нами была Москва. Здóрово это было!..»

И здесь на батарее, в разговоре с бойцами также выявились охотники писать. Всем им хотелось поделиться своим творчеством. Один из командиров батареи прочитал в тот день мне очень слабый свой рассказ; слушая его, я невольно думала о том, что эта батарея шла от Сталинграда до Симферополя в боях... Этой доблестной батарее дали 10 дней отдыха, и в это время командир хочет поделиться со мной своим творчеством. Мне сказать ему, что рассказ его плох, чрезвычайно трудно. И я старалась уклониться от прямого разговора, стала расспрашивать его, что делается в Крыму, и он начал рассказывать очень образно и интересно. Тогда я ему сказала:

«Товарищ командир, вы на меня не обижайтесь, но я вам скажу, что для того, чтобы стать писателем, надо вот так писать, как вы рассказываете...»

Он меня понял и не обиделся. Он только сказал, что многим из них хочется написать художественное произведение, потому что все так много видели, так много пережили, но словесно они беспомощны, и вот тут-то и должен на помощь прийти писатель. Возвращаясь в Москву, я забрала с собой объемистую пачку рукописей.

Отгремела война. Начались мирные дни нашей жизни. После большого перерыва мы снова на даче.

Лето. Лидия Николаевна закончила повесть «На своей земле» и, как это часто водится в писательской среде, пригласила нескольких человек, чтобы прочитать им главы. Все обещали быть, но часа за три до назначенного часа к окну подошел Александр Александрович Фадеев и попросил вызвать сестру.

— Саша, — удивленно воскликнула Лидия Николаевна, — ты перепутал часы, я жду вас к девяти!

Он что-то сказал вполголоса, обнял ее за плечи, и они пошли в глубь участка.

Сестра вернулась одна и была чем-то взволнована. На мой вопросительный взгляд сказала:

— Фадеев не придет сегодня. Да и не нужно было ему сейчас приходить. Господи, как много у нас в жизни условностей! Боялся — не обижусь ли я на него. Сказал мне смущенно: «Лида, я пришел сказать, что не могу быть сегодня у тебя. Я очень хотел прийти, но понимаешь, не могу. Я сам это только сейчас понял и вот пришел сказать тебе, чтобы ты не искала других причин. Ты знаешь, что я сейчас тоже пишу. Работаю над «Молодой гвардией», и сегодня с утра так хорошо приходят нужные мысли, так легко ложатся на бумагу именно те слова, которые я никак не находил. У меня перед глазами только мои образы. Я вижу моих героев, я их чувствую, мне кажется, что я даже слышу их голоса. И если бы я даже пришел к тебе и слушал твое чтение, то через твоих героев на меня смотрели бы только мои образы. Я так полон сейчас впечатлениями, что ко всему другому я абсолютно глух. Ты прости меня». Я взволнована его деликатностью и чуткостью, — продолжала сестра. — Не каждый бы это сделал. В лучшем случае прислал бы записку. А состояние его мне очень знакомо, потому что у каждого писателя в определенные периоды творчества бывает «одержимость» своими собственными сюжетами... И она тем сильнее, чем труднее воплощение этого сюжета в литературное произведение...

В 1946 году в Москве была созвана конференция прозаиков из областей. И в подготовке и в заседаниях конференции Лидия Николаевна принимала горячее участие. В эти дни она уже с утра волновалась. Возвращаясь с конференции возбужденная, оживленно рассказывала мне все подробности: и кто

выступал, и почему такого-то следовало поругать, а за такого-то необходимо было заступиться.

Я знала почти все фамилии, которые она называла, потому что рукописи этих авторов лежали в папках у нее на столе задолго до конференции.

Щедро отдавала она себя этой захватившей ее работе. Благодарно и жадно воспринимая все, что несли люди, приехавшие на совещание, она даже помолодела за это время.

В последние годы сестра все чаще стала недомогать. Пришлось прибегнуть к операции, после которой врачи категорически запретили ей думать о командировках, особенно на дальние расстояния. А Лида так мечтала о продолжительной поездке по родной Сибири.

Ей, которая так ясно всегда ощущала трепетное дыхание жизни, невыносимо было смотреть на жизнь «через окно» и наблюдать: «Кто-то куда-то идет. Кто-то куда-то едет». А ей всю жизнь самой хотелось ехать, самой спешить и двигаться. И она чрезвычайно тяжело переносила замедленные темпы жизни больного и усталого человека.

В 1951 году Лидия Николаевна все же не выдержала и выехала в Иркутск на областную конференцию молодых писателей — это была ее последняя поездка.

Иван Иванович Молчанов-Сибирский, давний друг Лидии Николаевны, писал мне оттуда:

«...Как хорошо ее [Лидию Николаевну] встретили наши читатели! В переполненных аудиториях она вела сердечный и прямой разговор со студентами и с рабочими. Везде ее встречали горячо и радостно. В день памяти А. М. Горького должно было состояться торжественно-траурное собрание партийно-советского актива города Иркутска.

Лидия Николаевна и я должны были выступать с воспоминаниями. Когда ехали на этот вечер, Лидия Николаевна говорила:

— Вы представьте себе, что перед вами Алексей Максимович, и говорите о нем все, что переполняет вашу душу.

Я пытался отказаться, но она настояла, чтобы я выступил первым.

Пришлось согласиться. Когда я кончил говорить, слово взяла Лидия Николаевна, но слезы мешали ей выступать. Потом взяла себя в руки, коротко рассказала об одной из встреч с Алексеем Максимовичем и закончила:

— Иван Иванович так хорошо передал все, что я думаю и переживаю, что мне нечего добавить...»

Приезжая в Москву, когда Лидии Николаевны уже не было, Иван Иванович каждый раз заходил к нам. Это был верный друг и чудесной души человек.

Много раз вспоминал он, как сестра умела разбираться в душевных качествах людей и определяла подлинную цену человека чуть ли не с первого взгляда. Всю жизнь она ненавидела всяческую фальшь.

В 1957 году ушел из жизни и Иван Иванович Молчанов-Сибирский... Очень горько прибавлять в воспоминаниях о родных и милых сердцу людях слово — были!



А л. Ш м а к о в

ХУДОЖНИК И ЖИЗНЬ

I

Владимир Лидин верно заметил, что Лидия Сейфуллина находилась у истоков, без которых не бывает больших рек. Тем важнее уяснить источники, питавшие этого оригинального художника слова на первых порах его литературного пути, показать, что помогло проявиться его самобытному таланту.

Думается, вечно живое в книгах Л. Сейфуллиной — жизнь. Писательница умела горячо отзываться на текущие события, жить ими, остро чувствовать их своим большим сердцем. Когда перечитываешь книги Лидии Николаевны, заново переживаешь все, что было пережито и перечувствовано автором, его героями — простыми людьми, у которых расправились плечи и появилась неиссякаемая энергия творить новую жизнь.

В годы своего пребывания в Челябинске Л. Сейфуллина с увлечением работала в городской центральной библиотеке-читальне и одновременно успевала писать очерки и статьи в газету «Советская правда». Она проводила занятия по ликбезу с красноармейцами и выступала с докладами перед работницами. Ее неутомимой натуре этого было мало. Лидия Николаевна вместе с В. Правдухиным организовала в городе первый детский театр и писала для него пьесы и в то же время выступала на сцене Народного

дома как актриса. Она пристально изучала причины беспризорности, наблюдала за поведением детей, оставшихся без родителей, и, поглощенная заботами о них, деятельно участвовала в жизни Тургорякской детской колонии.

Захваченная этими большими заботами, Лидия Николаевна мало внимания обращала на себя. Все, кто встречался с нею в эти годы, отмечают ее удивительную скромность.

Старейший работник Челябинской библиотеки Вера Александровна Мензенкамф рассказывает:

— В памяти оживает молодая женщина, с виду подросток, но с крепкой, ладной фигуркой, со смуглым лицом, порывистая, энергичная. Что больше всего поражало в ее лице? Огромные черные глаза, чуть-чуть печальные. Иногда они вспыхивали негодованием, иногда в них трепетали веселые искорки.

Не запомнить этого лица было нельзя.

Такой впервые я увидела Лидию Николаевну в Челябинске в конце 1918 года. Было совещание внешкольных работников. Из отдаленных уголков уезда, из глухих деревень съехались библиотекари. Хотелось услышать, как работать по-новому в разбуженной глухомани. В красном домике, на месте, где построено сейчас здание совнархоза, собрались мы на необычный вечер, встречу с Сейфуллиной. В комнату, застланную большим ковром, стремительным шагом вошла Лидия Николаевна и предложила нам сесть прямо на ковер. Полились звуки ее глубокого, душевного голоса. Она рассказывала роман Тургенева «Накануне». Будто замороженные, слушали мы сцену, как Елена с телом умершего Инсарова переезжает канал в Венеции. Многие слушательницы тихонько утирали слезы.

Мы поняли цену живого, доходчивого слова, яснее стали задачи нашей работы в деревнях и селах. Как помогло потом нашей работе искусство чтения и рассказывания.

Несколько раз встречалась я с Лидией Николаевной и ее мужем В. Правдухиным не только в деловой обстановке, но и в их маленькой, скромной комнате.

Лидия Николаевна всегда была гостеприимна и сердечна.

В один из своих приездов я рассказала случай из жизни села Воскресенского, в котором работала как педагог и библиотекарь.

Село Воскресенское (ныне Курганской области) далеко отстоит от железной дороги. Глушь. 1919 год.

Только что отхлынули белобандитские отряды Колчака, поджегшие село. Встревоженные мужики, женщины, сидящие на своих пепелищах, голосят по-деревенски. Не установлена еще новая власть.

Вот в эту пору прикатил в село молодой паренек в кожаной куртке, перепоясанный крест-накрест новенькими хрустящими ремнями. Невысокого роста, с белокурыми выющимися волосами, с прекрасными синими глазами. Весь порыв, весь движение...

Настойчиво, с дерзкой молодой силой приказал созвать сход, пригласил парней и девушек и нас, учителей. Настороженно стояли хмурые мужики, перешептывались встревоженные матери, с любопытством ожидала молодежь.

«Я инструктор «Красного молодежи», — гремел он на сходе, — во всей Европе мы организуем «Союз Красного молодежи».

В своей речи, горячей, сбивчивой, он призывал поскорее отказаться от деревенских старых порядков и обычаев и записаться в союз молодежи. С гневом, великим негодованием обрушился на нас, учителей, «что вставляли палки в колеса пролетариата», не боролись с «капиталистическим гнетом» родителей, не рассказывали о «свободном влюбленье». Шквалом налетел на меня: «Была благородной бонной, — в пылу объявил он, — будешь бонна рабоче-крестьянская», пригрозил проследить за исполнением «своего декрета». С грустью переглядывались учителя, проработавшие в селе не один десяток лет.

Недоверчиво слушали мужики, шумели, как встревоженный улей, подростки, увлеченные горячностью оратора.

Но наряду с шумливыми криками приезжего агитатора, с суровым обличительным тоном его голоса,

в речах сквозила какая-то детская искренность, страстное желание юности перестроить жизнь, дремавшую веками среди непробудных лесов. Молодая сила синеокого юноши искала выхода своей энергии. Он подкупал своей непосредственностью.

Так в селе Воскресенском, хоть и не особенно удачно, было положено основание союза молодежи.

Вот тогда, приехав в Челябинск, я поведала этот смешной и в то же время суровый эпизод из нашей деревенской жизни Л. Н. Сейфуллиной и В. П. Правдухину. Пытливо и внимательно выслушала Лидия Николаевна мой рассказ. Глаза ее то вспыхивали изумлением, то в уголках губ дрожал веселый смех.

Этот подлинный случай послужил темой для небольшого рассказа Л. Н. Сейфуллиной «Инструктор «Красного молодежа», напечатанного в 1924 году. Тепло и правдиво обрисовала писательница характер неудачливого агитатора. И хочется вспомнить слова Лидии Николаевны о ее любви к молодежи: «Юность всегда радостно ждет восхода грядущего дня, с ненавистью отменяя неблагополучие прошедшего...»

Вера Александровна припомнила адрес Шиховой, у которой в двадцатых годах жила Сейфуллина. И вот мы на квартире у Анфии Васильевны Шиховой.

— Лидия Николаевна с мужем Правдухиным жила у нас с лета 1919 года, — рассказывает Анфия Васильевна, — была нетребовательна, ходила в морозы в легоньком пальтишке. «Что не купите шубы?» — говорю. «Денег нет, да и зачем шуба, есть пальто», — отвечает. Одевалась простенько, платья носила дешевые.

Анфия Васильевна говорит не спеша, припоминает.

— Долго не могла найти работу, а все занималась бесплатными делами... Внешне казалась рассеянной, а внутренне всегда сосредоточена на чем-то своем. Запомнила ее простой, доброй, отзывчивой, необыкновенно гостеприимной. Бывало, самим-то им кушать нечего, а кто придет, поставит все на стол, угощает... А люди у них часто бывали. Библиотекарша из Воскресенки приезжала, Верочка, молоденькая такая,

рассказывала им про одну историю на сходке. Лидию Николаевну эта история взволновала. Все говорила, вот еще какие люди бывают...

В те же годы с Лидией Николаевной встречалась Антонина Андреевна Виноградова. Бывшая учительница, ныне пенсионерка, Антонина Андреевна рассказывает, что в конце 1919 года ее направили в Челябинск на четырехмесячные курсы. На этих курсах преподавала Л. Сейфуллина.

— Занятия по выразительному чтению проходили в Губотнаробразе. Была уже весна. Лидия Николаевна, одетая просто, даже бедно, прибежит, бывало, на курсы с промокшими ногами, снимет худые ботинки, поставит сушить их у печки, а сама останется в чулках и так ведет занятия.

Говорила она не быстро, даже медленно, и скандировала слова. Стихи читала низковатым грудным голосом. Помню «Синюю птицу» Метерлинка. Она читала, а все мы повторяли:

Мы длинной вереницей,
Идем за синей птицей...

Нам показали спектакль «Дни нашей жизни» Леонида Андреева. Лидия Николаевна исполняла роль матери. Играла она хорошо, проникновенно, удивительно перевоплощалась.

Кроме занятий на курсах я встречалась с Сейфуллиной в отделе наробраза. Она чаще всего была с Михайловым — организатором и начальником Тургорской детской колонии. Он тоже выступал на курсах и рассказывал о трудновоспитуемых детях... С В. Правдухиным и Л. Сейфуллиной его сближали не только служебные отношения, но и личная дружба. В повести «Правонарушители» он выведен под фамилией Мартынова.

Интересные детали из жизни Лидии Николаевны рассказал Иван Гаврилович Горохов — человек удивительной памяти и великолепный знаток своего края.

— Двадцатый год. В городе — холера. По приглашению начальника первой детской колонии на озере Тургорьяк выезжаем туда проводить беседы с воспитан-

никами: Лидия Николаевна, учитель рисования Кульков и я. Всю дорогу Михайлов рассказывал нам о правонарушителях. Особенно внимательно его слушала Сейфуллина. Ехали мы поездом в теплушке, подолгу стояли на станциях. Насмотрелись на многое. Страшная дорога была. На наших глазах умирали люди. На одной из остановок Лидия Николаевна купила соленую рыбу и свежую ягоду, хотела покушать. Михайлов выхватил у нее покупку.

— Вы с ума сошли, — закричал он и выбросил ее покупку.

Сейфуллина заплакала.

В Миассе нас посадили на подводы, и мы поехали в Тургояк. Жили в колонии недели две-три, а может быть, и дольше. Лидия Николаевна все это время внимательно наблюдала за жизнью ребят, но ничего не записывала. Вместе с ребятами она обедала, ездила на лодке на остров и на противоположный берег собирать грибы и ягоды.

Вечера Лидия Николаевна тоже проводила с колонистами, рассказывала им забавные истории, похожие на сказки. Рассказывала очень занятно. Даже нам, взрослым, было приятно слушать ее небылицы. Я тогда дивился, какой мастерицей слова была она, но не догадывался, что Лидия Николаевна собирала материал для своей повести «Правонарушители».

Горохов дал адрес С. Михайлова. Немедленно было послано письмо. Вскоре пришел ответ. Его писала жена Михайлова. Сообщив о смерти Сергея Петровича, она назвала несколько воспитанников Тургоякской колонии и дала их адреса.

Жизнь бывших колонистов — это интереснейшая книга, еще не написанная и ждущая писателя. Я встретился с некоторыми из них. В частности, разыскал Евламию Михайловну Остапюк, работавшую в Тургоякской колонии преподавателем. Она знала Л. Сейфуллину по учебе в гимназии. Потом они встретились на краткосрочных курсах земских библиотекарей в Москве в мае — июне 1917 года, организованных при университете Шанявского. У Евламии Михайловны сохранилась групповая фотография, с Л. Сейфулли-

ной они стоят в одном ряду. Смотри на нее, Остапюк вспоминает:

— После лекций заслушивались доклады с мест. Выступила Сейфуллина. Она рассказывала, как приехала в глухое уральское село и начала работать. Говорила ярко и убедительно. Особенно страстно и горячо говорила она о детях, о том, какое внимание уделяла им, как готовилась к первой встрече с ними в библиотеке. Лидия Николаевна выучила наизусть несколько песенок и рассказов. Чувствовалось, Сейфуллина вкладывала всю душу и сердце в эту работу, любила ее. Она все делала с большой любовью...

Вы спрашиваете, как отнеслись в колонии к «Правонарушителям»? Как только прочитали повесть, узнали многих, особенно Михайлова в Мартынове. Писательница очень тонко уловила и воспроизвела его жесты, манеру говорить, даже любимые, часто употребляемые словечки. Сергей Петрович был в жизни таким, каким показан в повести Мартынов. Герои — подростки, выведенные в повести, тоже написаны с натуры. Мне рассказывали, что в образе Гришки Лидия Николаевна соединила черты двух живых мальчиков. С одним из них я случайно встретилась в пригородном поезде...

Евламия Михайловна назвала его имя и фамилию. Адрес этого воспитанника указала и жена Михайлова. Это Василий Федорович Игнатов — электромонтажник челябинского энергопоезда № 14.

И вот мы сидим за столом в небольшой комнатке Игнатова. Просматриваем любительские фотографии Тургорякской колонии, уже пожелтевшие и выцветшие. Они помогают Василию Федоровичу воскресить в подробностях далекие дни его жизни колониста.

— Помню, хорошо помню, Сейфуллина приезжала к нам в колонию на отдых. Жила она долго, все лето, сначала одна, затем с мужем Правдухиным. Мы, колонисты, приняли ее настороженно. Маленькая такая, совсем девчоночка.

Михайлов собрал нас и говорит:

«Знакомьтесь, ребята», — но не сказал, что она знаменитая рассказчица.

Рассказывала она нам «Синюю птицу». Как рассказывала! Сразу полюбилась нам. Потом не давали ей проходу: расскажи да расскажи что-нибудь. Позднее смастерили сцену, мостки такие, и стали эту самую «Синюю птицу» играть. Мы, ребята, играли, а Лидия Николаевна вроде режиссера была.

«Правонарушителей» я прочитал году в двадцать пятом. Прочитал и говорю, это про нашу колонию описано, все как было. Под Гришкой надо подразумевать Зайнуллина Григория. Он такой был в самом деле. Особенно Михайлов здорово похож, хотя и назван Мартыновым. Тут все без ошибки. Сергей Петрович был душа-человек. Он все внушал нам: «Ребята, любите труд, людьми будете». Колонистов из нашего набора я знаю. Людьми стали. Они все должны помнить Лидию Николаевну. Да вот хотя бы взять Зою Семенову. Теперь она в Москве...

В. Игнатов засуетился, а потом принес книгу. Это оказались повести, рассказы, статьи Л. Сейфуллиной, изданные в 1957 году. На титульном листе было написано: «В. Игнатову от З. Семеновой в память о Тургояке и колонии 1921—1925 годов».

Василий Федорович вздохнул:

— На все времена память о тех годах. Спасибо Лидии Николаевне, правду о нас рассказала, потому и любим ее книгу...

Душевные, полные глубокой благодарности слова! И принадлежат они одному из прототипов образа Гришки Пескова. И в том, что он теперь стал полноценным советским человеком, есть заслуга и автора «Правонарушителей».

Я написал письмо З. Семеновой и вскоре получил ответ. Зоя Васильевна Семенова работала последнее время библиотекарем. С большой теплотой вспоминала она о встрече колонистов с Сейфуллиной.

«Лидия Николаевна, — сообщалось в письме, — принимала участие во всех наших экскурсиях, походах за грибами, работе на огородах, многочисленных дежурствах по колонии и в вечерних играх на площадке около нашего Дома культуры. Так мы называли свой клуб... Особенно мы любили слушать ее

рассказы и смотреть, как она передает их. Лидия Николаевна не просто рассказывала, она играла их.

В одном из своих походов мы коллективно сочинили нашу песню:

Мы — братья солнца, мы храбры, смелы,
Наш бог — природа, закон наш — труд.
Семьей единой живем мы дружно,
Запомни это и не забудь!
Бодрей в дорогу! Не отставай!
Дружнее в ногу, шагай, шагай!

Нам (а мы уже все люди пожилые) очень дорога эта нехитрая песенка. Ее сложили еще в то первое лето, когда ходили в поход с Сейфуллиной и Правдухиным... Песенка эта пелась нами до конца жизни в колонии, и помнить ее мы будем до конца своей жизни».

Далее в письме Зои Васильевны говорилось:

«Я не знаю, какое впечатление осталось от того времени у наших руководителей, ведь это время было тяжелое, голодное, и отношение окружающих крестьян было довольно-таки недоброжелательное к «гольтепе». Им было трудно представить, что хорошие, порядочные люди могут жить с какими-то вшивыми беспризорниками, вдобавок еще воришками. Не сразу и не скоро завоевали колонисты авторитет среди окрестных деревень, и очень многим нам помогла в этом своей книгой «Правонарушители» Лидия Николаевна. Я помню, как ее впервые читали у нас в Доме культуры на собрании и как живые встали перед нами образы наших товарищей и педагогов».

II

Л. Н. Сейфуллина любила говорить, что вся ее жизнь — скитание. И действительно, ранний период ее жизни — это вольные и невольные поездки по Уралу и Сибири. Она побывала в Кустанае, Оренбурге, Челябинске, Троицке, Елецке, Семипалатинске, Омске, Новосибирске. Будучи уже москвичкой, Л. Сейфуллина не забывала Урал, часто выезжала в

оренбургские степи, совершила поездку на лодке вниз по Уралу с братьями Правдухиными. К Уралу писательница приросла крепкими корнями, с Уралом связано начало ее литературной деятельности.

В статье «Литература и жизнь» Л. Сейфуллина писала: «Меня сделала писателем сама жизнь. В 20-м году в Челябинске некоторая часть интеллигенции саботировала, как тогда говорили. И та интеллигенция, которая работала с Советской властью, делала все, что надо было; если это были учителя, мы шли в школу и учили; если саботажили дошкольные работники, в детском учреждении не хватало воспитателей, мы заменяли воспитателей; если в организованном впервые доме отдыха горняков не хватало заведующих или принимающих, мы шли туда. Мы были ликвидаторами неграмотности, и мы первые читали курсы литературы или просто давали уроки русского языка бойцам Красной Армии.

И совершенно так же я сделалась писательницей. Мы все сотрудничали в наших газетах, и каждый писал о том, о чем он мог писать. Я сотрудничала в «Страничке женщины и работницы», и так как я внешкольник, то еще — по вопросам внешкольного образования. Мои статьи назывались очень громко. Одна из них называлась: «Не будем могильщиками культуры», а речь в ней шла о том, чтобы не вырывали листы из книг на курево».

Указание Л. Сейфуллиной на свое участие в газете очень важно. Это позволяет лучше понять рождение Л. Сейфуллиной-писательницы. Начало ее литературного пути ведет к челябинской газете «Советская правда».

Обнаруженные публикации Л. Сейфуллиной — статьи о библиотечной работе, детском театре, очерки о женщинах-работницах и комсомольцах — позволяют судить об общественных интересах писательницы.

Свои очерки и статьи в газете Лидия Николаевна чаще всего подписывала псевдонимом «Библиотекарь» или инициалами «Л. С.», «Л. Н.», «Л.». Читая сейчас эти первые печатные выступления Л. Сейфул-

линой, видишь, как настойчиво искала она пути в литературу.

Самая первая ее вещь «Невеселая масленица» (картины из жизни деревни) была опубликована еще в 1917 году в «Оренбургском земском деле». Пробовала она свое перо в эти годы, пытаясь написать и повесть из актерской жизни — «Актрискина смерть», даже посылала ее в «Вестник Европы». Но повесть не была напечатана.

«Писала я трудно, — говорит Лидия Николаевна в «Автобиографии», — лишившись аппетита и сна. Когда первая повесть моя была принята, мне показалось, что я наверно бы умерла, если бы она была непригодной. И от счастья, что «Четыре главы» напечатаны, второй рассказ для следующего номера «Сибирских огней» я написала с веселой душой, сразу, как никогда уже больше написать не могла и не смогу. Он написан невольно, как поется, когда хочется петь. Это рассказ «Правонарушители». В моем небогатом вкладе в советскую беллетристику я считаю его самым ценным. А написан он был по социальному заказу, с выбором наиболее актуального по тому времени для нас вопроса.

Рассказ этот был хорошо принят и критикой и читателями, вскорости переведен и на чужие языки. Он пожизненно закрепил меня в писательство».

Из очерков, опубликованных в «Советской правде», в которых угадывается индивидуальность художника, сейфуллинская манера письма, следует назвать «Юный коммунист». И хотя очерк написан на основе подлинных событий, происшедших в селе Кузино, Верхне-Уральского района, Лидия Николаевна не называет фамилии своего героя, пытаясь художественно обобщить черты юного коммуниста.

В родное село со съезда коммунистической молодежи возвращается юноша. На пути его встречают бандиты, юноша умирает смертью героя.

Рисуя яркую, сильную, стойкую личность комсомольца, Л. Сейфуллина как бы утверждает: иным и не мог быть шестнадцатилетний юный коммунист, выдвинувшийся из народной массы.

Пробуждение высокого социального сознания в людях, понимание ими своего места в жизни, изменившаяся судьба рядовых представителей победившего народа находится в центре внимания писательницы с первых шагов ее литературной деятельности.

Совсем по-иному построен очерк «Женщины», где выступают два характера, два типа: старая Анисья — представитель глухой, патриархальной деревни, и ее сноха Марья — человек с передовой психологией рабочего, которому чужды предрассудки старого. Весь очерк построен на внутреннем противопоставлении этих характеров. Здесь нет активного действия, но рассказ Марьи о тяжелой бабьей доле до революции, о теперешнем равноправии женщины, о ее свободе так убедителен, что старая Анисья принуждена с ней согласиться.

Безусловный интерес вызывают те статьи, в которых Лидия Николаевна касается вопросов искусства: значение художественного чтения, пути развития театрального искусства, методы приобщения к нему широких масс, создание детского театра. В статье «Забывтое искусство» Л. Сейфуллина горячо высказывается за широкое распространение художественного чтения. Она сетует, что «великое искусство рассказывания, устная передача того, что узноано из книг, во что глубоко верилось, забыто нами, грамотными людьми». «Простой рассказчик не посредник, он — живое слово, без отвлекающих мелочей обстановки, — утверждает Л. Сейфуллина. — Да и нет театра для современного человека, театр живет еще старым. Искусство рассказывания доступнее, чем игра. Надо приобрести только некоторые навыки в подготовке, надо проникнуться тем, что рассказываешь, надо верить в то, что говоришь, и только.

...Рассказывание на социальные и политические темы будет интересной пропагандой социализма».

Чтобы выполнить поставленную задачу, Л. Сейфуллина предлагает создать комиссию рассказчиков и просит всех желающих записываться в библиотечной секции Губотнаробраза, которой она заведовала. Вся работа ложится на плечи Лидии Николаевны. Ее

идею сразу же подхватывают. В городе организуются «вечера писателей». О подготовке одного из них, посвященного памяти И. С. Тургенева, «Советская правда» писала: «Внешкольный подотдел наробраза должен разработать подробную программу. К участию должны быть привлечены лучшие лекторские и артистические силы». Автор заметки, в частности, напоминал, что надо использовать на этом вечере «великолепную рассказчицу, т. Сейфуллину».

Л. Сейфуллина не только пропагандировала художественное чтение, как первую ступень приобщения широких масс к искусству, но и заботилась о том, как сделать так, чтобы великие ценности духовной культуры, накопленные человечеством, быстрее стали достоянием всего народа.

Бесспорна заслуга Л. Сейфуллиной, стремившейся как можно быстрее поставить искусство на службу социализма (см. ее статьи «О новых путях», «Как приохотить к искусству»).

Лидия Николаевна сначала пишет о необходимости создания детского театра в Челябинске и драматургии для детей, отвечающей требованиям современной школы, а затем активно принимается за организацию детского театра. По инициативе внешкольного подотдела Губотнаробраза проводится «Неделя ребенка», объявляется конкурс на лучшую детскую пьесу. За короткий срок на этот конкурс поступает полтора десятка пьес. Их рассматривает комиссия, и Л. Сейфуллиной за пьесу «Егоркина жизнь» присуждается первая премия.

Под непосредственным руководством автора пьеса «Егоркина жизнь» ставится в Народном доме. Лидия Николаевна исполняла роль матери Егорки — Антипьевны. Так в городе возникает показательный детский театр — один из первых в нашей стране.

Пьеса «Егоркина жизнь» ярким изображением быта, жизненностью положений, сочностью языка резко выделяется среди пьес, премированных на конкурсе. По мнению комиссии, пьеса должна была войти «в юношескую драматургию». Рукопись этой

пьесы сохранилась, но она принадлежит частному лицу и остается до сих пор неопубликованной.

Мне удалось с ней познакомиться. Написана она чернилами, характерным крупно-размашистым почерком, на тетрадке альбомного формата, с предисловием и эпиграфом: «Революция прежде всего освобождает детей».

Эта пьеса должна занять свое место в ряду драматургических произведений Л. Сейфуллиной. Сюжет ее прост. Мать Егорки нанимается прислугой в семью доктора. Часть домашней работы выполняет Егорка. Не выдержав гнета и унижений со стороны хозяев, мальчик — сильный и даровитый от природы — бежит в киргизский аул, заражается там оспой. Привезенный к матери, он умирает на ее руках.

Автор пьесы показывает столкновение двух социальных миров: крестьянский мальчик Егорка, воспитанный в труде, противопоставлен изнеженным детям доктора, всей мещанской среде. Контрастная обрисовка героев придает особую яркость всем событиям, происходящим в пьесе.

Мать обучает Егорку, как надо угождать господам. Показывая ему ботинки докторского сына, она поучает:

« — Вот, Егорка, у барчука обувка-то какая. Погляди-ка, лапотник, как обуваются... Возьми ты тряпочку, оботри, потом вот так ваксой помажешь, а этой щеткой три — вот так! На-кось, постарайся, да хорошенько. Да смотри, сынок, посмирней будь! Наше дело сиротское, Егорушка!»

С приходом Егорки в докторскую семью в этот мещанский угол врывается правда — грубая, но здоровая. От нее веет настоящей жизнью. Даже изнеженных, ни к чему не приспособленных докторских детей Егорка увлекает своей находчивостью, знанием жизни, умением все сделать. Докторша, увидев это, ужасается: Егорка может испортить ее благовоспитанных отпрысков. Так создается напряжение, завязывается жизненный конфликт. Начинаются попреки, оскорбления Егорки, его уход, затем — смерть. Но

разлад в мещанском гнезде продолжается — старший сын доктора под впечатлением смерти Егорки проклиняет «господскую семью».

Пьеса «Егоркина жизнь» была хорошо принята юным зрителем и критикой. За короткий срок ее поставили почти все городские школы силами учащихся и учителей.

Л. Сейфуллина — актриса, драматург и театральный деятель — это особая тема. Касаясь челябинского периода в ее жизни, хочется привести лишь неизвестные архивные документы, затрагивающие эту сторону ее деятельности, повторить оценки ее актерской работы, высказанные в местной печати.

Вот удостоверение от 5 августа 1919 года, выданное Советом профессиональных союзов «товарищу Лидии Николаевне Нелидовой в том, что она состоит на службе при культурно-просветительном отделе Совета профессиональных союзов в качестве артистки при театре на острове реки Миасс».

Нелидова — театральный псевдоним Л. Сейфуллиной. Свою деятельность в Челябинске Лидия Николаевна начала в театре в качестве профессиональной актрисы и продолжала ее до конца 1920 года. Об этом мы узнаем из сохранившейся в делах архива «требовательной ведомости № 233 на выдачу жалования показательной драматической труппе губотнаробраза за I и II половины декабря 1920 года».

Из отчета о деятельности уездного подотела искусств, списков поставленных спектаклей и участвовавших в них актеров и актрис видно, что Л. Сейфуллина была занята в пьесах Горького «Враги» и Найденова «Дети Ванюшина».

Рецензент И. Рубановский в «Советской правде» в 1921 году так оценивал игру Л. Сейфуллиной в спектаклях, поставленных на сцене Народного дома. О постановке «Дети Ванюшина», состоявшейся в марте, он писал: «На своих местах были Аня (Сейфуллина) и Катя (Державина)», о пьесе «Жан и Мадлена» О. Мирбо говорил: «очень хороши Каттьяр — Сейфуллина и Урто — Назаров».

Свою деятельность в театре Лидия Николаевна совмещала с работой в городской библиотеке, куда она поступила в августе 1919 года. Вот удостоверение, выданное Центральным бюро профессиональных союзов Челябинского района. В нем говорится: «Представительница сего есть заведующая библиотекой товарищ Сейфуллина, которой поручается подобрать для библиотеки Совета профессиональных союзов книги в культурно-просветительном отделе 5-й Армии».

Через год постановлением Губотнаробраза от 2 июля 1920 года она зачисляется уже на должность заведующей библиотечной секцией. Л. Сейфуллина устраивала массовые литературные вечера, посвященные отдельным русским писателям-классикам, проводила громкие читки журнальных и газетных статей, организовывала встречи с читателями и окончательно завоевала авторитет как способный и энергичный культурно-просветительный работник.

В конце сентября 1920 года Губотнаробраз вынес постановление о командировании Лидии Николаевны в «Московскую Академию Народного образования для годичной подготовки к профессорской деятельности в педагогических учебных заведениях». Это постановление обязывало «командируемых лиц... прослужить по окончании командировки не менее года».

Посылка на учебу Л. Сейфуллиной, как и других двух представительниц от Челябинска — Каверзневой и Сурьяниновой, задержалась, но сам факт, что Губотнаробраз в те годы счел возможным командировать ее в Московскую Академию Народного образования, очень интересен. Он еще раз подчеркивает не только общественную активность Лидии Николаевны, но и ее несомненные педагогические наклонности. Необычайная энергия Л. Н. Сейфуллиной, ее способности организатора-воспитателя проявились и в работе Тургорякской детской колонии — одной из первых на Урале — и в организации детского театра в Челябинске.

Первые литературные шаги писательницы связаны с Уралом.

Когда впервые Л. Сейфуллина выступила в челябинской прессе? На этот вопрос отвечают документы, обнаруженные в архиве.

Первое выступление Л. Сейфуллиной в местной печати следует датировать концом июня 1919 года. В небольшом журнале «Дума деревни», издававшемся уездным земством и Союзом кредитных товариществ, который еще не учтен в списке челябинской периодики (вышло всего четыре номера), опубликована статья «Грядущая опасность» — о вреде пьянства. Под статьей подпись: «Л. С.». По языку и манере письма нет никакого сомнения, что статья принадлежит Л. Сейфуллиной. Полемичность статьи, насыщенность ее конкретными фактами, разговор об усилении культурно-просветительной работы среди сельского населения — все это характерно для ранней публицистики Л. Сейфуллиной.

Уже говорилось о том, что материалом для рассказа «Правонарушители» явились наблюдения писательницы над жизнью Тургорякской колонии, приводились свидетельства колонистов. Сошлемся еще на документы, хранящиеся в Челябинском государственном архиве.

В объемистых папках Челябинского Губотнаробраза нам удалось разыскать целое дело: «Колония детского дома правонарушителей» с докладными записками инструкторов внешкольного подотдела, которым, как известно, в это время заведовала Л. Сейфуллина. Знакомясь с этими документами, легко установить многие факты из жизни Тургорякской колонии, которые послужили первоосновой для повести «Правонарушители».

Следует исправить хронологические неточности в биографии писательницы, которые идут главным образом от самой Л. Сейфуллиной. В своих статьях она, например, пишет, что зимой 1920 года она, будучи инструктором по внешкольному образованию

Челябинского Губотнаробраза, делегировалась на Первый Всероссийский съезд по внешкольному образованию, где слушала выступление В. И. Ленина, и в этом же году уехала на работу в Новосибирск.

Здесь допущена неточность. Первый Всероссийский съезд по внешкольному образованию, на котором выступал В. И. Ленин, состоялся не зимой 1920, а в мае 1919 года. Очевидно, Л. Сейфуллина была участницей Третьего Всероссийского совещания заведующих внешкольными подотделами Губотнаробразов, на котором также выступал В. И. Ленин. Это совещание действительно состоялось в феврале 1920 года.

Так же неверно, что сразу же после возвращения в Челябинск с этого совещания Лидия Николаевна уехала в Новосибирск. Ее отъезд мог состояться только в конце апреля 1921 года. По архивным данным, в апреле 1921 года она еще продолжала работу в Челябинском Губотнаробразе. Кроме того, 5 апреля в «Советской правде» была опубликована ее статья «О новых путях».

Поправки эти уточняют даты жизни Л. Сейфуллиной, связанные с ее первыми шагами в литературе.

Уроженка села Варламово, Чебаркульского района, писательница, будучи уже взрослой, работала учительницей и библиотекарем в разных селах Южного Урала. Тут ее застала пролетарская революция. Не случайно поэтому с Уралом связано начало литературной деятельности Лидии Николаевны, ее первые выступления в печати. Уральская действительность была материалом ее творчества, вошла в ее лучшие произведения. «Мужицкий сказ о Ленине» записан Лидией Николаевной в поселке Карагае (ныне село Карагайское), Верхне-Уральского района.

Вполне естественно то пристальное внимание, с каким в последующие годы писательница следила за жизнью и людьми Урала, за его молодыми творческими силами. Она была в Свердловске, Челябинске, Магнитогорске и других городах, встречалась с

журналистами и писателями, с библиотечными работниками и актерами.

В 1933 году Л. Сейфуллина посетила Свердловск и беседовала в редакции «Уральского рабочего» с журналистами и начинающими авторами. Она говорила о стиле и языке их произведений и основательно «проработала» их за плохое знание русского языка, за то, что они еще слабо изучают родной язык.

Журналист В. Вохминцев вспоминает:

— Попало ей словечко «ложь» (в смысле кладь). «Да разве так говорят? Есть глаголы «класть», «положить», но не «ложить», — искренне возмущалась она. — Слова надо умеючи отбирать, язык, которым говорит герой, — слышать, чувствовать... Лидия Николаевна советовала нам выбирать слова самые выразительные, емкие, широко бытующие в народе, ратовала за дружбу в среде начинающих писателей, за их взаимопомощь в творческой работе.

Л. Сейфуллина переписывалась с уральцами, если не было возможности встречаться с ними. В письмах ее всегда чувствовалась забота о людях.

Молодому коллективу магнитогорского комсомольского ТРАМа она писала:

«Дорогие товарищи! Шлю вам горячий товарищеский привет. Искренне желаю вам успехов в прекрасном вашем творческом начинании. Очень сожалею, что не смогу побеседовать лично с вашим коллективом.

Крепко жму ваши руки. Если кому-нибудь из вас захочется написать мне, я всегда с радостью отвечу», — и указывала свой адрес.

Лидия Николаевна поддерживала связь с Челябинской публичной библиотекой, где работала в молодые годы, и называла ее родной. В одном из писем она советовала библиотечным работникам:

«Что касается чтения писателей-современников, то их надо читать активно, устанавливая твердую связь с ними. Писателю дорого внимание к его работе, а критика читателя нужна ему, как воздух.

Сближайте нас, писателей и читателей, посылайте

нам отзывы о наших книгах, требуйте от нас ответов на эти отзывы...»

Заботой и вниманием проникнуто письмо магнитогорским литераторам в связи с двухлетием журнала «За Магнитострой литературы»:

«Дорогие товарищи! Горячо приветствую вас. Поздравляю с двухлетием существования вашего журнала «За Магнитострой литературы». Два года на стройке — срок значительный, хорошая, утверждающая пользу начинания дата. Желаю всем сотрудникам журнала расти, крепнуть, верно проложить «огневой наш путь», как определяет его ваш поэт В. Макаров. А себе самой желаю не отставать от вас на этом пути, не только числиться, а быть вашим современником. «Как бы лето ни было горячим, осенью нахлынут холода» (М. Люгарин). Хорошо, что нашу возрастную осень прогревает бодрость вашей весны.

Верным товарищеским пожатием жму ваши руки».

В этом искреннем приветствии — вся Лидия Николаевна Сейфуллина — большой писатель и Человек с большой буквы.

В л. Л и д и н

Л. Н. СЕЙФУЛЛИНА

У Лидии Николаевны Сейфуллиной был темперамент трибуна. Страстности ее оценок сопутствовала необычайная правдивость души. В двадцатых годах появилась в Москве маленькая, с чернейшей челочкой волос на лбу, татарского облика женщина, сразу расположившая к себе не одного из нас. Она приехала в Москву провинциалкой, провинциальная учительница и библиотекарша, за плечами которой была первая повесть, напечатанная в Сибири, — повесть яркая и образная, привлекавшая внимание к молодому таланту.

Сейфуллина как-то сразу вошла в круг московских литераторов. Ее полюбили столь различные писатели, как Андрей Соболев или Александр Малышкин, ее полюбили и многие из ныне здравствующих литераторов. В Сейфуллиной привлекали особенности ее прямой, без малейших скидок на приятельство, натуры. Она выступала всегда прямо, страстно, нелицеприятно, и самый характер ее речи был особенный: слова ложились образно, круто, и даже тогда, когда Сейфуллиной что-либо не нравилось, она умела выразить это в такой форме, что никто не обижался. К писательскому делу Сейфуллина относилась с той бережливостью и осторожностью, какие воспитывает в себе человек, искренне любящий литературу и сознающий, что для занятий литературой мало одних способностей. Нужны профессиональные

навыки, усидчивость, трудолюбие, и Сейфуллина с первых же своих шагов в литературе усомнилась, есть ли у нее эти качества. Усомнилась она потому, что ощущала литературу как всенародное дело, требующее от писателя не только огромных усилий, но и одержимости. Сейфуллина была склонна считать свои первые литературные успехи лишь удачей, требующей в дальнейшем напряжения всех сил.

Она любила круг друзей-литераторов, любила созывать их у себя в своей маленькой квартирке, но приглашения ее были всегда осторожны, словно она боялась разочаровать собравшихся. С годами эта внутренняя стеснительность не изменилась в Сейфуллиной: о себе как литераторе, мне кажется, она была скромного мнения. Это было даже в ту пору, когда в театре Вахтангова была поставлена первая современная пьеса «Виринея», с которой, собственно, в такой же степени начинается история Вахтанговского театра, как и с постановки «Принцессы Турандот».

Вспомним, что «Виринея» определила собой огромную тему советской литературы — о передовой русской женщине, поднявшейся из самых низов и своей волей и способностями как бы перечеркнувшей историю женской доли в прошлом; в этом смысле была некоторая перекличка между драматическим образом Виринеи и, скажем, Катерины из «Грозы» Островского. Успех «Виринеи» был огромный, но он ничего не изменил для Сейфуллиной в отношении ее критической оценки своих вещей; напротив, успех этот обязывал еще к большему, и Сейфуллина стала только строже и взыскательнее к себе. Это было не потому, что она боялась снизить завоеванный успех, а потому, что писательское дело предстало теперь перед ней со всей своей требовательностью и пристрастностью: человек большой души, Сейфуллина была не способна ни на какую сделку со своей совестью. Завоеванный однажды успех дает зачастую инерцию успеха последующим средним вещам, а этой инерции Сейфуллина больше всего боялась.

Но к творческим успехам других писателей Сейфуллина относилась с повышенным вниманием. Она

любила искать и находить таланты. На тех собраниях, где обсуждались произведения еще не вошедших в литературу писателей, можно было не раз услышать Сейфуллину. Своим четким, хорошо поставленным голосом (когда-то она была даже актрисой на амплуа «травести», играя роли мальчишек) Сейфуллина давала оценки, всегда смелые и определенные. Так же смело и определенно выступала она в тех случаях, когда ее что-нибудь задевало или казалось ей нарушением принципиального отношения к жизни.

Она была принципиальна до строгости, и люди, пошедшие на сделку с совестью, боялись Сейфуллиной. Ее слово могло стать острым и беспощадным, и тогда оставалось только дивиться, какой могучий дух заключен в этой слабой и долгие годы болевшей женщине.

В плеяде наших писателей Сейфуллина всегда была, если можно так выразиться, правофланговым, то есть тем, кто первым подставляет плечо, чтобы отразить напор. Ее душевные качества, расположение к людям и забота о них были чрезвычайно велики. Она не жалела сил, когда нужно было кому-нибудь помочь или за кого-нибудь заступиться. Я вспоминаю, какую жесткую отповедь, словами крутыми и решительными, дала она одному литератору, который по малодушию и нравственной слабости заговорил о том, что человек вправе уйти из жизни, когда у него не остается сил жить.

— Послушайте, — сказала Сейфуллина, скандируя каждое слово, — да вы кто и в какое время живете? Декадент вы, что ли, или советский писатель? Тут дел непчатых тьма, двух жизней не хватит, а он такое рассусоливает... стыдно слушать!

Впоследствии, перечитывая первую книгу Сейфуллиной, я нашел строки, определившие ее отношение к жизни: «У жизни нет пощады мечтам. Но справедлива жестокость ее. Если здорова душа — привыкнешь крепко на земле стоять».

Она воспитывала в себе способность крепко стоять на земле. Волевое начало было в такой степени

свойственно Сейфуллиной, что в 1942 году, не приспособленная к трудностям походной жизни, она по своей инициативе поехала на фронт, на передовые позиции, и, вероятно, не остановилась бы ни перед каким выражением силы своего духа. В доме отдыха на Оке она по своей же инициативе вынудила летчика взять ее в полет на открытом самолете, и он проделал не одну мертвую петлю, которая закружила бы любого, но Сейфуллина вышла из самолета гордая и счастливая, что выдержала испытание.

Писательский труд — это труд непрерывный, на протяжении всей жизни. Сейфуллиной не удалось в полной мере выразить себя в своих книгах: она написала их мало. И следует сказать, что она всегда страдала оттого, что мало написала и не сделала всего, что могла бы по своим способностям сделать. Скромность ее на этот счет была удивительная. Как-то она попросила у меня мою новую книгу, добавив тут же, что стала писать рецензии. У меня не оказалось сразу экземпляра под рукой, и я получил вскоре взволнованное и трогательное письмо от Сейфуллиной: она хорошо знала, что писателю всегда нелегко послать книгу с внутренним расчетом, что о книге напишут, и была напугана, что я мог именно так понять ее шутливую фразу о «переключении на критику».

«Честное слово, я шутила!.. Ради бога, не сердитесь и пришлите обещанную Вашу книгу с подаателем записки. Я второй день то и дело поглядываю на калитку, жду Вашего посланца, а его — все нет и нет!»

Я отнес ей книгу сам на дачу. Сейфуллина сидела одиноко на большом балконе своей как-то неустроенной и не очень уютной дачи, чем-то напоминавшей и ее личную неустроенную жизнь. Может быть, приходят годы, когда человек начинает стареть и удручается этой печальной неизбежностью. Для того чтобы преодолеть это чувство, нужна полнота творческой работы, которая отвергает традиционные явления старости. Сейфуллиной было уже трудно работать.

— Ну, вот как хорошо, что вы пришли... а я уже совсем огорчилась было, что написала вам письмо и вы его как-нибудь не так поймете. — Перед ней на столе лежал переплетенный том какого-то иллюстрированного журнала начала века. — Знаете, мне захотелось посмотреть, как писали когда-то так называемые средние писатели. Боже мой, какое отсутствие идеи, зачастую неизвестно для чего написано. Нет, у нашего даже самого маленького советского писателя чувствуешь мысль, биение сердца, — добавила она с гордостью за нашу литературу. — Вот присылают иногда рукописи начинающие... коряво, неопытно, но есть что сказать человеку!

Она как бы наполнила собой пустоту большой своей необжитой дачи, и я подумал о том, как эта маленькая женщина со своей глубокой душой не раз заполняла собой огромную залу со слушателями и — еле видная над кафедрой — заставляла прислушиваться к каждому своему слову, произнесенному так, как могла произнести Сейфуллина, и потому, что ей необходимо было сказать это слово. Она никогда не искала лично для себя ничего, довольствуясь малым, была скромна скромностью настоящего писателя. Даже за праздничным столом в день ее шестидесятилетия она затерялась где-то в стороне, и непосвященный вряд ли смог бы разобраться, для чего собрались здесь люди.

Начала советской литературы нельзя представить себе без Сейфуллиной. Пусть она мало написала, пусть последние годы слабо звучал ее голос и новый читатель уже не знает имен многих из тех, кто начинал советскую литературу. Конечно, плохо, что он не знает этих имен, потому что без начал не бывает и следствий и имена эти и определили сегодняшнее звучание и расцвет нашей литературы. Сейфуллиной принадлежит в ней одно из первых мест: она и в «Виринее» и в «Правонарушителях» запечатлела целую эпоху, пусть давно ушедшую. Но ведь не один из современных деятелей, детство которого прошло в асфальтовом котле, в беспризорничестве, вспоминает Макаренко. Как же ему забыть при этом имя

Сейфуллиной? Как же забыть это имя и тем женщинам, которые вписали в книгу труда славные свои имена и прообразом которых была в свою пору Виринея?

На моей книжной полке стоит тоненький томик, первая книжка Сейфуллиной, выпущенная в Новосибирске. Беря эту книгу с надписью прямым стремительным почерком, я думаю о том, что вся жизнь Сейфуллиной была такой же определенной и отчетливой, как и ее почерк.

В местности, где стоит ее дача, в которой ныне уже живут другие, я спускаюсь иногда к маленькой быстрой речке и вспоминаю, как приходила сюда Сейфуллина, сердечно дружившая со своим соседом Александром Малышкиным, таким же принципиальным и так же любившим литературу.

— А ведь по этой речке когда-то плавали суда,— сказал однажды задумчиво Малышкин, глядя на ставшую ручейком Сетунь,— но все равно, это никогда не выкинешь из ее истории.

Мне кажется, что он сказал это применительно к литературе: время идет, сменяются поколения, но вечно движение воды, и не обязательно быть широкой судоходной рекой, чтобы пленить воображение художника.

Томик Сейфуллиной не исчезнет с книжной полки читателя нашего, а украсит собой собрание книг советских писателей, и не один читатель, перечитав книгу Сейфуллиной, подумает о том, что без истоков не бывает и самых широких рек.



В л . Б а х м е т њ е в

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ

Смерть прервала жизненный путь Л. Н. Сейфуллиной, одного из популярнейших тружеников советской литературы, незадолго до Второго Всесоюзного съезда писателей. На Первом съезде Лидия Николаевна участвовала в расцвете своих творческих сил. За минувшие после этого съезда двадцать лет недуг подточил здоровье автора «Правонарушителей», но примечательные душевные качества его остались нетронутыми, и мы, без сомнения, слышали бы с трибуны Второго съезда знакомый, родной голос, вновь и вновь призывающий товарищей к неустанной заботе каждого о всех и всех о каждом.

В речи на Первом съезде, отмеченной А. М. Горьким в заключительном слове, как заслуживающей особого внимания, Лидия Николаевна, выдвинув идею о необходимости создания достойной творческой обстановки для всего коллектива Союза советских писателей, подчеркивала, что прежде всего «мы должны проявлять неустанный братский интерес друг к другу», что долг каждого опытного писателя — оказывать активную помощь молодым кадрам литературы. В частности, как на пример такой помощи она сослалась на «редакторов, которые вывезли из Сибири большую литературу», то есть не только собрали «золотые крупницы» дарований, а и содействовали выпуску собранных произведений в свет.

Я упомянул об этом выступлении на съезде Лидии Николаевны потому, что общественно-литературная деятельность ее особо примечательна именно настойчивым выполнением своего долга перед начинающими литераторами. Кажется, не было такого случая, когда бы Л. Н. Сейфуллина отказала в своем чутком и зорком внимании «пробам пера», с которыми обращались к ней за «отзывом и помощью» вступающие в литературу. При этом в отзывах своих она была строго правдивою, останавливаясь не только на «плюсах», но и на всех больших и малых недочетах разбираемой рукописи. И коль скоро убеждалась она, что автор не лишен «искры одаренности», не было таких преград, которые она не пыталась бы преодолеть на пути опубликования первых работ автора, а защищая своего «подшефного», писательница не останавливалась перед любым конфликтом с теми, кто проявлял не только пренебрежение, но и порою полное равнодушие вообще к начинающим. Такою, непримиримою к равнодушию своих коллег в отношении к молодежи, мы знаем Лидию Николаевну по выступлениям и в редакционных советах издательств, и в комиссии ССП по приему новых членов, и на собраниях при обсуждении отдельных произведений «рядовых» товарищей.

Оставаясь весьма сдержанной к тем или иным лестным откликам по поводу ее собственных произведений, более того, подозрительно настораживаясь вообще к «похвалам», Лидия Николаевна не выносила и среди окружающих соратников по перу «спесивости», всего того, что на том же Первом нашем съезде было охарактеризовано Горьким как приверженность к заботам лишь о «личном бытии», о том, чтоб «сохранить тусклую светлость, тусклое сиятельство своих маленьких плохо отшлифованных талантов». И здесь она, Лидия Николаевна, выказывала неприязнь, невзирая на лица. Однако ту же, что при осуждении «спесивых», горячность проявляла она и по отношению к удачам в творческом труде товарищей. когда свое взволнованное одобрение она выказывала при встрече с ними не только словом, а и

подчас с пылом, по ее выражению, татарской крови, заключая в объятия коллегу.

Более всего Лидия Николаевна ратовала за правдивость писателя в воспроизведении народной жизни, а отсюда и за необходимость крепкой связи с ним, народом. По собственному опыту знала она чудодейственную силу этой связи, и, как известно, своим успехом ее произведения обязаны в первую очередь этому.

Прежде чем стать писательницей, Лидия Николаевна с юных лет жила среди народа как учительница народной школы, библиотекарь, инструктор по народному просвещению. Одно время, создав в бывшей Оренбургской губернии театральный кружок с участием крестьянской молодежи, она посещала со своими любителями сценического искусства многие села и хутора.

Живая связь с народом обогатила как творческий мир Лидии Николаевны, так и самый духовный облик ее: правдивость, честность, бескорыстие, стремление бороться со всяким проявлением в писательской среде того, что понимается под культом личности, — вот те драгоценные качества, которые проявлялись ею в большом и малом на своем жизненном пути. Несомненно, ведущую роль здесь играли и ее идейные убеждения, сложившиеся к тридцатым годам нашей эпохи, она считала себя «беспартийным партийцем», и всякое ее выступление в той или иной аудитории читателей обычно сопровождалось признанием большой «ответственности беспартийных» литераторов перед партией Ленина, слово которого она впервые слышала в молодости на Третьем Всероссийском совещании по внешкольному образованию.

Литературное наследство Л. Н. Сейфуллиной не богато объемом, но...мал золотник, да дорог!

Именно так выразился А. М. Горький, когда зашел разговор у собравшихся в его московской квартире, на Малой Никитской улице, членов Оргкомитета по созыву Первого съезда писателей о литераторах и литературе вообще.

— Ну, как, татарочка, с работкою у вас? — обратился Алексей Максимович к Сейфуллиной в перерыве между деловым обсуждением вопросов, связанных с предстоящим съездом («татарочкою» величал шутливо-ласково Горький Лидию Николаевну, имея в виду ее татарское происхождение).

Не получив ответа писательницы и видя некоторое ее смущение, Алексей Максимович объяснил нам, вышедшим вместе с Сейфуллиной за порог зальца «на перекур»:

— Мало, мало пишет! Ну, да ничего... — добавил он вслед, касаясь рукою плеча Лидии Николаевны. — Мало, но... выразительно! Мал, как говорится, золотник, да дорог... Не так ли?

И мы живо склонили головы в знак солидарности с замечанием Алексея Максимовича.

Да, мал золотник, но дорог! И нет, товарищи, сомнения, что многомиллионный наш читатель сохранит в своей волшебной кладовке этот золотник... Смерть тут бессильна!..

Очень любила Лидия Николаевна проводить время со своей семьей на подмосковной даче, арендуемой у Литфонда. Она могла подолгу любоваться пейзажем, открывавшимся из окна ее комнатенки-веранды, и однажды, в последнее свое лето, выйдя с нами, своими гостями, на крылечко, говорила, указывая рукою вдаль:

— Смотрите, какая красота под этим нашим мирным небом...

И продолжала со вздохом, вспомнив, вероятно, о разговоре с нами по поводу не унимавшихся на Западе поджигателей войны:

— Ох, глядишь вот на эту зелень, на эту высь поднебесную и думаешь: когда же, наконец, человечество повсюду отдастся счастью выращивания потомства и навсегда, навсегда покончит с ужасами его истребления?!

Успокаивая, мы заверили ее, что это счастье уже недалеко, и надо было видеть, как ожила Лидия Николаевна.

— Зоя, Зоинька! — вскрикнула она, обращаясь к сестре. — Ты слышишь?!

Собираясь закурить, она отбросила папиросу, склонилась за прясла, сорвала цветок и жадно прильнула к нему, затягиваясь его ароматом.

Цветы были одним из излюбленных ею даров природы, а природу она вообще любила и частенько мечтала: пожить бы годок-другой в таежных просторах «матушки-Сибири».



Анна Каравеева

ДУШЕВНЫЙ ТАЛАНТ

В этих кратких строках я вспоминаю о Лидии Николаевне Сейфуллиной не только с чувством дружбы и уважения, но и с особой сердечной настроенностью: как она не раз об этом говорила, мы с ней «из одного гнезда, от одного костра». Этот литературный костер, наши дорогие «Сибирские огни», мы вспоминали с ней всегда. В становлении этого старейшего советского журнала Лидия Сейфуллина сыграла выдающуюся роль как один из основателей его и как писатель ярко современной темы.

Ее остро волновали небывалые в жизни деревенской России перемены, ломка старого, давно обветшалого уклада, который держался до тех пор, пока держались темные, бесчеловечные силы феодально-капиталистического строя. Однажды, рассказывая о своих настроениях во время работы над повестями «Перегной» и «Виринея», Сейфуллина сравнивала картины действительности тех незабываемых дней с бурной весной: «Тут и ветер буйный, и ледоход гремит, реки ломает, и отовсюду ручьи бегут, всякий тлен подмывают, и птицы так зазывно поют, что у человека голова кружится!» Бурная весна пробуждения в деревне нового, революционного понимания действительности начинается в ее произведениях прежде всего от взбудораженных чувств, ощущений, порывов. Поэтому классовая борьба в деревне показывалась в повестях Сейфуллиной в сложном и пе-

стром переплетении явлений общественного и политического характера с личной жизнью, с тяжелой ломкой бытовых отношений и со всем тем, что предшествует настоящему осознанию происходящих в стране великих перемен.

Особенно трудно и сложно проходил этот процесс в жизни женщины, забитой и униженной всеми законами и обычаями классового общества. Хочется опять вспомнить одно из высказываний писательницы о любимой ее героине — Виринее:

«Вот некоторые меня упрекают, что моя Виринея, мол, безудержная, даже лихая... А подумать только: может ли она быть ровной и спокойной, подниматься со ступеньки на ступеньку? Миллионы таких жили, как в темном, сыром чулане, похожем на гроб, — и вдруг дверь распахнулась перед ними! Вначале, конечно, когда человек из неволи вырвется, солнце его ослепит, прямо же в глаза бьет, от ветра сердце в груди замирает!.. Не все сразу, чувство мысли дорожку открывает!»

Так представляла она себе назначение образа Виринеи в литературе: показывать не только бурную весну пробуждения, но и сложный путь становления народного сознания в строительстве социализма. Эта глубоко гуманистическая устремленность — показывать человека неустанно поднимающимся — особенно красочно проявилась в рассказе «Правонарушители», который, как говорится, задал тон всему творчеству Сейфуллиной и сделал ее имя известным всей стране.

Это произведение открыло путь теме социалистической педагогики, воплощенной впоследствии в такой талантливой книге, как «Педагогическая поэма» Антона Макаренко, и во многих других. И эту материнскую душевность сейфуллинского таланта мы всегда благодарно вспоминаем.



С о д е р ж а н и е

<i>Вера Смирнова. Вместо предисловия</i>	<i>3</i>
<i>Зоя Сейфуллина. Моя сестра</i>	<i>5</i>
<i>Г. Пушкарев. Что вспомнилось</i>	<i>59</i>
<i>Кондр. Урманов. О писателе-друге</i>	<i>75</i>
<i>А. Коптелов. Первое слово</i>	<i>83</i>
<i>Савва Кожевников. О землячке, которую мы все любили</i>	<i>92</i>
<i>Е. Никитина. Сибирячка</i>	<i>104</i>
<i>Ольга Форш. Виринея</i>	<i>110</i>
<i>Алексей Попов. «Виринея» на сцене</i>	<i>113</i>
<i>Юрий Либединский. Зрячая любовь</i>	<i>124</i>
<i>А. Есенина. Незабываемая дружба</i>	<i>141</i>
<i>Ефим Пермитин. Памяти друга</i>	<i>149</i>
<i>Ник. Смирнов. Из воспоминаний о Лидии Сейфуллиной</i>	<i>155</i>
<i>А. Перегудов. О хорошем, добром товарище</i>	<i>164</i>
<i>Павел Железнов. Языком взволнованной души</i>	<i>172</i>
<i>Сергей Сартаков. Светлой души человек</i>	<i>176</i>
<i>Макс Зингер. Встреча с Сейфуллиной</i>	<i>187</i>
<i>Г. Кунгуров. Неугомонное сердце</i>	<i>192</i>
<i>Ольга Маркова. Искусство учителя</i>	<i>198</i>
<i>Анна Герман. Плыви, милый, плыви!</i>	<i>215</i>
<i>Вера Смирнова. Чистота и молодость чувств</i>	<i>222</i>
<i>Галина Колесникова. Друг молодежи</i>	<i>227</i>
<i>Зоя Сейфуллина. О человеке и писателе</i>	<i>235</i>
<i>Ал. Шмаков. Художник и жизнь</i>	<i>265</i>
<i>Вл. Лидин. Л. Н. Сейфуллина</i>	<i>285</i>
<i>Вл. Бахметьев. Мал золотник, да дорог</i>	<i>291</i>
<i>Анна Караваева. Душевный талант</i>	<i>296</i>

Сейфуллина в воспоминаниях современников

Редактор К. Н. Полонская

Художник И. А. Литвишко

Худож. редактор В. В. Медведев

Техн. редактор В. Г. Комм

**Корректоры Ф. А. Рыскина и
Г. Г. Папандопуло**

**Сдано в набор 20/X 1960 г. Подписано
в печать 20/II 1961 г. А 00780. Бумага
84×108 ¹/₃₂ Печ. л. 9 ¹⁵/₁₆ (16,4). Уч.-изд.
л. 14,11. Тираж 6000 экз. Заказ № 1836.
Цена 77 к.**

**Издательство «Советский писатель»
Москва К-9. Б. Гнезниковский пер., 10**

**Типография № 5 УПП Ленсовнархоза
Ленинград. Красная ул., 1/3**

Издательство просит дать отзыв как о содержании книги, так и об оформлении ее, указав свой точный адрес, профессию и возраст.

Библиотечных работников издательство просит организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов.

Все материалы направлять по адресу: Москва, К-9, Б. Гнездиковский пер. д. 10, издательство «Советский писатель».

